

Гытыт мусетт За хребтэм Кавказа

Н. Я. ЭЙДЕЛЬМАН

Н. Я. ЭЙДЕЛЬМАН

Гытыт
мусетт
За хребтэм
Кавказа
Z





Н. Я. ЭЙДЕЛЬМАН

Быть
может
за хребтом
Кавказа

(РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ОБЩЕ-
СТВЕННАЯ МЫСЛЬ ПЕРВОЙ ПО-
ЛОВИНЫ XIX в. КАВКАЗСКИЙ
КОНТЕКСТ)



Москва
«НАУКА»

Главная редакция восточной литературы
1990

ББК 83.3Р1
Э30

Ответственный редактор
М. С. ЛАЗАРЕВ

Рецензенты
А. Г. ТАРТАКОВСКИЙ, А. П. ЧУДАКОВ

Э $\frac{4603000000-002}{013(02)-90}$ Без объявления

ББК 83.3Р1

ISBN 5-02-016705-3

© Главная редакция
восточной литературы
издательства «Наука», 1990

М. С. Л а з а р е в

«ДА, АЗИАТЫ МЫ...»

(Вместо предисловия)

Мы — плеппики слов, заложники термппов. Попяття, заключппые в ппх, возппкают из опыта и потребностей людей, а потом уже существуют как бы сами по себе. В том числе и понятия географические.

Азия — древнейший географический термпп, притом весьма неопределенного значения. Это, собственно, даже не контппент (им является гигантская Евразия), а огромное географическое пространство, страна света, отделенное океаном от других контппентов только с севера, востока и (не полностью) с юга. Западная граница Азии, проходящая большей частью посуху и одновременно являющаяся восточной границей Европы, условна и подвижна, служит рубежом не столько географическим, сколько историко-культурным. Тем более это относится к юго-западной границе, проходящей в кавказских пределах. Здесь нет четко обозначенной линии. Ее проводят и по Главному Кавказскому хребту, и по государственной границе СССР с Турцией и Ираном, и несколько севернее Большого Кавказа, примерно по реке Маныч.

Азиатско-европейская граница легко проницаема. Испокоп веков волны нашествий легко перехлестывали ее сперва с востока на запад, потом — в противоположном направлении. Азия наступала на Южную Италию, проникла было в центр Франции, покрыла весь Пиренейский полуостров, доходила до врат Вены. Однако контакты Западной и даже Юго-Восточной Европы (Балканы) с Азией были хотя и продолжительны, но не столь органичны, как Восточной Европы. Азия припла в Западную Европу, когда там на местной почве уже возникли и укрепились основные первоначальные устой социально-экономической, политической и религиозно-культурной жизни общества в их специфических этнических формах. Многовековое араб-исламское господство на Пиренеях и осман-исламское господство на Балканах оставило зримые следы в этнокультурной сфе-

ре, но не пресекло изначальную историческую традицию, возрожденную после освобождения на новой исторической основе.

Историческое развитие Восточной Европы с самого начала шло не только параллельно, но и в тесном контакте с развитием сопредельных стран Азии. И эти контакты, образующие комплекс военных, экономических, политических, этнокультурных связей и взаимоотношений, продолжают по сию пору. Причем характер этих связей существенно отличается от тех, которые сложились между Западной Европой и Азией. Во втором случае это почти всегда была улица с односторонним движением, где преобладали насилие, грабеж, эксплуатация. Сперва брала верх Азия, потом — Европа. Взаимобогащение культур было относительно незначительным и прощало в элитарные слои общества.

В первом же случае с самого начала были два встречных потока. Киевская Русь впервые встретилась с азиатской степью. Затем был татаро-монгольский вал, потом — контрнаступление Москвы, «взятие Казани и Астрахани плем», далее — покорение Сибири, проникновение к предгорьям Кавказа, в казахские степи, неуклонное продвижение к Тихому океану, присоединение Закавказья, завоевание самого Кавказа, среднеазиатских ханств. К концу XIX в. Россия стала великой азиатской державой.

Разумеется, встреча России с Азией, растянувшаяся на десять веков, не протекала идиллически. Достаточно было железа и крови. Жертвы обеих сторон были неисчислимы. Сперва страдали больше восточные славяне (последний пабег крымцев отмечен в 1768 г.), затем — азиатские «ишородцы».

Поглощение Россией значительной части Азии было процессом не только длительным, но и неравномерным в отношении различных частей континента. Для Северной и Северо-Восточной Азии (Сибирь и Дальний Восток) характерна внутренняя колонизация. Существовавшие там полугосударственные, раннефеодальные образования племен были легко сокрушены казаками. Большая же часть региона была слабо заселена малочисленными народами, находившимися на крайне низкой ступени развития. Эта часть Азии, следовательно, стала подходящим полем для этнической ассимиляции и хозяйственного освоения русскими. Коренное население (в основном тюркское по языку и монгольское по расовым признакам) частично смешалось с русскими, частично было оттеснено, частично истреблено пороком и водкой.

Исторические связи России с Казахстаном и Средней Азией возникли давно, но непосредственные контакты были не столь уж продолжительны. Колонизация региона произошла сравнительно быстро и в принципе не отличалась от той, кото-

рую проводили западноевропейские державы в Азии и Африке. Разница была лишь в том, что колонии Англии, Франции, Нидерландов были заморскими, а русский Туркестан — колопией «сухопутной». Но сухой путь из метрополии в колонию был не короче и не дешевле (особенно до прокладки железных дорог), чем морской путь в Индию или Африку.

Правда, были не только колонизаторы, но и колонисты. Русские, в отличие от западноевропейских, в большинстве принадлежали к трудовым слоям населения. Однако национального сближения при царизме между русскими и местным коренным населением, за небольшими исключениями, не произошло. Мешали этнокультурные (в особенности религиозные) барьеры и различия, преодолеть которые за короткий исторический срок было невозможно. Поверхностной русификации подверглись только поступившие в услужение царским колонизаторам феодально-байская элита (и то далеко не вся) и нарождавшаяся национальная интеллигенция, впрочем политически враждебная России.

Кавказ образует особый азиатский регион, с одной стороны, сохранявший свое национальное своеобразие, с другой стороны, тесно и органически связанный с русской историей, с русской культурой. Географически он представляет собой огромный перешеек между Черным и Каспийским морями, на территории которого впервые встретились Русь и Азия. Именно степняки Предкавказья на копытах своих коней привесли на Русь азиатскую пыль. Вообще, в старину граница Азии проходила гораздо западнее нынешней, совсем недалеко от Киева, Владимира, Москвы. На Дону в 1380 г. произошла смертельная схватка с Азией возрождавшейся под руководством Москвы Руси. Прошло менее двух веков, и во внешней политике России возникло юго-восточное кавказское направление. Здесь темпы продвижения были невелики, ибо приходилось думать не только о наступлении, но и об обороне. Азия контратаковала, и порой успешно. Стрельцам Грозного пришлось скрестить оружие с янычарами знаменитого турецкого султана Сулеймана Капуни («Великолепного», как называли его в Европе). Именно между Черным и Каспийским морями в течение трех с половиной столетий проходил один из фронтов исторического противоборства царской России с султанской Турцией и шахским Ираном.

Таким образом, встреча России с кавказским регионом Азии с самого начала проходила под знаком Марса. В таком духе продолжалось и далее, вплоть до конца первой мировой войны. Россия воевала на кавказском театре не только против Османской империи (больше всего) и Ирана, но и против местных

феодалных владетелей (главным образом горских районов), стремившихся сохранить независимость.

Взаимоотношения России с Азией отнюдь не исчерпывались одним военным фактором. Если в Сибири ему сопутствовал более или менее естественный ассимиляционный процесс, а в Средней Азии и Казахстане — колонизация и колониальная политика, то на Кавказе (где эти факторы также отчасти присутствовали) важное значение имели установление и развитие историко-культурных связей с местными княжествами, ханствами и их населением.

Дело в том, что в этносоциальном и политическом отношении Кавказ всегда представлял собой чрезвычайно сложную и многокрасочную картину. Здесь обитали десятки народностей и племен, находившихся на разных ступенях социально-экономического, политического и культурного развития. Естественно, что у России не могло быть одинакового подхода к ним, тем более что многочисленные владетели Северного Кавказа и Закавказья находились в весьма запутанных взаимоотношениях между собой и занимали разные позиции по отношению к Турции, Ирану, России. В XIX в. в кавказские дела начали активно вмешиваться западные колониальные державы. Одни из кавказских мини-государств (преимущественно горские) были покорены военной силой, другие — посредством разных политических комбинаций и дипломатических соглашений с местной правящей верхушкой и с побежденными в войнах Турцией и Ираном.

Но этими внешними факторами не исчерпывалась история постепенного поглощения Кавказа Российской империей. Образовались и крепились внутренние связи, чему способствовали благоприятные объективные условия.

Это прежде всего наличие в регионе таких очагов и форпостов «христианской цивилизации» на Востоке, как Армения и Грузия, страны древней государственности и весьма развитой материальной и духовной культуры. В силу своего географического положения и превратностей исторической судьбы они всегда находились в крайне уязвимом положении. Особенно тяжелая полоса в их многострадальной истории наступила с началом арабо-мусульманской, а затем иранской, тюркской и осmano-турецкой экспансии. Армянский и грузинский народы понесли огромные людские, материальные и территориальные потери. Армяне на рубеже XIX—XX вв. вообще очутились перед национальной катастрофой: турецкий геноцид грозил стереть с географической карты значительную часть этнической Армении и превратить подавляющее большинство армян в беженцев, постоянных обитателей чужих стран. Вал геноцида шел и с Во-

стока. Погромные нашествия персов грозили полным уничтожением Грузии и грузин, насильственной ассимиляцией азербайджанцев и народов Дагестана.

При таких обстоятельствах русские ставились естественными союзниками и грузин, и армян, и некоторых других народов Кавказа (в том числе христиан-осетин) независимо от подлинных намерений Москвы и Петербурга, а также от естественного желания некоторых местных владельцев сохранить независимость. Продвижение России на Кавказ, неся его народам новое порабощение, в то же время давало им предпочтительную историческую альтернативу, содержащую в себе реальную перспективу сохранения их национальности, традиционной культуры, потенциальную возможность социально-экономического развития.

Таким образом, длительное наступление России на Кавказ — это сложный, внутренне противоречивый исторический процесс, конечные результаты которого имеют, несомненно, прогрессивное и необратимое значение не только для народов Кавказа, но и для русского и других народов нашего Союза.

Кавказ стал постоянно действующим фактором все возрастающей важности во внутренней и внешней политике России в 1800—1820-е годы, когда произошло присоединение Закавказья (примерно в нынешних границах) к России, приступившей одновременно к завоеванию Северного Кавказа. Если до этого русско-кавказские связи носили в общем нерегулярный характер и сводились к военно-оборонительным (устройство казачьих линий сперва на Дону, потом на Кубани и Тереке) и военно-наступательным акциям (в том числе и такой крупной, как персидский поход Петра Великого в 1722—1723 гг.), то в результате мирного присоединения Грузии к России в 1800-х годах и двух русско-иранских и русско-турецких войн в эпоху Александра I и первых лет царствования Николая I Кавказ был окончательно включен в военно-административную и экономическую систему Российской империи. И даже затянувшееся на десятилетия сопротивление горцев Чечни, Дагестана, Черкесии не меняло общей картины, равно как и победоносные походы русских войск против турок в последующих войнах, в результате которых границы Закавказья отодвинулись еще дальше на юг (по Берлинскому трактату 1878 г.).

В составе Российской империи кавказская Азия заняла своеобразное положение. Она не стала этническим продолжением России с анклавами оттесняемых и истребляемых аборигенов или чисто колониальным регионом. И хотя эти факторы имели место, для Кавказа, особенно для Грузии и Армении, типично было и партнерство с Россией.

Верхи грузинского и армянского общества быстро нашли дорогу в Петербург и Москву. Многие выходцы с Кавказа были приближены ко двору, служили в государственном аппарате, в том числе и на высших должностях, достигали командных высот в армии и флоте. (Позже среди генералитета появились и мусульманские имена из Азербайджана и Северного Кавказа.) С развитием капитализма в общероссийскую предпринимательскую деятельность (торговля, промышленность, банковское дело и т. п.) также были активно вовлечены кавказцы (больше всего — армяне). Наконец, сперва армяне и грузины, а позже и другие уроженцы Закавказья и Северного Кавказа начали вносить свой все возрастающий вклад в общероссийскую культуру, науку, искусство.

Словом, объективно существовали условия, благоприятствовавшие взаимопроникновению экономик и культур России и Кавказа на фоне созданной царскими властями общероссийской интегральной военной и гражданской администрации. В социально-экономическом, политическом и культурном отношении Кавказ лишь отчасти был колонией, в остальном он был интегрирован в общероссийскую систему. Именно здесь в значительной мере был осуществлен синтез России с Азией с сохранением этнокультурного своеобразия каждого из участников этого исторического процесса.

Следствием присоединения Кавказа к России было поражение царизмом его народов. Естественно, это привело к возникновению освободительных движений, которые были сложными общественными явлениями, далеко не однозначными по своей внутренней сущности и последствиям. Вооруженное сопротивление горцев Северного Кавказа завоевательной политике царизма растянулось на десятилетия. В конце столетия в антиколониальную борьбу включились и народы Закавказья.

Для народов России долгое время это была чужая борьба, а когда лилась русская кровь (при покорении кавказских гор), то в лице «немирного» чеченца или черкеса возник устойчивый образ врага. К тому же царизм намеренно культивировал и разжигал, с одной стороны, великорусский шовинизм, с другой — межнациональную рознь на окраинах, в том числе и на кавказской окраине.

Однако вскоре после прихода русских в кавказские пределы возникла почва для возникновения и развития позитивных моментов в отношении к местным освободительным движениям. Интеграция Кавказа с Россией привела к неизбежному сближению прогрессивных слоев русского и «кавказского» общества, в первую очередь тех элементов, которые были антагонистичны царизму и его социально-классовой опоре в центре и на ме-

стах. Передовые слои на Кавказе скоро нашли общий язык с противниками царского самодержавия, крепостничества, полицейско-бюрократического аппарата, реакционного генералитета, раболепствовавших перед властью церковников. Установлению и укреплению контактов между оппозиционными (а потом и революционными) силами России и Кавказа во многом способствовало превращение последнего в «теплую Сибирь», место ссылки прикосновенных к «делу 14 декабря», инакомыслящих, подозрительных, наконец, польских повстанцев.

Развитие капитализма в России во второй половине XIX в., захватившее и кавказский регион, создало новую социально-политическую обстановку, при которой борьба против самодержавия с его политикой национального гнета на окраинах сочеталась с борьбой за социальное освобождение трудящихся. Эта ситуация способствовала дальнейшему укреплению единства освободительных сил России и Кавказа. Исконные русско-азиатские связи с течением времени крепили и обогащались новым, созвучным эпохе кризиса и распада колониальной системы содержанием. Роль Кавказа в становлении и развитии этих связей была весьма значительна.

* * *

Предлагаемая читателям новая книга известного советского историка и писателя Натана Яковлевича Эйдельмана возвращает нас к истокам русско-кавказских культурных связей, причем из этой обширной темы автор вычленил лишь одну ее, весьма интересную и важную сторону: место и роль Кавказа в жизни и творчестве таких светочей русской культуры, как Грибоедов, Пушкин, Александр Одоевский, а также Лермонтов и Огарев. Но и здесь автор не ставит себе цель полностью осветить «кавказские мотивы» в их творчестве. Как мне представляется, автор ограничил свою задачу, работая в своей излюбленной манере: с помощью документов и материалов, впервые извлеченных на свет божий из архивов или уже опубликованных, но недостаточно изученных и оцененных исследователями, прояснить некоторые темные, загадочные и важные страницы российской истории и истории культуры XVIII—XIX вв. Облекая научный поиск в литературную форму, он, как всегда, предельно персонифицирует свое повествование, освещая исторические события в лицах и в то же время показывая своих героев в историческом процессе.

Особенно заимает Эйдельмана один специфический аспект темы — взаимоотношения так или иначе втянутых в «кавказскую орбиту» упомянутых и других деятелей русской куль-

туры между собой. Не только русская, но и местная кавказская среда формировала единый литературный процесс того времени, поставляла сюжеты, была фактором идейно-политической борьбы в самой литературе и вокруг нее. Поиски смысла жизни — этой извечной движущей силы великой русской литературы — с начала прошлого века интенсивно шли и на кавказской почве.

Не буду останавливаться ни на научных, ни на художественных достоинствах книги И. Я. Эйдельмана. Предоставим судить об этом читателям. Хочу лишь напомнить о праве каждого писателя на собственное видение того, о чем он считает нужным нам поведать. Я ограничусь некоторыми замечаниями в основном востоковедного характера, прямо или косвенно относящимися к теме и навеянными этой книгой.

Лучшие умы России всегда тянулись к Азии («ex oriente lux», как говорили древние), чувствуя близость или даже родство исторических судеб русских и сопредельных азиатских земель. Азиатская тема, часто привнесенная личной судьбой, в той или иной степени отражена в творчестве большинства классиков русской литературы — от Державина до Блока. И, конечно, она богато представлена у первого среди великих — у Пушкина.

Его с юных лет влекло к Кавказу, к азиатским соседям России. Свою южную ссылку он провел большей частью на северных границах Османской империи, проходивших тогда по Пруту и Дунаю, живо интересовался освободительной борьбой греков и других балканских народов против турецкого господства, близко к сердцу принимал судьбу ее предводителей. В пушкинском творчестве того периода (в его, так сказать, этногеографическом аспекте) кавказские, крымские, турецкие мотивы преобладали. То не была дань романтической моде или непосредственным контактам поэта в ссылке. Интерес к Кавказу, к Турецкому Востоку не оставлял Пушкина до конца. Достаточно назвать во всех отношениях рискованную поездку поэта в 1829 г. на кавказский театр войны с турками, обогатившую русскую литературу двумя шедеврами: «Путешествием в Арзрум» и стихотворением «Стамбул гяуры ныче славят».

Об этом достаточно сказано у Эйдельмана. Добавлю, что, с точки зрения востоковеда-турколога, эти пушкинские произведения отличаются несомненным профессионализмом, что может показаться неожиданным, если вспомнить биографию поэта. Но для Пушкина многое было возможным. Ненасытный наблюдатель и тонкий провидец, он обнаружил удивительную осведомленность о соседней азиатской державе, извечном противнике России. Путешествие в действующую армию И. Ф. Пас-

кевича, успешно продвигавшуюся по Восточной Анатолии и овладевшую сильными крепостями Карс и Эрзерум, дало поэту богатейшую пищу для познания турецкой жизни того времени. Его зарисовки с натуры содержат бесценный материал не только по военной истории, но и по внутреннему положению в завоеванных районах Османской империи — вопросу, одному из наименее изученных. Ничто примечательное не ускользнуло от взора путешественника.

Например, он проявил особое внимание к курдам-езидам, очевидно поразившим его воображение своим образом жизни и верованиями. Им посвящены строки в основном тексте «Путешествия» и приложение на французском языке, взятое из книги Ж.-Ж. Руссо «Описание Багдадского пашалыка» и содержащее «Заметку о секте езидов» итальянского миссионера Маурицио Гардзони. Это — одно из первых свидетельств в русской литературе о курдах вообще и о езидах в частности.

С наибольшей выразительностью и глубиной интерес нашего великого поэта к Турции проявился, однако, не в прозе, а в стихах. И это естественно, иначе Пушкин не был бы Пушкиным. «Стамбул гяуры пыче славят» — перл в пушкинском творчестве, еще недостаточно оцененный и во многом загадочный. (Давно замечено, что гениальное всегда отчасти загадочно.)

В самом деле, это стихотворение известно в двух вариантах: один — усеченный, другой — более полный. Первый включен в текст «Путешествия в Арзрум» (глава пятая), написанный в 1835 г. и впервые напечатанный в первом томе «Современника» в 1836 г. Второй, на мой взгляд более совершенный (и более соответствующий турецко-мусульманским реалиям), написан значительно раньше (17 октября 1830 г., в первую «болдинскую осень»), известен в пушкиноведении как незавершенный «отрывок» и при жизни поэта не публиковался¹.

Неясно, почему в «Современнике» был напечатан усеченный текст, уступавший в поэтическом отношении «болдинскому». Может быть, Пушкин собирался вернуться к этому стихотворению, развернуть его в более обширное произведение, в поэму? За это говорят строки в «Путешествии», предваряющие стихи: «Вот начало сатирической поэмы, сочиненной янычаром Амином-оглу». Значит, предполагалась поэма?

Тогда понятно, почему Пушкин опустил в «Путешествии» 16 заключительных строк, содержащих жуткое описание янычарского погрома 1826 г. Во-первых, в них не было ничего «сатирического», во-вторых, они не относились прямо к делу, т. е. к ситуации в Восточной Турции во время похода корпуса Паскевича. Все же необъяснимо, почему Пушкин в публикации

«Путешествия» не дал, на мой взгляд, более выразительную редакцию третьей и пятой строф стихотворения, содержащуюся во «втором варианте»? Впрочем, не буду вторгаться в область пушкиноведения, а обращусь к турецким мотивам.

Прежде всего о «янычаре Амине-оглу». Такого не существовало, это — обычная пушкинская мистификация. Но я не исключаяю, что у самовольно прибывшего в действующую армию русского путешественника был турецкий информатор (а может быть, не один), подробно осведомивший его о насущных проблемах тогдашней турецкой жизни. Во всяком случае, поэт проявил к южному соседу России большой и неподдельный интерес. Замысел поэмы на турецкую тему говорит сам за себя. Дошедшие же до нас строки поражают удивительно глубоким, пронзительным взглядом на события, происходившие тогда в самой Османской империи и вокруг нее.

Приглядимся внимательнее к стихотворению.

«Стамбул гяуры нынче славят...» Какие гяуры (т. е. «неверные») и за что славят? Вряд ли это были гяуры — подданные Османской империи, поднявшиеся на борьбу за свободу и независимость греки или сербы или вступавшие на тот же путь румыны, болгары, армяне... Может быть, Пушкин имел в виду одобрительное отношение иностранцев к возобновившимся попыткам правительства султана Махмуда II провести некоторые реформы по европейскому образцу, покончить с наиболее одиозными пережитками староосманской традиционной системы, доказавшей свою военную и политическую несостоятельность (что, кстати, наглядно показала неспособность Порты помешать вмешательству держав в защиту восставших греков и поражение в русско-турецкой войне 1828—1829 гг.). Не исключено, но в хоре славящих наверняка не было голоса России, только что победившей Турцию и стремившейся извлечь из этого немалые политические и прочие выгоды. Зато и на Западе, и в России общественность, особенно либерально-демократические круги, резко осудила типично турецкие методы кровавых расправ с непокорными подданными, будь то мусульмане (япычарский погром) или христиане (греческая резня на острове Хиос и в других местах).

Остается одно: под «гяурами» поэт подразумевал, что называется, правящие круги крупных западноевропейских держав — Англии, Франции, Австрии, — стремившихся в корыстных целях противопоставить Турцию победоносной России для приобретения собственных выгод на Ближнем Востоке и на Балканах. Пушкин точно уловил сущность знаменитого Восточного вопроса, в котором Турции была заранее предуготовлена страдательная роль:

А завтра кованой пятой,
Как змия спящего, раздавят
И прочь пойдут и так оставят.
Стамбул заснул перед бедой.

И впрямь, после Адрианопольского мирного договора от 2 (14) сентября 1829 г., увенчавшего русско-турецкую войну², Турция понесла территориальные потери, все глубже залезала в омут политической и экономической зависимости от Европы. Уже в 1830 г. Османская империя лишилась Греции и Алжира. Вскоре мятежный египетский паша Мухаммед Али, подстрекаемый французами и англичанами, не только фактически вывел из-под власти Порты Египет (навсегда) и Палестину, Сирию и Ливан (временно), но чуть не стал хозяином Стамбула. Торговые договоры, навязанные Турции державами в 1830—1840-е годы, разорили страну, проложили путь к ее филипповому закабалению. И только острые противоречия между претендентами на «османское наследство», действовавшими в пике друг другу, отсрочили крушение этой огромной империи, раскинувшейся на три континента.

Историкам, располагающим фактами, все это хорошо известно. Пушкин мог видеть только начало. Но и этого ему было достаточно, чтобы поразительно верно предугадать дальнейший ход событий и сделать это в поэтически совершенной форме.

Далее тематика стихотворения делает резкий поворот. Следующие 12 строк содержат острую сатиру на падение нравов в турецком обществе, презревшем заветы ислама и староосманской воинской доблести. Затем (тоже 12 строк) развращенной столице противопоставляется сохранившая приверженность старине провинция (Эрзерум — своего рода тишизированная провинция).

Написано со знанием дела. Поэту, несомненно, была знакома аргументация традиционалистов-консерваторов, позже называвшихся «старотурками». В стихах видится отзвук той идейной борьбы, которая велась в турецком обществе с конца XVIII в. в связи с попытками прогрессивных реформ. Консерватизм проступает здесь на бытовом «домостроевском» уровне, но поэтическая образность делает его как бы более всеобъемлющим.

Стихотворение завершается знаменитым описанием янычарского погрома, по выразительности поэтических средств одним из самых замечательных в пушкинском творчестве. Дважды повторяется в нем мусульманское заклинание «Алла велик» («аллах-уль-акбар» по-арабски), которым всегда вдохновлялись фанатизированные толпы в исламских странах. В стихах отражена и историческая реальность — бегство уцелевших янычар из столицы в провинцию, где делались попытки сохранить янычар-

ские «очаги» как оплоты реакционно-сепаратистской вольницы.

Словом, Пушкин был отлично ориентирован в турецких делах, как внешних, так и внутренних. Подробный разбор стихотворения укрепляет меня в предположении, что перед нами нечто вроде конспекта задуманной поэмы на турецкую тему, причем поэмы сугубо политического направления. Один из многих неосуществленных замыслов великого поэта...

Нельзя не отметить еще одну, может быть второстепенную, по характерную черту в этих (и многих других) произведениях Пушкина «турецкого цикла» — их высокий востоковедный уровень даже в мелочах. Пушкин, например, старается максимально точно передавать термины — географические и иные. Вместо общепринятых тогда Константинополь или Царьград он употребляет турецкое название — Стамбул, вместо Адрианополь — почти фонетически верное — Эдырне, вместо гарем — правильное харем и т. д. Он старается быть точным...³

«Путешествие в Арзрум» и его поэтическая квинтэссенция — «Стамбул гяуры нынче славят», на мой взгляд, являются наиболее типичным и характерным выражением того интереса, который поэт всю свою творческую жизнь питал к российскому и зарубежному Востоку и который выдвинул его в родоначальники «западно-восточного» направления в русской литературе. Это направление включает в себе синтез и взаимопонимание русской культуры и культур народов Азии. Если для Гёте его «Западно-восточный диван» есть интеллектуальное влечение гения, то для Пушкина кавказско-восточные, в том числе и турецкие, мотивы есть выражение его внутренней духовной сущности.

Для старшего современника Пушкина — его двойного тезки Александра Сергеевича Грибоедова Кавказ, Азия были не столько призванием, сколько профессией и судьбой. Сложись обстоятельства иначе, он мог бы исполнять свою дипломатическую службу где-нибудь в Испании или Швеции, в общем — на Западе (как Ф. И. Тютчев). Однако знаменитый бытописатель послепожарной дворянской Москвы много лет провел в Тифлисе (где и было написано «Горе от ума») и Тегеране (где он нашел свой мученический конец). Его литературное творчество мало было связано с Востоком, его жизнь — самым тесным и фатальным образом. А можно ли оторвать первое от второго, даже если нет видимых связей? Для многих лучших людей России, для тех, кого называют мозгом или гордостью нации (а по-библейски — солью земли), Азия стала внешней средой их биографии, а стало быть, одним из главных условий их творческой или политической деятельности. Добровольно или насильственно они часть своей жизни провели в «русской» Азии:

Радищев, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Шевченко, Достоевский, Л. Н. Толстой, Чернышевский, Гончаров, В. И. Немирович-Данченко, Чехов, Горький, Бунин, Маяковский, Есенин и многие другие. Революционеры всех трех поколений — от декабристов до социал-демократов. И дело здесь не в механистическом воздействии пресловутой географической среды, а в тех культурно-психологических связях, которые устанавливаются между объективным и субъективным миром и которые крайне трудно уловить и тем более постичь.

Жизнь и труды Грибоедова были непосредственно связаны с той гранью русско-азиатских связей, которая называется колониальной политикой. На Кавказе и в сопредельных странах Ближнего Востока она отличалась своеобразием, о котором уже говорилось, но суть ее была неизменна. Автор бессмертного «Горя от ума» был ее незаурядным, хотя и неудачливым проводником. Его компетентность в области как восточной дипломатии, так и кавказской администрации была вне всякого сомнения. Автор Туркманчайского мирного договора в совершенстве владел персидским языком (вероятно, в какой-то степени знал и арабский), что по тем временам было редкостью для ответственных дипломатических представителей на Востоке; обычно они довольствовались услугами местных переводчиков (драгоманов). Грибоедов превосходно ориентировался и в кавказских делах; годы жизни в Тифлисе и близости к Ермолову не прошли даром.

Однако Грибоедов лавров не свискал ни в Тифлисе, ни в Тегеране. Его проект широкой колонизации Кавказа был забракован, а миссия в Тегеране закончилась трагически. В чем дело, нет ли здесь некоей закономерности? Я думаю, что есть.

Этот одареннейший, «замечательный», «государственный» (слова Пушкина) человек слишком выделялся из общего ряда, чтобы его блестящие способности нашли в николаевской России достойное употребление и признание. Он везде, будь то Петербург, Москва, Тифлис или даже Тегеран, попадал в такое положение, как Чацкий на балу у Фамусова. Может быть, потому, что Чацкий (как давно замечено) был отчасти его самовыражением⁴. «Истеблишмент», утвердившийся в России в последнее десятилетие царствования Александра I и особенно в эпоху Николая I, не терпел в своих рядах неординарных деятелей, даже если они отличались несомненными талантами и верно ему служили. Они всегда были на подозрении в стране, где на фоне правящей бездарности даже посредственность выделялась в лучшую сторону, а по-настоящему способные люди гибли или, как исключение, отстранялись от дел (М. М. Сперанский, например). Впрочем, все это сказано в монологах Чацкого.

Не были ли Кавказ и Иран для Грибоедова самоссылкой, тем «уголком», который отправлялся искать «по свету» столь неприятный для Фамусова, его домочадцев и гостей заезжий визитер? Если и были, то Грибоедов напрасно двинулся на юг. Россия Фамусовых и Скалозубов преследовала его и в Азии. Самостоятельно мыслящих и действующих людей не жаловали и за хребтом Кавказа. Именно за эти качества попал в опалу А. П. Ермолов. Закавказский проект Грибоедова (и Завилейского) был провален, видимо, потому, что был рассчитан на гораздо более высокий, «цивилизованный» уровень руководства колониальной политикой (в ее политическом и экономическом аспектах), нежели тот, к которому привыкли российские держиморды. Инициатива и непреклонность, проявленные Грибоедовым-дипломатом, не нашли отклика у благоговешного перед высочайшей волей Карла Васильевича Нессельроде, совершившего за все сорок лет своего служения в ранге министра иностранных дел ни одного самостоятельного, инициативного поступка. Вазир-Мухтару не было оказано вовремя должной поддержки, и он погиб...

Словом, человек, по своим дарованиям, как никто другой, способный оказать немалые услуги государству в его кавказско-азиатской политике, не вписывался в систему и оказался бесполезен. Он стал жертвой косности и застоя, которые распространились на всю империю, на все сферы управления и государственной деятельности. Кавказская и ближневосточная политика не составляла, конечно, исключения. Чацкие и на Кавказе были лишними.

Тем более лишними в горах Кавказа и южнее были открыто несогласные, так сказать, диссиденты того времени. Они попадали туда разными путями. Неблагонадежных в военных мундирах, чей боевой опыт мог пригодиться, прямо или косвенно причастных к декабристскому движению, охотно отправляли под пули горцев, персов, турок. Некоторые из них (генерал И. Г. Бурцов, В. Д. Вольховский, М. И. Пущин, Н. Н. Семичев) упоминались Пушкиным в его «Путешествии в Арзрум». О романтике декабризма, талантливом поэте А. И. Одоевском подробно рассказано в постоянном повествовании Н. Я. Эйдельмана. Кавказ был единственным шансом для николаевских штрафников (так сказать, «второго ранга») как-то восстановить свой додекабрьский гражданский статус, положение в обществе, материальный достаток, пакопец.

Одних инакомыслящих доставляли на Кавказ под конвоем, других — по приказу, третьи отправлялись полудобровольно. Немногим повезло. Лермонтов, выехавший в последний раз на юг с тяжелыми предчувствиями (как и Грибоедов), надеялся

за хребтом Кавказа пайти тот уголок, который отправился искать его единомышленник Чацкий. Впрочем, уверенности у него не было («быть может...»). Его скрытые опасения подтвердились. Ему даже не удалось перевалить хребет, он не успел укрыться, да и укрытия-то не было. Поэт тоже «был назначен на убой»⁵, и роковой выстрел раздался лишь случайно в Пятигорске, а не в каком-либо другом пункте империи.

Ибо кавказская Азия была южным продолжением «немытой России» не только в географическом смысле. Здесь обосновались и развились все основные российские проблемы (при наличии, естественно, и местных), в том числе и главная в последнее столетие существования империи Романовых: противостояние деспотизма и освободительного движения.

Тогда деспотизм взял верх. Разными способами он расправился со всеми героями этой книги. С одними — до конца, других выбил из колен, обрек на изгнание или бездеятельность. Но семена, посеянные многими лучшими русскими людьми на Кавказе, дали свои всходы, только много позднее.

Итак, Кавказ, кавказская Азия как часть и продолжение России, кавказская история и культура нового и новейшего времени как часть общероссийской истории и культуры — тема обширная и благодарная. В настоящей книге Н. Я. Эйдельмана освещаются лишь некоторые ее грани, но и это — немалый вклад. Читатель, перевернув последнюю страницу этой книги, убедится: родная наша культура, классическая русская литература в особенности, многим обязана Кавказу.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Впервые опубликован В. А. Жуковским в 1841 г. в посмертном издании сочинений Пушкина (т. IX).

² И это событие отмечено пушкинскими строками:

Опять увенчаны мы славой,
Опять кичливый враг сражен,
Решен в Арзруме спор кровавый,
в Эдырне мир провозглашен.

И дале двинулась Россия,
И юг державно облегла,
И пол-Эвксина вовлекла
В свои объятия тугие.

³ «...Особенностью „Путешествия“ является его точность... подчеркивающая фактический научный характер сведений», — отмечал Ю. Н. Тынянов («О „Путешествии в Арзрум“». — «Пушкин и его современники». М., 1968, с. 205).

⁴ Позднейшее наблюдение (Ф. М. Достоевского и др.), когда, по словам Тынянова, «грань между создателем и героем

стерлась». Пушкин, хорошо знавший Грибоедова, это сближение отрицал (Ю. Н. Тынянов. Сюжет «Горе от ума», — там же, с. 374.)

⁵ Денис Давыдов в стихотворении, названном им «Генералам, танцующим на бале при отъезде мосм на войну 1826 года», писал:

Мы песем едино время,
Только жребий наш иной;
Вы оставлены на племя,
Я назначен на убой.

POSTSCRIPTUM

Когда читатель развернет эту книгу, о Натане Эйдельмане уже будут говорить в прошедшем времени. Ему не суждено было радоваться своему новому детищу, почти двадцатому по счету (а кроме того, множество статей, предисловий, примечаний, рецензий и т. д.). Разрыв сердца внезапно прекратил его кипучую деятельность, которая получила столь широкое общественное признание у нас и за рубежом.

Здесь неуместен некролог. Скажу только о двух основных качествах этого на редкость одаренного человека, проявившихся и в данной книге: универсализм и отзывчивость. Его эрудиция поражала, его книги были густо населены как историческими персонажами, так и людьми обыкновенными, диапазон его интересов простирался от проблем происхождения человека до особенностей нашей перестройки, высокий профессионализм виден в его работах и по гражданской истории, и по истории общественной мысли и литературы. Самый же большой и поистине бесценный вклад он внес в изучение русской культуры XIX в. (отчасти и XVIII) в контексте русской истории и наоборот. Уверен, что эти его труды со временем получат самое высокое признание.

Творчество Эйдельмана являет пример преодоления узкого специализма, приземленности, конъюктурицины, пример прорыва в пограничные области знания, где, как известно, ищущего ожидают наибольшие открытия. Разносторонность была свойством его творческой природы — историк, литературовед, знаток архивов, но и прирожденный педагог (он начинал как школьный учитель и высоко ставил это звание), писатель (в том числе и детский), но и популяризатор, публицист, оратор. Кроме того, он был по-настоящему прогрессивный человек, видящий далеко вперед. И отличный товарищ, всегда готовый помочь и словом и делом, в том числе и автору этих строк.

Натан Эйдельман всю жизнь выкладывался до конца. А сердце не выдержало...

ВВЕДЕНИЕ



книге три части, названные именами главных героев: Грибоедов, Пушкин, Одоевский. «Действующими лицами» являются также Ермолов, Огарев, Лермонтов, Лев Толстой, декабристы... Повествование, в основном сосредоточенное на 1820—1840-х годах, неоднократно переносится во вторую половину XIX в., кроме того, в 1920—1930-е годы (время научных и литературных трудов Юрия Тынянова), в 1950—1980-е (современные споры о грибоедовской, пушкинской, декабристской эпохе).

Книга названа знаменитой лермонтовской строкой, где звучит надежда, что «за хребтом» будет *другая жизнь*, что «всевидящий глаз» там близорук, а «всеслышащие уши» — глуховаты.

Поэт, изгоняемый в очередную ссылку, столь резко и дерзко прощается со «страной рабов, страной господ», что, выходит, они, а не он осуждены и сосланы. Подобно древнему Диогену, который, узнав, что правители родного Синопа приговаривают его к изгнанию, тут же приговорил своих врагов к «пребыванию на том же месте»...

Европейская, русская литература XVIII—XIX вв., как известно, отдала тысячи страниц Востоку — условно-романтическому или реальному. Тема взаимоотношений западных народов с восточными, разумеется, одна из важнейших, глубочайших; но не менее существенно, как сами «западные люди» при этом меняются, как относятся друг к другу в непривычных, порою в экстремальных условиях. Разнообразный опыт на-

шего времени учит, что необыкновенные, невероятные обстоятельства — довольно надежный фон для выявления обычного, повседневного, типичного — того, что уже давно теплилось в человеке и только ждало повода вспыхнуть...

От «Кавказского пленника» до «Хаджи-Мурата» (и после, в наши дни, но это тема особая) Кавказ, может быть, оттого столь сильно притягивал многих российских людей, что помогал им отыскать, понять самих себя, заново открыть смысл, суть таких начал, как дружба, честь, свобода.

Жизнь на Востоке за несколько веков изменилась сравнительно мало, тогда как европейский интерес к этим краям возрастал очень быстро; значит, первопричина в самих западных обстоятельствах. Когда-то, повинаясь «внутреннему зову», стремились на Восток Греция и Рим, а встретившись с персидским, вавилонским, египетским миром, сами менялись, ибо на свете все влияет на все.

Теперь, в новое время, история как бы повторялась новым витком спирали...

Главным предметом данной книги являются отношения российских людей друг к другу в кавказском контексте, на фоне многочисленных войн, экономического и политического наступления северной державы на юг и восток, в связи с началом русского освободительного движения. Огромность, многосложность темы определили очерковый характер исследования, стремление автора обрисовать целое через посредство нескольких типологически выразительных фигур и ситуаций.

Экономика, политика, взаимодействие русского и кавказских народов — все это, разумеется, также присутствует в книге; без этого ни один «кавказский сюжет» невозможен; но все же автор еще и еще раз подчеркивает, что более всего его интересует внутренний мир российских героев, выявленный в кавказском, восточном контексте.

Современные историки куда легче «справляются» с большими массами людей — классами, сословиями, нациями: законы научного анализа позволяют при этом строить более или менее надежные модели исторических событий; труднее — с отдельными личностями. Не потому ли столь охотно и часто историки отдают биографический жанр беллетристам? Будто все научные

возможности исчерпаны и остается только «вымышлять»...

Автор попытался несколько расширить права исторического исследования (разнообразные материалы о кавказских событиях XIX в., опубликованные несколькими поколениями специалистов, в ряде случаев удалось дополнить архивными розысками в хранилищах Москвы, Ленинграда, Тбилиси, Иркутска): объективная картина кавказских дел и планов Грибоедова, кавказских странствий и размышлений Пушкина, кавказских «пересечений» Лермонтова, Огарева, Толстого и декабристов — все это послужило основой для проникновения в субъективные побуждения героев, в их мечты, идеалы. В ту сферу, которая полтора века спустя отнюдь не стала историческим реликтом, а, наоборот, остра и современна. Мы говорим о смысле жизни прапрадедов.

Их мечта — «быть может за хребтом Кавказа...» — даже не осуществившись, была небесплодной. Без нее не явились бы великие произведения, великие характеры.



Часть I
ГРИБОЕДОВ

Глава 1

Явиться Пророкам

Мы молоды и верим в рай,—
И гонимся и вслед и вдаль
За слабо брежжущим
виденьем.
Грибоедов



ва часа на перелет из Москвы в Тбилиси, осмелимся заметить,— слишком мало. Разумеется, ничто не мешает выбрать сорокачасовой железнодорожный маршрут или еще более неторопливый способ передвижения, по это уж будет замедление сознательное, «искусственное».

При всем при этом выигрыш скорости — проигрыш радости; точнее, происходит утрата некоторых важных радостей, хорошо известных предкам.

Во-первых, тише едешь — *дольше будешь*, т. е. удлиняешь срок пребывания в «конечном пункте»: если на дорогу туда и обратно уходит суток восемь, то уж волей-неволей придется задержаться в Тбилиси или другом дальнем городе на месяцы (исключения лишь подтверждают правило). Придется настолько привыкнуть к новому месту, что после уж —

Тифлис горбатый снится...

И соответственно без достаточно долгой разлуки, без медленного возвращения в «исходную точку» никогда не произнести:

Я вернулся в мой город, знакомый до слез,
До прожилок, до детских припухлых желез...

Вторая утраченная радость — уникальность: прошли те, сравнительно недавние времена, когда рассказы о Кавказе, Средней Азии, Сибири звучали как ныне — об Огненной Земле или океанских впадинах. «Быть может за хребтом Кавказа...» — мечтал Лермонтов. Строки были рассчитаны в основном на тех, кто никогда не был и не будет за хребтом Кавказа, ибо это — бог знает где! Нечто подобное применительно к сегодняшнему дню вызвало бы улыбку: два часа лету! Труднее отыскать того, кто за хребтом не был...

Дневники, путевые записки старинных путешественников ценятся высоко, их изучают, постоянно публикуют в научных и литературных сборниках. В наши же дни, кажется, наступает пора издать рассказы ученых и писателей о местах, где они *не бывали*. М. А. Цявловский размышлял в свое время над географией пушкинской мечты — Африка, Испания, Америка. Юрий Тынянов в романе «Смерть Вазир-Мухтара» мастерски представил Персию, Тегеран, которые никогда не видел, и блистательно описал Тифлис, впервые посетив Грузию уже после выхода книги.

Живых свидетелей сравнительно недавнего прошлого, естественно, все меньше, зато все больше семейных преданий, рассказов о всех временах.

Чабуа Амирэджиби несколькими штрихами нарисовал портрет одной почтенной дамы «из бывших», отнюдь не унывавшей в 1920—1930-х годах от уплотнения из 14 дореволюционных комнат в одну и только удивлявшейся (на грузинском и французском языках):

«Как это большевики, отменив классы, проглядели такой опасный класс, как соседи по квартире?..»

Ия Мухранели вспомнила деда, участвовавшего в англо-бурской войне и затем отбывавшего английский плен на острове Святой Елены (реванш Наполеона); оттуда дед переписывался с Черчиллем, позже возвратился в Петербург и тут же был выслан в Грузию за своевольное поведение на скачках...

Михаил Лохвицкий охотно развернул свой «интернационал»: десятки предков и близких родственников по черкесской, русской, грузинской, армянской, немецкой, польской, итальянской линии...

Итальянское начало было представлено прабабкой Луизой Вазоли, примадонной итальянской оперы в

Тифлисе 1850-х годов, того самого театра, где, согласно впечатлению очевидца, «костюм европейских дам рядом с туземным, прелестным, живописным нарядом», где «спокойный взор персидского принца Бехмен-мирзы равнодушно скользил по женским лицам, по временам был прикован к сцене и как бы вслушивался в незнакомые и дивные напевы.

Сверкающие же глаза Хаджи-Мурата непрерывно перебегали с одного женского лица на другое и при *forte-fortissimo* быстро обращались к сцене, но без выражения особенного впечатления; казалось, его занимала какая-то особая, тревожная мысль» [Кавказ, 1852, № 12].

Итальянские мотивы XIX столетия в преданиях одного семейства легко уступали место армянским: веселой, постоянно напевающей бабушке Марго, очень много лет назад родившейся в Карсе. Одно название этого города в турецкой Армении звучало для нас цитатой из пушкинского «Путешествия в Арзрум» и лермонтовского «Ашик-Кериба»! Там, в Карсе, бабушка точно помнила и готова была описать место, где 70 лет назад, спасаясь от турецкого геноцида, ее семья зарыла сокровища: «И если бы вы, друзья мои, захотели как следует взяться за дело...»

Подобные разговоры, встречи имели важное, но косвенное отношение к главной причине, приведшей автора в Грузию. Цель была отправиться наконец в тот Тбилиси, о котором мало знали или вообще не подозревали 99,9 процента тбилисцев.

За стенами читального зала Центрального государственного исторического архива Грузинской ССР жил миллионный город конца XX столетия, здесь же находился тот «многобалконный Тифлис», где постоянных обитателей числилось «девятнадцать тысяч двести сорок шесть душ мужеска пола, причем на каждую приходится круглым счетом по три четверти бутылки виноградного вина в день». Город, где, по мнению просвещенных иностранных путешественников, «здоровый климат, прекрасная вода; женщины же, обладая правильными и довольно резкими чертами, обезображивают себя тем, что покрывают свое лицо румянами и красят брови», Тифлис, куда почта, согласно официальной ведомости, «прибывает из столичного города Санкт-Петербурга в день 25-й, из французского города Парижа в день 50-й».

Архив, уцелевший в смерчах войны, революций, меняющихся режимов. Об одном генерал-губернаторе современники писали, что он «утонул в пучине тифлисской бумажной администрации». Не оттого ли в 1844 г. были «предложены к уничтожению» несколько десятков тысяч старых дел, но, к счастью, не нашлось времени и рук для такой работы.

Бумаги вскоре попали к опытным историкам Кавказа — Берке, Потто, Вейденбауму, братьям Эсадзе и др., — они же выпустили 12 томов «Актон» Кавказской археографической комиссии — фоллиантов столь огромных, что в ряде библиотек их не выдают «по причине неподъемности», книг, где были напечатаны тысячи документов последнего тысячелетия, но более всего — из XIX столетия...

Исторический архив Грузии: поскольку же в Тифлисе находилось главное управление всем Закавказьем, то здесь не только Грузия — весь край «за хребтом Кавказа и столетий». Сотни тысяч архивных дел, разделенных по «фондам», ожидают благосклонного внимания потомка (точно так же как деловые, личные, секретные и откровенные листки и папки 1980-х годов предстанут перед очами наших праправнуков).

Фонд 11 — Дипломатическая канцелярия наместника Закавказья.

Фонд 16 — Канцелярия Тифлисского гражданского губернатора.

Фонд 26 — Тифлисское губерпское правление.

Фонд 254 — Тифлисская казенная палата.

Фонд 1505 — бумаги историка Полиевктова.

Фонд 1706 — бумаги литераторов, историков братьев Бориса и Спиридона Эсадзе.

Один из самых важных и обширных — фонд 2: Канцелярия главноуправляющего в Грузии и Закавказским краем.

Фонды делятся на описи, описи — на сотни и тысячи дел, и всегда занятно наблюдать, как в скучноватые делопроизводственные помера и реестры вторгается буйная, нерегламентированная жизнь.

Фонд 16, опись 1, дело № 4835 — «О непозволительных предсказаниях персиянина Мустафы» (отсюда ясно, что и предсказания и будущее бывают позволительными или предосудительными).

№ 4796: «Дело о прекращении бродяжничества под предлогом путешествия в Иерусалим».

№ 3846: «О поступлении со священником Бахтурадзе по законам за обвенчание тушинца Шао Берикашвили на двух женах».

Еще дела, одно за другим: «Ведомости происшествий по Закавказскому краю» за отдельные месяцы. Каждое дело в среднем листов по 40—50, а внутри разделы: «Драки», «Самоубийства», «Неумышленная смерть», «Святотатство», «Скотский падеж», «Младенец, утопший в кувшине», «Брат, нечаянно выстреливший и попавший сестре пулей в щеку, где она находится и поныне»...

Дела о ссылке крепостных крестьян в Сибирь: грузинский гражданский губернатор князь Палавандов доказывает петербургскому начальству, что ввиду непросвещенности кавказских крестьян их не следовало бысылать в Сибирь и «лишь по мере успехов просвещения» они смогут в будущем дорасти до подобного наказания...

Случайные дела из океана минувшего: Кавказ пушкинский, лермонтовский. Кавказ грибоедовский, за которым в основном и пустился в дальний и быстрый путь автор этих строк.

«Существуют ненаписанные биографии мест. Места связаны с людьми. Эта связь крепкая, нерушимая» (Тынянов).

13 АПРЕЛЯ 1827 ГОДА

Нет у специалистов разногласия, что о Грибоедове мы знаем чрезвычайно мало: в 1826-м бумаги уничтожены перед арестом, в 1829-м растерзаны в Тегеране; позже сгорела драгоценная черновая тетрадь, оставшаяся у друзей...

Великий человек, чья дата рождения на сегодня точно неизвестна (считалось и в учебниках записано — 1795-й, но в последнее время находится все больше доводов в пользу 1790-го, и, конечно же, разница в пять лет важна для объяснения характера, поступков, см. [Мещеряков II]).

Особенна, таинственна внутренняя, личная жизнь Грибоедова. Была, например, несчастливая любовь, о которой он сам писал — «испортила мне полжизни», «черней угля выгорел», — но не ведаем, о ком речь... Наиболее известная грибоедовская примета — очки, за которыми на разных портретах — то лик холодный, над-

менный, иронический, то — веселый, растрепанный, беспомощный. В мемуарах друзей вдруг обнаруживаются сведения, что Грибоедов «был изрядно суеверен», что умел смешно и странно обижаться, что обладал «характером Мирабо», который был, как известно, «вулканическим гремящим, львом рыкающим»...

Если все это сложить, то... ничего определенного не получается. Блок видел в Грибоедове «петербургского чиновника с лермонтовской желчью и злостью в душе, неласкового человека с лицом холодным и топким, ядовитого насмешника и скептика» и при этом — «автора гениальнейшей русской драмы, не имевшего ни предшественников, ни последователей, равных себе» [Блок, т. 5, с. 168].

А вот мнение выдающегося ученого (вызвавшее, впрочем, недовольство многих коллег): «Судьба Грибоедова — сложная историческая проблема, почти не затронутая наукой и вряд ли разрешимая научными методами из-за отсутствия материалов» (*Б. М. Эйхенбаум*, см. [Тын. Восп., с. 80]).

Два других исследователя также высказали в свое время мнение насчет возможных находок. Адольф Петрович Берже, опубликовав в «Актах» Кавказской археографической комиссии и некоторых других изданиях все, что удалось найти об авторе «Горя от ума», объявил (в конце XIX столетия), что о Грибоедове в местных архивах не сохранилось никаких сведений. Совсем иначе думал Николай Кирьякович Пиксанов, в начале нашего века готовивший трехтомное «Полное собрание сочинений» Грибоедова, которое (к слову скажем) не утратило своего значения по сей день и уже 70 лет ожидает смены в виде нового, полного, академического Грибоедова... Приглашая участвовать в своем издании видного кавказоведа Евгения Густавовича Вейденбаума, Пиксанов писал ему (6 января 1910 г.): «Я глубоко убежден, что в общественных и фамильных архивах и книгохранилищах таится немало ценных документов о Грибоедове, равно как память старожилов хранит еще, вероятно, предания об авторе „Горя от ума“» [ИРГ, арх. Вейденбаума, № 706, л. 52].

Пиксанов, конечно, был прав. Хотя с 1910-го прошло более трех четвертей века и уж не найти старожилов, помнящих Грибоедова даже со слов отца или деда¹, но тот, кто работал в архивах, ясно представляет, сколько там нетронутого — ведь сотни тысяч ли-

стов вообще не видел никто (кроме, конечно, тех, кто на них когда-то писал, а также архивного работника, который, естественно, перелистал, может быть, даже прочитал, номер выставил, но вполне мог не вникнуть, не понять или не узнать того почерка, которым написаны великие сочинения).

За последние десятилетия в архиве Грузии вели «русский поиск» и многое находили такие опытные филологи и историки, как И. Л. Андроников, О. И. Попова, В. С. Шадури, С. В. Шостакович и некоторые другие. Однако человек всегда торопится (даже когда ему кажется, что он этого не делает). Времени всегда мало, бумаг всегда много.

Это соображение подогревало оптимизм автора, который, не торопясь, день за днем, заказывал архивные дела 1826-го, 27-го, 28-го, 29-го — последних грибоедовских лет на Кавказе. Конечно, без особой надежды, что так вот сразу отыщутся грибоедовские листки, автографы, что вдруг явятся неизвестные сцены «Горя от ума», утраченная трагедия «Грузинская ночь» или потаенное письмо кавказского друга... Не было подобной надежды, но не бывает и поисков без результата.

Грибоедовский Тифлис. Едва ли не в каждом архивном деле мелькают знакомые, сегодняшние имена — Вачнадзе, Мегвинетухуцеси, Амирэджиби, Меликовы, Джапаридзе, Хуциевы, представленные прапрадедами или однофамильцами... «Пленные персияне» по приказу генерал-губернатора Сипягина сооружают первые тифлиссские тротуары.

Тифлиссское дворянское собрание постановляет (1828 г., § 14) «никому не входить в Благородное собрание с тростью», а также (§ 8) «кадриль и мазурку не позволятся танцевать более четырех пар вместе». Угадывая за этими параграфами породившие их эпизоды — использование трости как оружия и европейские танцы на манер лезгинки,— одновременно вникаем в менее веселый текст и подтекст другого документа (из губернаторского рапорта 1829 г.): «Говоря вообще, господин может продать крестьян, заложить, подарить другому, одним словом, поступать с ними по произволу, отчего нельзя не заметить, что крестьяне сии не совсем расположены к своим владельцам» [ЦГИАГ, ф. 16, оп. 1, № 3877, л. 1об.]. Впрочем, в солидном «Обзрении русских владений за Кавказом в статистическом, этнографическом, топографическом и финансовом

отношении», напротив, утверждается, что «азиятец слишком блаженствует материально, чтобы ему заняться умственно; он слишком счастлив собою, чтобы заниматься другими».

Столь явное противоречие неплохо объяснял на страницах «Тифлиских ведомостей» некий апоним, в котором лишь немногие современники узнавали сосланного декабриста Александра Бестужева (Марлинского): «Мы жалуемся, что нет у нас порядочных сведений о народах Кавказа. Так кто же в том виноват, если не мы сами? Тридцать лет владеем всеми выходами из ущелий; тридцать лет опоясываем угорья стальной цепью штыков, и до сих пор офицеры наши вместо полезных или, по крайней мере, занимательных известий вывозили с Кавказа одни шашки, поговницы да пояски под черпью. Самые искательные выучивались плясать лезгинку — по далее этого ни зерна. В России я встретился с одним заслуженным штаб-офицером, который на все мои расспросы о Грузии, в которой терся он лет двадцать, умел только отвечать, что там очень дешево фазаны» [Тифл. вед., 1831, № 9—11, с. 65; Шадури I, с. 259—260].

Странствуя по грибоедовскому Кавказу, автор одним апрельским утром открыл поданное ему на стол очередное дело с шифром *фонд 2, опись 1, единица хранения 1977*: «О поручении надворному советнику Грибоедову пограничных сношений с Турцией и Персией». Дело было начато 4 апреля 1827 г., окончено в июле 1828-го и состояло из нескольких документов. На «листе использования» ни одной подписи, и, будь автор помоложе, он решил бы, что сделано открытие; однако в своем возрасте автор быстро сообразил, что дело это давно известно, опубликовано и что его не могли обойти старые кавказские архивные волки. Действительно, стоило открыть седьмой том «Акт» Кавказской археографической комиссии (благо огромные тома тут, в архиве, поблизости) — и сразу обнаружилось, что «грибоедовская бумага» напечатана задолго до того, как в Архиве завели «листы использования» (см. [АК, VII, № 4]).

И все-таки инстинкт подсказывал не торопиться с возвращением дела № 1977 обратно в архивное хранилище, все-таки перечитать его, не затворяя седьмого тома.

4 апреля 1827 г. генерал-адъютант Паскевич, толь-

ко что, неделю назад, ставший главнокомандующим Отдельным Кавказским корпусом и главноуправляющим Грузии, приказывает «господину надворному советнику Грибоедову»: «Принять в ваше заведование все наши заграничные сношения с Турциею и Персиею, для чего имеете вы потребовать из Канцелярии и Архива всю предшествующую по сим делам переписку и употребить переводчиков, какие вам по делам нужны будут».

Все ясно. Но вот другой документ из того же дела: 13 апреля 1827 г. генерал Паскевич пишет министру иностранных дел Нессельроде, которому Грибоедов подчиняется как дипломат:

«Милостивый государь Карл Васильевич! При вступлении моем в новую должность я нужным почел удержать при себе и употребить с пользою тех из чиновников, служивших при моем предместнике, на которых способности и деятельность можно положиться; в том числе и на иностранной коллегии надворного советника Грибоедова. С 1818 года он был секретарем при Персидской миссии, сюда назначен в 1822 году к главнокомандующему для политической переписки, по высочайшему указу, объявленному Вашим сиятельством. С некоторым успехом занимался восточными языками, освоился с здешним краем по долговременному в нем пребыванию, и я надеюсь иметь в нем усердного сотрудника по политической части. Прошу покорнейше Ваше сиятельство испросить высочайшего соизволения, чтобы впредь находиться ему при мне для заграничных сношений с турецкими пашами, с Персиею и с горскими народами...»

До этого места текст совпадает с тем, что напечатано в VII томе «Актов» (под № 501), но далее в архивном деле следует несколько строк, зачеркнутых и замененных другими. В «Актах» учтен только окончательный текст; меж тем зачеркивания маскируют мысль, вырвавшуюся «за рамки», но притом особенно хорошо обнаруживают авторские намерения.

«Я нашел,— пишет Паскевич,— что его [Грибоедова] здесь мало поощряли к ревностному продолжению службы, два раза он получил чин за отличие, когда уже выслужил срочные годы, других награждений ему никаких не было».

Тут автор письма, очевидно, нашел эти строчки навойливыми и заменил: «Все, что Вам угодно будет для

него сделать, я вменяю себе в личное одолжение. На первый раз представляя его благосклонному Вашему вниманию, прошу убедительнейше Ваше сиятельство назначить ему жалованье, которое бы обеспечивало его [далее написано и зачеркнуто „от домашних забот“] на счет издержек при нынешних военных обстоятельствах, находясь при мне для заведования моими письменными делами. Таковое жалованье на днях упразднится по отбытии г. Мазаровича, подавшего прошение моему предшественнику об увольнении его отсюда.

С совершенным почтением и таковою же преданностью честь имею быть...»

Что сказать об этом известном, давно напечатанном послании (и непечатанных черновых строках)?

Документ явно касается трех лиц: автора (Паскевича), адресата (Нессельроде), а также надворного советника Грибоедова, которому дана самая лестная характеристика, причем с точным знанием всех его служебных обстоятельств; понятно, при изготовлении документа запрашивали самого Грибоедова... Легко, однако, убедиться, что в письме от 13 апреля 1827 г. подразумевается еще одна, четвертая, не названная по имени персона: тот, кого Паскевич называет «моим предместником», к кому Грибоедов был назначен «в 1822 г. для политической переписки» и кто его «мало поощрял». Это генерал Ермолов, управлявший Кавказом с 1816 по 1827 г., только что отставленный и еще даже не успевший выехать на север (он покинет Тифлис 3 мая 1827 г.).

Поразмыслив над этим, я обращаю внимание на легкий слог послания, быстрый, изящный способ изложения. Хорошо известно, что Иван Федорович Паскевич писал туго, без излишней грамотности, часто предпочитал французский язык, чтоб не видны были огрехи русского, и старался оформлять свои мысли с помощью опытных секретарей. По армии ходила острота Ермолова: «Паскевич пишет без запятых, но говорит с запятыми». Знаток кавказской старины Берже уверенно сообщал, что «Грибоедов и другие не только составляли приказы и реляции Паскевича, но даже писали частные его письма» [АК, VII, с. IV]; автор книги «Дипломатическая деятельность Грибоедова» точно или предположительно указывает на несколько деловых бумаг, писанных рукою автора «Горя от ума» от имени его начальника [Шостакович, с. 99, 113, 114, 121, 126].

Вспомнилась кстати сцена из романа «Смерть Вазир-Мухтара», где Ермолов говорит Грибоедову: «...у Пашкевича стиль не довольно натурален. Он ведь грамоте-то, Пашкевич, тихо знает. Говорят, милый-любезный Грибоедов, ты ему правишь стиль?» [Тынянов I, с. 22].

Гипотеза, что документ № 1977 писан рукою Грибоедова, явилась как бы сама собою. Требовалось только сверить руку, а для того рядом с «делом 1977» положить образцы грибоедовского почерка.

Задача как будто простая: лучшие снимки с рукописей представлены в дореволюционном трехтомном собрании Грибоедова под редакцией Пиксанова; в библиотеке Грузинского архива, однако, этого издания не нашлось... Тогда надо срочно сделать фотокопию с рукописи № 1977. «Очень жаль,— отвечают мне,— но сейчас нельзя сделать; тот, кто раньше делал, ушел, зарплата маленькая. Надо подождать несколько месяцев или годик». Нет, ожидать не станем: нужно срочно одолжить у кого-нибудь в городе хотя бы третий том пиксановского собрания, где сосредоточены грибоедовские письма и несколько их факсимильных воспроизведений. Звоню одному коллеге, другому: доброжелательные тбилисцы готовы весь город поставить на ноги; Грибоедов, конечно, имеется почти в каждом читающем доме («Как же, как же: муж пашей Нины Чавчавадзе, наш зять!»). Однако пиксановского собрания, как назло, нигде не находится — почти у всех однотомники под редакцией В. Н. Орлова, советское издание достаточно авторитетное, но только не по части «грибоедовского почерка»: редакторы, оформители явно не предвидели моих затруднений и руку автора «Горя от ума» воспроизводили мало, мелковато, не очень внятно... Нужен пиксановский Грибоедов. Он, конечно, имеется в нескольких солидных библиотеках, но там на руки не выдают, т. е. выдают «по абонементам», и надо отыскать друга с абонементом, а время не ждет.

Несколько километров, разделяющих грибоедовские тома в библиотеке и рукопись в архиве, внезапно становятся обширной, непреодолимой пропастью — и это в наш-то кибернетический век!

Горестно рассказываю о своих невзгодах почтенной сотруднице одной из крупных библиотек, спрашиваю совета, хочу писать заявление директору...

— Не надо заявления, так бери!

— Я верну в исправности, верну на днях!

— Конечно, а как же иначе?

Третий том (1917 г. издания) у меня в руках.

На другое утро в архиве производится сверка почерков. У Пиксанова — прекрасное факсимиле грибоедовского письма к Катенину (середина января 1825 г.), а также письма из тюрьмы царю Николаю I (февраль 1826 г.).

Нет никаких сомнений: два письма писаны абсолютно тою же рукою, что и занимающее нас послание Паскевича к Нессельроде. Несколько букв у Грибоедова особенно характерны: нетривиальны *г*, *ж*; *б* — с закругляющимся верхним завитком; *д* — с острым уходящим вниз концом. Никаких сомнений: письмо от 13 апреля 1827 г. писано рукою Грибоедова, а поскольку в нем есть зачеркивания, явные следы авторской правки, значит, составлялось оно не под диктовку, а самим писавшим: под готовым «письмом Паскевича» требовалась только генеральская подпись.

Текст письма, «давно известный» (не считая зачеркиваний), вдруг оказывается как бы новым.

Одно дело — если документ писан Паскевичем (пусть с помощью одного из секретарей, с учетом сведений, полученных от Грибоедова), другое — если его составлял сам автор «Горя от ума»: во-первых, отныне быть этому тексту в полном собрании его сочинений (пусть хотя бы в разделе *Приложения*); во-вторых, поэт пишет характеристику сам на себя. Дело житейское, хорошо известное и в XX столетии... Но ведь автохарактеристика — это нечто вроде автобиографии!

Перечтем письмо Паскевича, имея все это в виду: «...я пужным почел удержать при себе... чиновников... на которых... можно положиться... надеюсь иметь в нем усердного сотрудника по политической части».

Выходит, сам Грибоедов определяет свой статус, сам числит себя среди тех чиновников Ермолова, на которых может положиться новый начальник (очевидно, есть и другие, на которых положиться пельзя). Простая оценка знаний: «С некоторым успехом занимался восточными языками, освоился с здешним краем по долговременному пребыванию» — это опять же Грибоедов сам о себе; заметим, что писатель боится показаться хвастливым и поэтому отбрасывает напрашивающиеся хвалебные определения. Если бы (вообразим невозможное) письмо составлял сам Паскевич, он, на-

верное, написал бы: «С *большим* успехом занимался... *прекрасно* освоился с краем...»

Особенно любопытными становятся зачеркнутые строки: Грибоедов сначала решил прямо пожаловаться на прежнего шефа (не забудем, что бумага идет в Петербург, в правительство). Строка «его здесь мало поощряли» означает: «меня, Грибоедова, мало поощряли»; «два раза он получил чин за отличие, когда уже выслужил срочные годы, других награждений ему никаких не было», иначе говоря — «я, Грибоедов, получил коллежского асессора и надворного советника как положено, выслужив срок, хотя можно было бы выше оценить мною сделанное, дать новые чины пораньше». Сильные выражения «Паскевича» с просьбой поощрить Грибоедова («...я вменю себе в личное одолжение... прошу убедительнейше... назначить ему жалованье, которое бы обеспечивало его») свидетельствуют, что Грибоедов весной 1827 г. ясно понимает свое положение и заинтересованность генерала в его службе. Вполне возможно, что Паскевич сказал поэту нечто вроде: «Набросай бумагу посильнее моим именем». Заметим, однако, что фраза о жалованье, которое бы «обеспечивало от домашних забот», показалась Грибоедову уж слишком интимной: генерал Паскевич — близкий родственник, женатый на его двоюродной сестре; подчиненный, кажется, забылся, по-свойски напомнив кузену о домашних заботах, но быстро сообразил, что это все же не он, Грибоедов, пишет Паскевичу, а Паскевич — министру!

Наконец, последнее наблюдение: объявляя о своем желании получать жалованье прежнего поверенного в делах С. И. Мазаровича, подавшего в отставку вместе с Ермоловым (под началом Мазаровича Грибоедов прослужил в Персии с 1818 по 1822 г.), дипломат стремится улучшить свое действительно нелегкое финансовое положение, но одновременно приучает Петербург к тому, что фактически занимает место прежнего начальника...

Письмо от 13 апреля 1827 г., точнее черновой автограф его из грузинского архива, вдруг заводит нас в гущу отношений, сложнейших, часто непонятных, требующих серьезного исторического и нравственного изучения. Тут необходимо потолковать о многом и по порядку; нужно из тифлисской весны 1827 г. удалиться еще на восемь-девять лет в прошлое, разумеется никак

не претендуя на подробное жизнеописание великого поэта — всего лишь некоторые, по нашему мнению существенные, *заметки на полях* подобной биографии.

ДОРОГА

В конце августа 1818 г. губернский секретарь (т. е. мелкий чиновник 12-го класса) Александр Сергеевич Грибоедов впервые выехал из Петербурга на Кавказ. Сохранились сведения, что обсуждался другой далекий путь: за океан, в Соединенные Штаты, Филадельфию. Предпочтен Тегеран. Судьба.

От Петербурга до Тифлиса ехал около двух месяцев: сначала «радищевским путем» до Москвы (где задержался на неделю): 27 станций, 698 с четвертью верст.

От Москвы до «губернского города Воронежа» — еще 21 станция, 498 с четвертью верст.

Воронеж — Ставрополь: 35 станций, 861 верста.

Ставрополь — Екатериноградская: 11 станций, 250 с половиной верст.

Затем Кавказский хребет: 13 станций, 362 версты до Тифлиса.

Всего же от Невы до Куры — 107 станций и 2670 верст.

«Почтовый дорожник, или Описание всех почтовых дорог Российской империи», откуда взяты все эти сведения, не обременяет путешественника подробностями о состоянии пути; умалчивает, например, что последние 13 станций, может быть, стоят всех предыдущих; генерал М. С. Жуковский (который еще появится в нашем повествовании) сообщал жене, что ехал через горы «в плетенке из прутьев, как у нас хлеб или яйца возят, поставленной на салазки и, лучше сказать, на дне дощечки, как у крестьян иногда воду в кадках возят или дети с гор катаются. В таком экипаже, провожаемый, окруженный и ведомый двумястами грузин и осетин, из коих одни прокладывали через снега тропинку, другие везли, третьи поддерживали, чтобы экипаж мой не опрокинулся. Предшествовали мне три вола с вьюками моими на таких же салазках, и почта вьюками, на руках несомая... Я в гнезде как сатрап персидский и в медвежьей шубе. Я думал сперва, что с меня шутят, по сказали, что главнокомандующий раз так

ехал» [ПД, ф. 513, № 15, л. 162. Письмо от 23 марта 1827 г.].

Другой генерал, еще более важный для нашего рассказа, однажды жаловался в середине февраля, что «по состоянию в России дорог прежде половины мая не могу поехать из Петербурга [на Кавказ], разве пожелать утонуть в грязи» [Ермолов. Письма, с. 5].

С 1818 по 1828 г. Грибоедов проделал этот путь семь раз: четыре маршрута с севера на юг, три — с юга на север. Вернулся бы из последнего, тегеранского — было бы восемь...

Семь дорог, около двадцати тысяч верст, да сверх того «дороги без станций» — из Тифлиса дальше на юг, до Тебриза и Тегерана. Всего же Грибоедов наездил по кавказским и закавказским путям «чистого времени» больше двух лет, путешествуя со средней скоростью 40—50 верст за сутки. Однажды напишет другу: «Объявляю тебе отъезд мой за тридцать земель, словно на мне отягчело пророчество: „И будет ти всякое место в передвижение“».

В другой раз веселее: «Верь мне, чудесно всю жизнь прокататься на четырех колесах; кровь волнуется, высокие мысли бродят и мчат далеко за обыкновенные пределы наших опытов [...] Но остановки, отдыхи двухнедельные, двухмесячные для меня пагубны, завьюсь чужим вихрем».

Дорога — философская категория, похожая на жизнь, где есть начало, конец и цель (пусть призрачная):

В повозке так-то на пути
Необозримо равпиной, сидя праздно,
Все что-то видно впереди,
Светло, сипё, разнообразно;
И едешь час, и два, день целый. Вот резвó
Домчались к отдыху: ночлег, куда ни взглянешь,
Все та же гладь и степь, и пусто, и мертво...

«Горе от ума»

Медленные дороги XIX столетия, дороги Грибоедова, Пушкина, Толстого, по мере движения дарившие счастье:

Хвала тебе, седой Кавказ,
Онегип тронут первый раз...

Белинский: «С легкой руки Пушкина Кавказ сделался для русских заветною странюю не только ширю-

кой, раздольной воли, но и неисчерпаемой поэзии, странной кипучей жизни и смелых мечтаний!»

Лермонтов: «...изъездил Линию всю вдоль, от Кизляра до Тамани, переехал горы, был в Шуше, в Кубе, в Шемахе, в Кахетии, одетый по-черкесски, с ружьем за плечами; ночевал в чистом поле, засыпал под крик шакалов, ел чурек, пил кахетинское даже... Я сделался ужасным бродягой, а право, я расположен к этому роду жизни».

Лев Толстой: «Край... в котором так странно соединяются две самые противоположные вещи: война и свобода».

И снова быстрые потомки с некоторой завистью наблюдают медленных предков.

Ю. Тынянов — В. Шкловскому (15 января 1939 г.): «Думаю о Грибоедове и других и под конец перестал понимать, как у них хватило времени всего наворотить? Не так уж долго жили, много ездили...»

21 октября 1818 г. Грибоедов впервые видит «губернский город Тифлис».

Денис Давыдов: «Тифлис для нас, ссылочных, столица. Старые вести ваши для нас новости, а новости уже бог знает что!» (см. [Щук. сб., вып. 9, с. 323]).

Даже в 1859 г. один из друзей Грибоедова жаловался, что у того в письмах и рукописях «разные сарбазы, сердари, седар-аземы, пауруз, ньюкер, чобан, шашлык» [Русское слово, 1859, IV, с. 7].

Как видим, «чабан», «шашлык» в прошлом веке еще требовали научного комментария («Шашлык — превкусное кушанье, приготовляемое следующим образом...» и т. п.).

«...Никакой край мира не может быть столь нов для философа, для историка, для романтика. Когда европейцы с таким постоянством рвутся к истоку Нила, как не желать нам, вратарям Кавказа, взглянуть в эту колыбель человечества, в эту чашу, из коей пролилась красота на все племена Европы и Азии, в этот ледник, в котором сохранилась разбойническая эпоха древнего мира во всей ее свежести. Между тем — до сих пор, кажется, не удавалось ни одному дельному офицеру попасться в плен и вырваться из него для того, чтобы познакомить нас с горцами, как В. М. Головин познакомил нас с японцами» [Тифл. вед. 1831, № 9—11, с. 65—68].

Снова цитируем грибоедовского приятеля Александ-

ра Бестужева, заметившего, что благодаря романам Вальтера Скотта русские люди о Шотландии знают больше, чем о Кавказе, где во многих местах «один Аллах директор путей сообщения».

Из Тифлиса — в Петербург, старым друзьям (27 января 1819 г.): «Сделайте одолжение, не забывайте странствующего Грибоедова, который завтра опять садится на лошадь, чтобы трястись за 1500 верст. Я здесь обжился, и смерть не хочется ехать, а нечего делать. Коли кого жаль в Тифлисе, так это Алексея Петровича. Бог знает, как этот человек умел всякого привязать к себе, и как умел...» [Гр., т. III, с. 135].

КАК УМЕЛ..

Командир отдельного Грузинского корпуса и главнокомандующий гражданской частью в Грузии и в губерниях Астраханской и Кавказской генерал от инфантерии Алексей Петрович Ермолов. Согласно льстивому обращению хивинского хана — «великодушный и великий повелитель стран между Каспийским и Черным морями».

Жизнь чудная его в потомство перейдет,
Делами славными она бессмертно дышит.
Захочет — о себе как Тацит он напишет
И лихо летопись свою переплетет —

в стихотворном приветствии Жуковского последние строки подразумевают и знаменитые подвиги Ермолова (участник почти всех войн конца XVIII — начала XIX в., герой 1812 г.), и его тацитовский слог (отлично писал по-русски, французски, латыни), и навыки в переплетном деле, которому обучался в молодости: ожидал, что вскоре придут в Россию якобинцы, и тогда все будут равны, придется собственными руками зарабатывать хлеб насущный...

Ермолов — «римлянин»: очень любит величать себя «проконсулом Кавказа». Однажды обращается к солдатам: «Страшными явились вы перед лицом неприятеля, и многие тысячи не противостояли вам, рассеялись и бегством снискали спасение. Область покорена, и новые подданные великого нашего государя благодарят за великодушную пощаду. Вижу, храбрые товарищи, что не вам могут подлежать горы неприступные, пути непроходимые. Скажу волю императора, и препятствие исчезает перед вами» [Ермолов. Письма, с. 51].

Стиль Цезаря. Римские мысли требуют суровой про-

стоты. Генерал гордится, что один из дагестанских правителей, наблюдая его неприхотливость, «имел сомнение, чтобы я был настоящий начальник... Пришла ему мысль, что под именем своим прислал я другого генерала» [Ермолов, ч. II, с. 65].

Но вместе с тем он восточный владыка. При случае охотно напоминает, что происходит от знатного татарского мурзы Арслапа.

В западном смысле — холост, но в разное время имел трех мусульманских жеп, заключив с их родителями «кебин», т. е. точный договор о временном браке, подарках и тому подобном: обряд, педействительный по христианским законам, но вполне нормальный — по мусульманским. Ситуация лермонтовской «Бэлы», где в роли Ермолова выступает Печорин. Только конец генеральской истории куда более счастливый: жепы, забрав дочерей, позже вернулись в родные горы, вышли замуж; трех же сыновей с двойными именами — Виктора (Бахтияра), Севера (Аллахаяра) и Клавдия (Омара) — Ермолов взял с собою, прекрасно воспитал, сделал хорошими офицерами [Берже, с. 523—528].

Ермолов — деспот: «Я действовал зверской рожей, огромной своей фигурою, которая производила ужасное действие, и пироким горлом, так что они убеждались, что не может же человек так сильно кричать, не имея справедливых и основательных причин» [Ермолов. Материалы, с. 232].

«Я многих, по необходимости, придерживался азиатских обычаев и вижу, что проконсул Кавказа жестокость здешних нравов не может укротить мягкосердечием» [там же, с. 288—289].

О мятежных гурийцах: «Бунтующие селения были разорены и сожжены, сады и виноградники вырублены до корня, и через многие годы не придут изменники в первобытное состояние. Нищета крайняя будет их казнию» [Ермолов, ч. II, с. 112].

Генерал часто повторяет и, кажется, гордится тем, что в горах матери пугают детей его именем.

В России же его воспевают лучшие поэты — от Жуковского до Лермонтова, от Крылова до Рылеева.

Смирись, Кавказ, идет Ермолов...

И, испытанный трудами
Бури боевой,
Их ведет, грозя очами,
Генерал седой...

Пушкин — брату (24 сентября 1820 г.): «Кавказский край, знойная граница Азии, любопытен во всех отношениях. Ермолов наполнил его своим именем и благотворным гением».

На высших сценарных курсах молодой слушатель из Бурятии задает лектору (автору этих строк) каверзный вопрос: «Не правда ли, существуют очень значительные, можно сказать, великие люди и события, которые радостны для одних народов, но никогда не могут обрадовать других. Куликовская битва, например, — величайшее событие русской истории, но потомкам тех народов, что дрались на стороне Мамая, наверное, обидно?»

— Или генерал Ермолов, — подал голос один из слушателей-кавказцев, — конечно, герой двенадцатого года, любимец Пушкина, декабристов, но горские матери пугали детей его именем. Нет, тут пайти общий язык невозможно!

Последовала, однако, попытка лектора спасти положение: было сказано, что о подобных деликатных вещах надо толковать с людьми, готовыми слушать и размышлять, а не просто опьяняться собственными эмоциями; что можно говорить со всеми обо всем, только говорить открыто, честно, без обмана...

Монгольское нашествие: в некоторых книгах защита справедливого русского дела сопровождается принижением противников, вплоть до изображения их «нелюдьми» и т. п. В романе одного современного писателя, например, всячески подчеркивается, сколь противен был Ивану Калите запах «немытых тел» в Орде. Автор вправе был бы так писать, если бы уравнивал эти строки соответствующим злобным, односторонним восприятием российских людей ордынцами. Так, увы, было! От умалчивания, сокрывтя древние призраки не рассеиваются... Уверенно настаиваем: можно и должно подходить к событиям и людям исторически — и тогда многосторонними, живыми предстанут и жертвы завоевателей, и сами завоеватели (вспомним романы В. Яна «Чингисхан» и «Батый»); тогда удастся понять, что победа, захват монголами чужих земель очень скоро обернется несчастьем и для захватчиков (последующий экономический, культурный упадок Орды — одно из доказательств!).

Можно и должно сегодня разговаривать исторически, если подобный, объективный подход умел отыскать

даже Николай Михайлович Карамзин почти два века назад. Пламенный русский патриот, государственный, не очень задумывающийся, как его будут воспринимать потомки воинов Батыя и Мамаю, Карамзин обладал инстинктом исторической, человеческой справедливости. Вот как он описывает начало 1240-х годов на Руси: «Состояние России было самое плачевное: казалось, что огненная река промчалась от ее восточных пределов до западных; что язва, землетрясение и все ужасы естественные вместе опустошили их, от берегов Оки до Сана. Летописцы наши, сетуя над развалинами отечества о гибели городов и большей части народа, прибавляют: „Батый как лютый зверь пожирал целые области, терзая когтями остатки. Храбрейшие князья Российские пали в битвах; другие скитались в землях чуждых; искали заступников между иноверными и не находили; славились прежде богатством и всего лишились... Живые завидовали спокойствию мертвых...“».

На этом месте большинство исследователей остановилось бы, поставило точку, но Карамзин не таков. Он продолжает: «Одним словом, Россия испытала тогда все бедствия, претерпенные Римскою империей от времен Феодосия Великого до седьмого века, когда северные дикие народы громили ее цветущие области. Варвары действуют по одним правилам и разствуют между собою только в силе» [Карамзин, т. IV, с. 16].

Иначе говоря, история трагична и «кругообразна»; «северные дикие народы» (среди них и предки славян) когда-то несли горе, слезы в римские, византийские пределы; теперь, в XIII в., — кровь и слезы на Руси: это не утешение, не оправдание захватчиков, но печальная философская мудрость, особая объективность, сохраняющая человеческий взгляд на самую нечеловеческую ситуацию!

Что же касается Ермолова — и о нем можно, должно поговорить с кавказцами! Царский генерал, яркая, талантливая личность... Но живет в ту эпоху, когда ревностная служба своему отечеству нередко оборачивается горестной гибелью для завоеванных. В каком-то смысле можно сказать, что, чем ярче его «российские добродетели», тем лучше он делает *свое* дело и, значит, тем тяжелее Кавказу.

Не в этом ли противоречии — один из источников той трагедии, которую суждено еще перенести генералу?

Ермолов — фигура и типическая, и ни на кого не похожая.

Разве что на Александра Сергеевича Грибоедова.

Один в очках, другой без очков, один годится чуть ли не в отцы другому, один — гениальный писатель, другой — профессиональный военный. И при этом по многим признакам — не просто подобны, но чуть ли не двойники, и в этом кроется, думаем, нечто важное.

А. П. и А. С.

Итак, сравнение двух героев. Сначала — то, что на поверхности.

Оба, разумеется, умны, великолепно образованны, начитанны; оба поклоняются поэзии, прекрасные стилисты (современному читателю почти неизвестны отменные образцы ермоловской прозы — его воспоминания, письма — «Журнал посольства в Персию в 1817 году» и др.).

Оба политики, дипломаты. Оба темпераментны, энергичны. Обоих любят женщины.

Оба знаменитые остролисты.

Автор «Горя от ума» не скрыл этого своего свойства в комедии; Ермолов же, находясь в конфликте с жуликоватым епископом Феофилактом, замечает: «Я слышу руку вора, распоряжающуюся в моем кармане, но, схватив ее, я вижу, что она творит крестное знамение, и вынужден ее целовать» [Давыдов, с. 33].

Однажды царь спрашивает Ермолова об одном генерале: каков тот в сражениях?

— Застенчив, — отвечает Ермолов.

Продолжим, однако, сопоставление: оба, чиновник и главнокомандующий, оказались на Кавказе как будто не по своей воле.

Грибоедову пришлось покинуть Петербург, видимо, потому, что одолевали светские сплетни; притом доходили порицания и серьезных, благородных людей, осуждавших за неясную до конца роль в дуэли, где участвовали два приятеля Грибоедова, Шереметев и Завадовский; Шереметев был убит...

Ермолов же после блестящих военных успехов в 1812—1814 гг. однажды вдруг находит в газетах сообщение о своем назначении в Грузию. Это была интрига Аракчеева и Петра Волконского, министров, опасавшихся ермоловского влияния на царя Александра I.

Впрочем, ермоловское ворчание об отдаленном крае, азиатских даях постоянно маскирует радость свободного, отдельного от других, почти независимого от столичных дрязг существования...

Кавказские и персидские жалобы Грибоедова — примерно того же рода; разумеется, ему не хочется покидать Петербург — «не очень-то весело для человека, который ценит свою свободу». Другу Бегичеву поэт сообщает о назначении в Персию: «Как я ни отнекиваюсь, ничто не помогает; однако я третьего дня, по приглашению нашего министра, был у него и объявил, что не решусь иначе (и то не наверно), как если мне дадут два чина, тотчас при назначении в Тейсран. Он поморщился, а я представлял ему со всевозможным французским краспоречием, что жестоко бы было мне цветущие лета свои провести [...] в добровольной ссылке, на долгое время отлучиться от друзей, от родных, отказаться от литературных успехов, которых я здесь вправе ожидать, от всякого общения с просвещенными людьми, с приятными женщинами, которым я сам могу быть приятен. Словом, невозможно мне собою пожертвовать без хотя несколько соразмерного возмездия... Всего забавнее, что я ему твердил о том, как сроду не имел ни малейших видов честолюбия, а между тем за два чина предлагал себя в полное его распоряжение» [Гр., т. III, с. 128—129].

Достаточно откровенное, но притом весьма противоречивое признание... Позже мы находим в грибоедовских письмах новые жалобы: «Что за жизнь! Да погибнет день, в который я облекся мундиром иностранной коллегии... Я рожден для другого поприща».

Но пишется и нечто совсем другое: «Восток, неисчерпаемый источник для освежения пиятического воображения, тем занимательнее для русских, что мы имели с древних времен сношения с жителями оного».

Вильгельм Кюхельбекер, хорошо знавший, любивший Грибоедова, помнил, что «он в Москве и Петербурге часто тосковал о кочевьях в горах кавказских и равнинах Ирана, где, посреди людей, более близких к природе, чуждых европейского жеманства, чувствовал себя счастливым» [Гр. Восп., с. 257—258].

Не следует к тому же забывать, что недовольного тона требовал *стиль*: только глупец или аракетеевец будет радоваться каждому чину или крестику, неудобно говорить о карьере, даже когда она идет!

Стиль. Поэтому верим и не верим Грибоедову, а также его начальнику, когда они сетуют.

Служить бы рад...

Кроме кавказской параллели в биографиях двух замечательных людей есть еще персидская, которая, дуем, для Грибоедова была очень и очень важна.

Первым серьезным делом Ермолова за Кавказским хребтом было путешествие к шаху во главе специальной миссии. История эта так шумела, что и во время первого персидского вояжа Грибоедова (простым чиновником при русской миссии), и в следующий приезд (в качестве посла, вазир-мухтара) постоянно возникало, не могло не возникнуть сравнение — а как в подобных обстоятельствах действовал, говорил Ермолов?

Сходство исторических ситуаций усиливается тем, что все эти годы главные политические фигуры с персидской стороны почти не менялись: старый шах Фетх-Али, его наследник принц Аббас-Мирза, министры, губернаторы...

Знаменитый ермоловский «Журнал посольства в Персию в 1817 году» был напечатан полвека спустя, но до того много лет расхаживал в списках, вызывая восхищение современников. В том же году, когда Ермолов возвратился из Персии, а Грибоедов еще и не подозревал о своем будущем назначении, 12 августа 1817 г. А. Я. Булгаков писал из Петербурга в Москву брату, К. Я. Булгакову: «Я с большим удовольствием читаю писанный самим Ермоловым журнал его посольства в Персию. Умный, острый и твердый человек» [РА, 1900, № 3, с. 121]. Ермоловским дневником зачитывались как приключенческим романом, нам же нетрудно найти в нем «грибоедовские мотивы» (разумеется, нет никаких сомнений, что автор «Горя от ума» хорошо знал сочинение своего начальника²).

Прежде всего — дороги, закавказские и персидские дороги, знаменитые клопы в городе Миане, которые атакуют только иностранцев; затем образ скрытого противника — офицеры и агенты английской Ост-Индской компании. Много ермоловских страниц посвящено «жестоким примерам самовластья»: «Здесь с ужасом видим власть царей, преступающих пределы в отношении к подданным». Прощальные строки Ермолова, покидающего Персию, многое говорили мыслящему русскому: «Тебе, Персия, не держающая расторгнуть оковы поно-

сительного рабства... прорицаю падение твое!» (см. [Ермолов, ч. II, разд. 2, с. 73]).

Грибоедов вторит: «Рабы, мой любезный! И поделом им! Смеют ли они осуждать верховного их обладателя? Кто их боится? У них и историки панегиристы. И эта лестница слепого рабства и слепой власти здесь беспрерывно восходит до бега, хана, беглер-бега и каймакама и таким образом выше и выше» [Гр., т. III, с. 51].

Ермолов перед встречей с шахом: «На всех прежде бывших послов надевали красные чулки и вводили их без туфель, я же вошел в сапогах, и приятно было за особенное угождение с моей стороны, что один из лакеев моих, за сто шагов не доходя палатки, стер пыль с моих сапог. Прочим послам поставлены кресла на каменном помосте, под наружным наметом палатки, для меня поставлены были внутри оной, против трона и на том же самом ковре... Смешны мне были все сии мелочи, но я должен был наблюдать их и желал отличного приема» [Ермолов, ч. II, разд. 2, с. 39].

Грибоедов 12 лет спустя: «Слава богу (не приписываю моему умению, но страху, который нагнали на всех успехи нашего оружия), я поставил себя здесь на такую ногу, что меня боятся и уважают. Дружбы ни с кем не имею, и не хочу ее, уважение к России и к ее требованиям, вот мне что нужно. Собственные Аббас-Мирзы подданные и окружающие ищут моего покровительства, воображая себе, что коли я ему что велю, он непременно должен сделать. Это хотя и не совсем так, потому что он, старый плут, многое обещает, а мало исполняет; но пускай думают более о моем влиянии, чем есть на деле» [Гр., т. III, с. 240].

Пушкин в своем «Путешествии в Арзрум» оставил знаменитую зарисовку восточного гарема; по всей видимости, он лукаво соперничал с Ермоловым, которому также пришлось познакомиться с этим учреждением: «Гарем сердаря обращен к стороне сада. Любопытство видеть русских, или редко допускавшаяся свобода смотреть в окна, привлекла к оным всех обитателей гарема, и мы увидели строй жен и наложниц различного образа и возраста. Близкое расстояние и пособие с обеих сторон зрительных трубок способствовало обозрению. Глаза наши мало встречали пригожих женщин: одну заметили мы прекрасную, но всегда скучную и задумчивую... Между прочим, привлеченный любопытством в

лагерь наш, явился евнух сердаря, которому вверяется присмотр за гаремом. Он спрашивал многих, зачем смотрят они на женщин, и когда сказана ему была самая вразумительная истина, что смотрят для того, чтобы видеть, он удалился, но вскоре после закрылись окошки гарема...» [Ермолов, ч. II, разд. 2, с. 71].

Наконец, Ермолов прикидывал еще не использованные возможности своего влияния, когда намекал персиянам, что происходит (через своего пращура Арслана) от Чингисхана: «Нередко рассуждая с ними о превратностях судьбы, я удивлял их замечаниями, что в той самой стране, где владычествовали мои предки, где все покорствовало страшному их оружию, я нахожусь послом, утверждающим мир и дружбу... Неоспоримым доказательством происхождения моего служил бывший в числе чиновников посольства двоюродный брат мой полковник Ермолов, которому, к счастью моему, природа дала черные, подслеповатые глаза и, выдвинув вперед скуластые щеки, расширила лицо наподобие калмыцкого [...] Один из вельможей спросил у меня, сохранил ли я родословную; решительный ответ, что она хранится у старшего из фамилии нашей, утвердил навсегда принадлежность мою Чингис-хану. Я однажды сказал, что могу отыскивать персидский престол, но заметил, что персияне не любят забавляться подобными шутками. В народе же, сколько легковерном и частыми переменами приобвыкшем к непостоянству, шутка сия может иметь важные следствия. В случае войны потомок Чингис-хана, сам начальствующий непобедимыми Российскими войсками, будет иметь великое на народ влияние» [там же, с. 66—67]. Двоюродный брат Ермолова Денис Давыдов еще за семь лет до того шутиливо писал: «Блаженной памяти мой предок Чингисхан. Грабитель, озорник, с аршинными усами...»

В персидских рассуждениях генерала хорошо слышен мотив «мне бы дали власть...»; он, кажется, уверен, что знает точное слово, которому восточный народ поверит, подчинится; умеет артистически менять маски, убеждать, будто обладает пророческим даром.

Все это постоянно наблюдает Грибоедов. Он слышит и обдумывает ермоловскую формулу «железом и кровью создаются царства, подобно тому как в муках рождается человечество». Поэт спорит, возражает: «Я сказал в глаза Алексею Петровичу вот что: „Зная ваши права, ваш образ мыслей, приходишь в недоумение, по-

тому что не знаешь, как согласить их с вашими действиями; на деле вы совершенный деспот“.— „Испытай прежде сам прелесть власти,— отвечал мне Ермолов,— а потом и осуждай“» [Гр. Восп., с. 16].

Ну что ж, Грибоедов готов «испытать». У него много данных для успеха, прежде всего знание местных условий, в то время как в Петербурге, скажем, министр Нессельроде весьма смутно представляет закавказскую географию и этнографию; «нелепость,— замечает Грибоедов,— изучать свет в качестве простого зрителя. Тот, кто хочет только наблюдать, ничего не наблюдает. [...] Наблюдать деятельность других можно не иначе, как участвуя лично в делах» [Гр., т. III, с. 86].

Одно из первых испытаний — вывод из Персии нескольких десятков русских дезертиров, желающих вернуться на родину. «Отправляемся,— записывает Грибоедов,— камнями в нас швыряют, трех человек зашибли. Песни: „Как за речепькой слободушка“, „В поле дороженька“, „Солдатская душечка, задушевный друг“. Воспоминания. Невольно слезы накатились на глаза... Разнообразные группы моего племени, я Авраам» [там же, с. 65].

Поэт-дипломат видит себя библейским героем; нет нужды, что Ермолов похвалил его за успешную операцию и представил к награде. Но в Петербурге решили, что это — не дело для дипломата: испытывался дар «лидерства». убеждения, пророчества. «Грибоедов,— замечает мемуарист,— имел удивительную, необыкновенную, почти невероятную способность привлекать к себе людей, заставляя их любить себя, именно „очаровывать“. Находясь под стражей, Грибоедов буквально загипнотизировал охрану: „Да если бы я велел им бежать с собой, так они бежали бы“» (*Жандр*) [Гр. Восп., с. 248]; декабрист Петр Бестужев искал, кажется, самых сильных слов для определения, что такое Грибоедов: «Один из тех людей, на кого бестрепетно указал бы я, ежели б из урны жребия пародов какое-нибудь благодетельное существо выдернуло билет, не увенчанный короною для начертания необходимых преобразований» [Гр. Восп., с. 169].

И наконец, рассказ ближайшего грибоедовского друга С. Н. Бегичева: «Однажды сказал он мне, что ему давно входит в голову мысль явиться в Персию пророком и сделать там совершенное преобразование; я улыбнулся и отвечал: „Бред поэта, любезный друг“,—

„Ты смеешься,— сказал он,— но ты не имеешь понятия о восприимчивости и пламенном воображении азиатцев. Магомет успел, отчего же я не успею?“ И тут заговорил он таким вдохновенным языком, что я начинал верить возможности осуществить эту мысль» [там же, с. 29].

«ХУДШАЯ ИЗ СТРАН...»

Здесь, на Востоке, особое чувство времени; рядом, по соседству — разные века и тысячелетия, современные поэты и древние пророки. Во время приема у знатного перса Грибоедов полусмешливо, полусерьезно «перенесся за двести лет назад в нашу родину. Хозяин представился мне в виде добродушного москвитянина, угощающего приезжих из немцев. [...] Сам я Олеарий»³.

Другу Павлу Александровичу Катенину в письме из Тебриза⁴ (февраль 1820 г.) сообщается ироническая истина, что «из всего надо пользу получать, и ты из моего письма научись чему-нибудь. Вот тебе арабский стих:

Шаруль бело из кана ла садик.

NB. Это свежий образчик учености; так как я еще не знаю ни слова по-арабски, то и вы не получите стиха в переводе» [Гр., т. III, с. 138, пер. уточнен Крачковским].

Последний абзац Грибоедов написал по-французски. Арабскими же строчками много лет спустя занялся первоклассный специалист.

«Автор „Горя от ума“ [...] Всякая относящаяся к нему мелочь не может быть признана слишком ничтожной». Мы цитируем Игнатия Юлиановича Крачковского, одного из крупнейших арабистов мира, автора прекрасного автобиографического труда «Над арабскими рукописями» [Крачковский, т. I, с. 158].

Грибоедов шутит, поражая своего собеседника эффектной арабской скорописью: на бумаге очертания неведомых слов и лукавое отсутствие перевода.

В справке о себе самом (конец 1820 г.) поэт извещал начальство, что знает «славянский, русский, французский, английский, немецкий. В бытность мою в Персии я занялся персидским и арабским».

Понятно, «свежий образчик учености» («я еще не знаю ни слова по-арабски») требовал снисхождения — и почти век спустя «получил» его от добродушного Крачковского: академик заметил прежде всего, что арабский стих звучит не совсем «по-грибоедовски»: надо «шарру-л-бил-ади Маканун ла садика бихи».

Куда для нас важнее точный перевод: Грибоедов наверняка узнал его у своих наставников, хотя и не сообщил в письме — адресату же придется побегать, поискать специалиста, после чего трудно добытый смысл уж не забудется.

Арабский стих, который еще займет свое, довольно видное место в нашем повествовании... Пока же заметим, что Грибоедов не только лукаво скрывает перевод, но и не сообщает имени сочинителя, которого цитирует в подлиннике. Не сообщает, возможно, потому, что Катенину это имя ничего не скажет.

Или оттого еще, что, называя, Грибоедову придется объяснить, может быть, приоткрыть не совсем понятные для друзей, потаенные области души, где соседствуют древние пророки и «бред поэта»; где «Магомет успел, отчего же я не успею?».

Полное имя арабского автора, жившего с 915 по 965 г., Абу-ат-Тайиб Ахмед ибн аль-Хусейн ибн Марра ибн Абд аль-Джаббар аль-Джафи аль-Кипди аль-Куфи. Осталось же на века в литературе, истории прозвище: аль-Мутанабби, что означает лжепророк — более чем грустное наименование великого поэта, впрочем доказывающее, что можно остаться на века в литературе и с таким страшным прозвищем.

Аль-Мутанабби. К тысячелетню его смерти (по арабскому календарю) вышла огромная литература («мутанаббана»).

Человек, о котором один из лучших поэтов Востока, Абу-ль Ала аль-Маарри, говорил, что, сколько ни пытался, не мог улучшить ни единого его слова: Маарри называл собрата не именем, не прозвищем, а просто аш-Ша'ир — Поэт (Булгаков, возможно, перевел бы — Мастер).

Итак, аль-Мутанабби, чьи песни русский путешественник А. М. Федоров записывал за лодочниками Ира-

ка в начале XX столетия (не забыли их, верно, и сейчас).

Аль-Мутанабби, чьи изречения встречаются в «безграничном числе учебников, сборников, антологий» (Крачковский); чей стих попал, между прочим, и в повесть Леонида Леонова «Скутаревский»: «Пусть тебя не вводит в заблужденье улыбающийся рот».

Аль-Мутанабби, кто воспевал «белозубых красавиц со сладкой слюною и блестящим лицом» или вспоминал о негре, «у которого губы — в полтела»; кто мечтал о прошлом, «когда это время было еще юным», кто восклицал: «Одна только эпоха — рассказчик моих касид; когда я слагаю стихи, певцом их становится время!»

«Ошибается тот, кто считает только Коран чудом, чтение тобою Корана такое же чудо».

Аль-Мутанабби, вечный странник, бродяга, невеселый мечтатель, неуживчивый сатирик. Мы не ведаем, многое ли знал о нем Грибоедов (вообще с Мутанабби Европа познакомилась лишь в XVIII в. благодаря трудам замечательного немецкого востоковеда Рейнеке); заметим только еще раз, что истинные таланты чувствуют друг друга каким-то особым, «сверхъестественным» чутьем.

Достаточно всего нескольких стихов, изречений, слов, биографических фактов — и уж как не бывало разделяющих веков и языков...

Родился «соавтор» Грибоедова в Куфе — нынешнем Ираке; сын водоноса, как видно осмеянный за пророчества, т. е., вероятно, за стихи (есть версия, что за изрядный атеизм); поэт, не стесняющийся «нелестного наименования».

Проснешься ль ты, осмеянный пророк..

В Куфе, затем в Сирии, в Египте, в Иране — по многочисленным мелким мусульманским эмиратам, султанатам... Дольше всего поэт продержался при дворе халебского эмира Сейфа ад-Дуля; оробевшие воины этого царства, согласно преданию, так воодушевились военным гимном, который сочинил Мутанабби, что разбили куда более сильное византийское войско. Но здесь, в Халебе, надежды на вечную дружбу эмира окончились знаменитыми на Востоке строками:

Один без друга во всех странах: когда велика
цель, тогда ведь мало помощников,

Друзья мои — печаль и слезы... Им нет утрат,
Именно здесь родился стих:

Шарру-л-бил-ади-маканун...
Худшая из стран — место, где нет друга.

Страны, страны — как и у российского поэта, который много ездит, недолго проживет и сложит голову на чужбине.

Мутанабби же, переехав из Халеба в Каир, еле спасся от египетского правителя, осыпая его похвалами, где лишь последний глупец не увидел бы насмешки...

Из Египта — в Багдад. Из Багдада — в Иран. Сходятся пути лжепророка и того поэта, кто девять веков спустя мечтает явиться пророком. Древний поэт, как и позднейший, рано замечает крадущуюся смерть:

«Смерть — это вор, который хватает без рук и мчится без ног».

«О дети нашего отца, мы ведь обитатели жилищ, над которыми постоянно каркает ворон разлуки».

«Как я могу наслаждаться вечерней или утренней варей, если никогда не вернется тот ветерок...»

На обратном пути из Ирана аль-Мутанабби погиб: один из обиженных сатирическими уколами поэта нанял убийц. Наверное, далеко не все его труды к нам дошли — их ищут по всему Востоку.

Сходство же судеб с Грибоедовым — вовсе не мистика, а признак душевного сродства.

Вот каков Восток, каковы миражи трезвого XIX столетия...

Ермолов — Чингисхан; Грибоедов — Авраам, Магомет, Мутанабби.

Позже еще не раз вернемся к этим мечтам и видениям...

«ЕРМОЛОВЦЫ, ПОЭТЫ...»

Пора, однако, окончить сравнение генерала Ермолова и чиновника Грибоедова. Последнее сопоставление — одно из самых важных: политические взгляды.

По духу времени и вкусу
Он ненавидел слово: раб...

Это из грибоедовского экспромта, сочиненного по поводу собственного ареста.

По духу времени и вкусу — как автор «Горя от ума», так и его начальник сильно заподозрены в воль-

ных взглядах. Для Аракчеева, высшей бюрократии оба они, конечно, люди оппозиции. Денис Давыдов однажды сказал о себе то, что вполне относится и к Ермолову: «Я никогда не пользовался особым благоволением царственных особ, коим мой образ мыслей, хотя и монархический, не совсем правился» [Давыдов, с. 8].

Как можно вызвать неблагоприятие монарха монархическим образом мыслей?

Очевидно, не признавая права самодержца становиться деспотом, т. е. нарушать собственные законы, вторгаясь в личные, семейные дела подданных.

Пушкин именно это имел в виду, когда писал: «Без политической свободы жить очень можно; без семейственной неприкосновенности невозможно; каторга не в пример лучше».

Имея дело с таким человеком, как Ермолов, очень легко, односторонне подобрав факты, воскликнуть: «Слуга царю, отец солдатам!» И можно опять же «направленным отбором» получить Ермолова-декабриста. Вот примеры.

Ермолов против газетных публикаций об испанской революции (1820 г.): «Нет выгоды набить пустяками молодые головы» [Ермолов. Письма, с. 24].

Чуть позже (в откровенных посланиях к другу Закревскому) генерал пишет об освобождении крепостных: «Мысль о свободе крестьян, смею сказать, непадает. Если она и по моде, то сообразить нужно, приличествуют ли обстоятельства и время. Подозрительно было бы суждение мое, если б я был человек богатый, но я, хотя и ничего не теряю в таком случае, далек однако ж, чтобы согласиться с подобным намереньем, и собою не умножил бы общества мудрых освободителей» [там же, с. 34].

Здесь Ермолов почти что крепостник. К тому же не жалуется заговорщиков: «Мне не нравится и самый способ *секретного общества*, ибо я имею глупость не верить, чтобы дела добрые требовали тайны» [там же, с. 35].

Но вот совсем другой Ермолов: в тех же дружеских письмах он неизменно именует Аракчеева Змеем (так же как Петра Волконского, начальника Главного штаба,— Петроханом); не раз вспоминает, что еще в молодости, при Павле, несколько лет пробыл в тюрьме и ссылке.

В чине полковника Ермолов столь дерзко держался

с высшими, что они, говорят, мечтали, чтобы его скорее сделали генералом, и тогда уж не стыдно будет выносить дерзости; позже на него постоянно доносят за «снисходительное обращение с молодежью». Огарев заметит, что на Кавказе именно со времени Ермолова «не исчезал приют русского свободомыслия» [ПЗ, VI, с. 346].

Зато Николай I за два дня до вступления на престол напишет генералу Дибичу: «Вы... не оставьте меня уведомить обо всем, что вокруг вас происходит будет, особливо у Ермолова... Я, виноват, ему менее всех верю» [Шильдер, т. I, с. 251].

Кюхельбекер на закате жизни, в сибирской ссылке найдет стихотворный образ своего поколения:

Лицейские, ермоловцы, поэты...

Другой же декабрист, Цебриков, па Ермолова в обиде: «Он мог играть ролю Валленштейна, если бы в нем было поболее патриотизма, если б он при обстановке своей того времени и какого-то трепетного ожидания от него людей ему преданных и вообще всех благородномыслящих не ограничивался каким-то непонятным равнодушием, увлекшим его в бездейственность, в какую-то апатию. [...] Ермолов мог предупредить арестование стольких лиц и потом смерть пяти мучеников, мог бы дать России конституцию, взять с Кавказа дивизию пехоты, две батареи артиллерии и две тысячи казаков, пойдя прямо на Петербург. [...] Это было бы торжественное шествие здравого ума, истинного добра и будущего благополучия России! При русском сметливом уме солдаты и крестьяне тотчас бы сметили, что это война чисто была бы за них; а равенство перед законом и сильного и слабого, пачальника и подчиненного, чиновника и крестьянина тотчас связало бы дело, за татарско-немецким деспотизмом остановленное неподнятым... Но Ермолов, еще раз повторяю, имел настольную книгу Тацита и Комментариев па Цезаря, ничего в них не вычитал, был всегда только интриганом и никогда не был патриотом...» [ИС, кп. 2, с. 241, 244—245].

Недоволен Николай I. Недовольны и декабристы. Во время допросов одни революционеры поведали о своих надеждах на генерала; Бестужев-Рюмин же говорил, что южане опасались принимать в общество Грибоедова, «дабы в оном не сделал он партии для Ермо-

лова, в коем общество наше доверенности не имело».

Опасались в случае победы Ермолова-диктатора. Передавали фразу генерала о заговорщиках: «Без нас не обойдутся!» [Пушк. Восп., т. II, с. 172].

О Грибоедове также различные суждения: будто бы он сказал, что «сто прапорщиков хотят изменить весь государственный быт России». И убежденность некоторых декабристов (или им сочувствующих): «Грибоедов наш»; «он знал все»...

С Грибоедовым, а также с Пушкиным, Денисом Давыдовым, Вяземским и многими другими свободными людьми, вероятно, происходило то, о чем полвека спустя напишет царю один революционер: «Ваше Величество, если Вы встретите на улице человека с умным и открытым лицом, знайте — это Ваш враг».

Горе от ума.

Грибоедов был, конечно, близок к декабристам, много ближе, чем Ермолов. Грибоедов написал комедию, где декабристы узнавали самих себя и противников; он, несомненно, мечтал о благих переменах в России.

За последние десятилетия благодаря трудам М. В. Нечкиной, В. С. Шадури и других исследователей было открыто, изучено очень многое, сближавшее Грибоедова с декабристами.

О тайных обществах знали все; впрочем (как заметил Пушкин), «кто же кроме полиции и правительства не знал [о заговоре]?»

Если бы у истории было всего два цвета — красный и черный, если бы в 1820-х годах действовал лозунг «Кто не с нами, тот против нас», тогда и Пушкин, и Грибоедов, и даже Крылов, Давыдов, Ермолов, конечно же, декабристы. Но тут выясняется, что необходимо четко определить понятия, что двухцветной истории не бывает. Между Пестелем и Аракчеевым огромное число оттенков; есть граница, за которой краска решительно меняется. Но если речь идет о декабристах в собственном смысле, о революционерах, заговорщиках, то это люди, желающие уничтожить самодержавие и крепостное право силою оружия, восстания...

Рядом же те, кто не верит, не очень верит или не всегда верит в спасительную формулу бунта, восстания: люди отнюдь не худшие, прогрессисты, «лицейские, ермоловцы, поэты». Без них, *вторых*, *пет тех, первых*, это правда. Но опасно не различать. Этим не-

различением постоянно грешат многие даже крупные специалисты: так хочется, чтобы всякий хороший человек 1820-х годов был декабристом, стоит ли копать в тонкостях, усложнять?

Стоит! Ермолов, Грибоедов... Отнюдь не настаиваем, что их политические взгляды одинаковы; но их стиль, дух, остроумие, даже внешний вид таковы, что и *власть* и *революционеры* находят обоих не совсем теми или вовсе не теми, кем они являются.

От Грибоедова, автора «Горя от ума», ждут новых декабристских поступков. Если деспотизм «всегда столь ненавистен всем благомыслящим людям», значит, он ненавистен и Грибоедову. И от него кое-кто ждет прямого участия в бунте, «торжественного шествия здравого ума, источника добра и будущего благополучия России».

Еще были разговоры, будто товарищи старались спасти Грибоедова, гениального писателя, и поэтому берегли от слишком активного участия в заговоре (как Пушкина).

Тут полезно прислушаться к мнению декабриста Завалишина: «Для современников молодости Грибоедова и Пушкина они были совсем иные люди, чем для следующих поколений, которые смотрят на них сквозь призму последующих разъяснений из произведений и действий и еще чаще судят на основании позднейшей уже их деятельности» [Гр. Восп., с. 140—141].

Все сложно, очень сложно, многоцветно...

Заканчивая, наконец, длинное сравнение удивительного генерала и еще более необыкновенного чиновника, еще раз повторим: похожи, иногда очень похожи — умом, талантом, хитростью, знанием, самоощущением; сближены Кавказом, Персией, декабристскими ожиданиями.

Похожи — и внимательно приглядываются друг к другу. «Кажется, что он меня полюбил», — пишет Грибоедов, но прибавляет: «Впрочем, в этих тризвездных особах нетрудно ошибиться» [Гр., т. III, с. 35]. Осведомленный чиновник докладывает Дибичу и Николаю I: «Более всех Ермолов любит Грибоедова за его необыкновенный ум, фанатическую честность, разнообразность знаний и любезность в обращении»; но следует важное добавление: «Сам Грибоедов признавался мне, что Сардарь-Ермулу, как азиатцы называют Ермолова, упрям, как камень, что ему невозможно вложить

какую-нибудь идею. Он хочет, чтобы все происходило от него и чтобы окружающие его повиновались ему безусловно» [Гр. Восп., с. 288].

Однако при всех оговорках — отношения хорошие. С глаза на глаз генерал и чиновник переходят на «ты». Грибоедов не устает извещать друзей о Ермолове: «Что это за славный человек! Мало того, что умен, нынче все умны, но совершенно по-русски, на все годен, не на одни великие дела, не на одни мелочи, заметь это. Притом тьма красноречия, а не нынешнее отрывчатое, несвязное, наполеоновское риторство; его слова хоть сейчас положить на бумагу. Любит много говорить; однако позволяет говорить и другим...» [Гр., т. III, с. 35—36].

В другой раз Грибоедов оценит шефа лаконичнее: «Один из умнейших людей в России» [Гр. Восп., с. 153].

Наконец, последнее по времени суждение поэта о генерале, уже после перемены царствования в начале ермоловской опалы: «При Алексее Петровиче у меня много досуга было, и если я немного наслужил, так вдоволь начитался» [Гр., т. III, с. 198].

Много досуга — иначе говоря, Ермолов не пользовался грибоедовскими дарованиями. Один из осведомленных кавказцев замечает, что «у Ермолова Грибоедов составлял только роскошную обстановку его штаба» [Гр. Восп., с. 157].

Сам же Ермолов, кажется, имел обыкновение сопоставлять Грибоедова с другим поэтом-чиновником — Державиным. Великого стихотворца XVIII в. генерал знал лично и утверждал: «Державину нельзя верить [...] он был фантазер и неспособен к делам». О Грибоедове же говаривал, что он, «как Державин, не был способен ни на какое великое дело» [Ермолов. Материалы, с. 393, 423].

Неприятные слова, впрочем сказанные Ермоловым позднейшим, уже в опале, отставке. Труднее услышать, понять, как они ладили до ухода генерала на север.

Из документа, с которого начался наш рассказ, видно, что Грибоедов жалуется: Ермолов «не сильно поощрял... не очень использовал...»

Но, кажется, до поры до времени Грибоедов не слишком обижался. Мало того, Ермолов ведь хотел его наградить за вывод дезертиров из Персии, но Петербург не захотел.

Мы знаем также, что Грибоедов несколько лет наблюдает, учится, все сильнее увлекается возможностями, которые открываются для умного государственного человека на краю империи:

«Какой наш старик чудесный [...] как он занимателен, сколько свежих мыслей, глубокого познания людей всякого разбора, остроты рассыпаются полными горстями, ругатель безжалостный, по патриот, высокая душа, замыслы и способности точно государственные, истинно русская, мудрая голова. [...] Это не мешает мне когда-нибудь с ним рассориться, по уважения моего он ни в каком случае утратить не может» [Гр., т. III, с. 183].

Фигура «кавказского Ермолова» может быть сопоставлена с позднейшими прогрессивными сибирскими администраторами — Муравьевым-Амурским, Корсаковым. На окраине, где до царя далеко, разрешено многое, чего не простили бы в столицах или центральных губерниях. Пограничным генерал-губернаторам даются особые привилегии, разрешается привлекать к службе ссыльных, производить смелые эксперименты...

Грибоедов присматривается: Ермолов — образец далеко не идеальный; он не сделал многого, что, пожалуй, совершил бы другой правитель, владеющий и его опытом, и своим собственным.

Снова вспомним строки Бегичева: «Однажды [Грибоедов] сказал мне, что ему давно входит в голову мысль явиться... пророком».

При таком взгляде на самого себя нелегко быть «роскошной обстановкой штаба»; можно «когда-нибудь рассориться...»

И совсем было бы худо, если б досуги оставались ничем не заняты.

«ГОРЕ...»

Согласно довольно достоверному рассказу Булгарина, одним жарким азиатским днем Грибоедов в саду видит во сне весь план будущей комедии (см. [Булгарин, т. VII, с. 248]).

Гоголь вглядывается в русскую жизнь из Рима, Грибоедов — из другого экзотического края, помогающего понять отечество максимальной на него непохожестью.

«Горе от ума», начатое в Персии и Тифлисе и завершенное в России: обратим внимание на широчай-

шую известность пьесы с самого начала, с первых месяцев и дней.

О тиражах речь не идет — «Горе от ума» не было разрешено, лишь часть появилась в болгарском альманахе «Талия» в начале 1825 г. (единственные сцены, которые автор увидел напечатанными при жизни).

Не тиражи — списки! Сознвая крайнюю приближенность всяких расчетов, все же можем по числу сохранившихся копий судить о многом. В десятках, сотнях списков ходили по стране пушкинские стихи — «Вольность», «Кинжал», «К Чаадаеву»; распространялись декабристские, рылеевские строки и строфы. Однако хождение двух бесцензурных сочинений было, так сказать, вне конкуренции — лермонтовское стихотворение «Смерть поэта», грибоедовское «Горе от ума».

Герцен знал, что говорил: «„Горе от ума“ паделало более шума в Москве, нежели все книги, написанные по-русски; после „Горя от ума“ не было ни одного литературного произведения, которое сделало бы такое сильное впечатление» [Герцен, т. IX, с. 139].

Булгарин сообщал (пусть преувеличивая): «Один из наших знакомых, проехав Россию несколько раз вдоль и поперек с тех пор, как сия комедия пошла по рукам в рукописи, уверял нас, что в России находится более сорока тысяч списков сего единственного произведения» [Сев. пчела, 1831, № 31]. Любопытно, что в печать постоянно просачивалась строчка-другая запрещенной комедии. Через два года после гибели Грибоедова один любитель, вырезая из газет и журналов цитаты и сверяя их с имевшимся под руками списком «Горя от ума», удостоверился, что не хватает только 128 стихов, чтобы составить полный печатный экземпляр комедии [Мещеряков I, с. 180].

В чем же секрет такого сверхуспеха, которого и сам автор не ожидал?

Талантливость, гениальность, удивительное, топчайшее соответствие тогдашним потребностям лучших, активнейших читателей. Позже, много позже критики заметят, что не только общественный порыв Чацкого, но и болтовня Репетилова могут быть поняты как авторский взгляд на декабризм...

В 1824-м, 1825-м и в последующие годы не было никаких сомнений: «Образ Чацкого, меланхолический, ушедший в свою иронию, трепещущий от негодования и полный мечтательных идеалов, появляется в послед-

ний момент царствования Александра I, накануне восстания на Исаакиевской площади,— это — *декабрист...*» [Герцен, т. XVIII, с. 180].

Гениально, *пророчески* угадана и форма, в которой общество более всего склонно принять передовые идеи,— *поэзия* (об этом особый разговор в III части книги).

Лучшая русская комедия... Судя по некоторым достоверным рассказам, Грибоедов сначала собирался написать нечто другое и даже находил, что «первое начертание было гораздо великолепнее и высшего значения, чем теперь». По всей видимости, сначала Чацкий был более героичен, таинствен — «вроде байроновского Каина, Манфреда или Чайльд-Гарольда» [Пиксанов, с. 280]. Однако замысел романтической трагедии как бы сам собою перешел в комедию, сатиру. Мы можем сколько угодно сегодня восклицать, что, дескать, слава богу, талант не дал Грибоедову возможности «испортить», байронизировать великую пьесу. Но кто знает, чего желал в глубине души достигнуть мастер? Во всяком случае, определенная его неудовлетворенность уже написанной комедией требовала новых попыток воплощения положительного идеала. Мечта о высоком, могучем герое-титане.

К тому же, купаясь в волнах настоящей славы, автор комедии уже как бы попадал в плен к своему творению. Дружба с младшим родственником — декабристом Александром Одоевским, можно сказать, возвышена и укреплена «Горем от ума». Декабристы устраивают на квартире Одоевского своеобразный цех по переписке комедии под общую диктовку, так что одновременно создаются десятки копий.

Сближение с Булгариным в немалой степени определяется ловкостью первого издателя «Горя от ума»; с Катениным же, не понявшим пьесы и ворчливо, зависительно к ней придравшимся,— с ним при всех стараниях уж не может быть той прежней близости, когда из Персии писались теплые письма с арабскими строчками...

Самому Грибоедову после «Горя от ума» приходилось либо сочинять не хуже, либо не сочинять вообще...

Век спустя американский писатель, наверное никогда не читавший Грибоедова, сочинил важные строки, относящиеся и к автору «Горя от ума»: «Развратить большого писателя невозможно, потому что большой

писатель всегда останется самим собою. Даже если бы он хотел запродаться, он все равно не смог бы, а, наоборот, многие большие писатели и правда этого хотели, по крайней мере, им так казалось. Но большой писатель может застрять на месте... и при этом может утратить главное свое умение» [Вулф, с. 549—551].

Мы не имеем права сказать, что Грибоедов «застрял», «утратил умение», но он должен был идти вверх с огромной, уже достигнутой высоты...

Напомним, что краткое отступление о великой комедии возникло в нашем повествовании в связи с грибоедовскими «досугами» на Кавказе: Ермолов не хочет использовать служебные дарования чиновника — ну что ж, чиновнику приходится написать гениальную комедию! Поэзия вместо политики: так ли все просто?

Поиски героя-титана, серьезные и шуточные рассуждения о пророческом даре — не наводит ли все это на мысль, что и ермоловское управление, и персидское устройство, и дела Тайного общества — все эти «низменные» политические предметы не столь далеки от высокого поэтического идеала, как может казаться...

«Горе от ума» — это ведь поговорка. В словаре Даля: «Горе от ума, от ума строптивного, самовластного».

По соседству у Даля же еще немало фраз и словечек — прямо о Чацком и Грибоедове:

Глупцу счастье, умному несчастье.

Ум с сердцем не в ладу.

Счастье ума прибавляет, несчастье последний
отымает.

Ум с умом сходились, дуракам расходился.

Ум разуму не указ.

С ума спятил, да на разум набрел.

От ума сходят с ума, а без ума не сойдешь
с ума.

ВРЕМЯ ПЕРЕЛОМИЛОСЬ

Грибоедов — Александру Бестужеву (Северный Кавказ, станция Екатериноградская):

«Кавказская стена ни откудова, от Тамани до Каспийского моря, не представляется так величественно, как здесь; не свежу глаз с нее; при ясной, солнечной погоде туда, за снежные вершины, в глубь этих ущелий погружаюсь воображением и не выхожу из забве-

ния, покудова облака или мрак вечерний не скроют совершенно чудесного, единственного вида; тогда только возвращаюсь домой к друзьям и скоморохам» [Гр., т. III, с. 182].

Несколько дней спустя — *Степану Бегичеву*:

«Пускаюсь в Чечню, Алексей Петрович не хотел, но я сам ему навязался. Теперь это меня несколько занимает, борьба горной и лесной свободы с барабанным просвещением, действие конгревов; будем вешать и прощать и плюем на историю. Насчет Алексея Петровича объявляю тебе, что он умнее и свособычнее, чем когда-либо. Удовольствие быть с ним покупаю смертельною скукою во время виста, уйти некуда, все стеснены в одной комнате; но потом за ужином и после до глубокой ночи разговорчив, оригинален и необыкновенно приятен. Нынче, с тех пор как мы вместе, я еще более дивлюсь его сложению телесному и нравственному. Беспреданно сидит и не знает почечуя, окружен глупцами и не глупеет» [там же, с. 185—186].

Письмо Бегичеву помечено датой — *7 декабря 1825 г.* Цифры обладают художественной выразительностью: 1825-й; правда, еще не 14 декабря, но уже 7-е!

Из приведенных строк можно сделать несколько существенных выводов:

Что известие о смерти Александра I (19 ноября 1825 г.) до Кавказа еще не дошло.

Что восхищение Грибоедова Ермоловым не только не ослабело — возросло.

Что Ермолов охотно разделяет досуги с острым Грибоедовым, не очень в нем нуждаясь («не хотел, по я сам навязался»); известно, что в станице Червленной «Горе от ума» читалось вслух Ермолову и его сотрудникам Вельяминову, Мазаровичу [Ермолов Алдр., с. 101]; однако мы не ведаем, как принял тогда генерал сочинение «надворного советника». Лишь много позже кое-что узнаем от Пушкина, но о том разговор в свое время...

Можно не сомневаться, что *горная, лесная свободы и барабанный просвещенье* — одна из постоянных тем «за ужином и после глубокой ночи». Очевидно, Грибоедов в те часы иронически и всерьез трактовал ситуацию: дикая вольность, насильственное просвещение («конгревы» — военные ракеты английского изобретения); разумеется, возникали исторические параллели:

древний Рим и покоренные народы, Петр Великий и свой собственный народ... Кажется, среди этих разговоров были сочинены «Хищники на Чегеме», где Грибоедов ведет речь как бы языком горной и лесной свободы; и это в высшей степени интересное столкновение в одном лице чиновника, обязанного с той свободой бороться, и поэта, вражьей вольностью опьяненного:

Окопайтесь рвами, рвами,
Отразите смерть и плен —
Блеском ружей, тверже стен!
Как ни крепки вы стенами,
Мы над вами, мы над вами,
Будто быстрые орлы
Над челом крутой скалы.

Наши — камни, наши — кручи!
Русь! Зачем воюешь ты?
Вековые высоты
Досягнешь ли?...

Исторические разговоры Грибоедова и Ермолова, двух замечательных и похожих людей, которые не знают, что недолго им разговаривать.

Оба находят, что «плюют на историю», т. е. на сложившиеся, тысячелетние обычаи, нравы; меж тем «плевать» опасно — и пусть не теперь, но поскорее нужны какие-то иные меры для просвещения, умиротворения горца. Чуть позже Грибоедов добавит: «Действовать страхом и щедротами можно только до времени; одно строжайшее правосудие мирит покоренные народы с знаменами победителей» [Гр., т. III, с. 186].

Для начала — правосудие; очевидно, подразумеваются и какие-то иные связи, духовные, экономические, но в будущем, в будущем... Пока же — «имя Ермолова еще ужасает; дай бог, чтобы это очарование не разрушилось».

В Собрании писем Грибоедова следующий за письмом Бегичеву документ писан на 11 дней позже: послание от 18 декабря 1825 г. близким петербургским друзьям — Андрею Жандру и Варваре Миклашевич — все из той же Екатериноградской станицы: «Смерть государя причиною, что мы здесь запраздновали и ни с места... Коли поход в Чечню не состоится, то я долее не выдержу; как ни люблю Алексея Петровича, но по совести сказать, на что я ему надобен?»

В письме приветы «нашему Александру Одоевскому» и предвкушения грядущей встречи; Одоевский же

успел 14 декабря выйти на Сенатскую площадь, восклицая «Ах, как славно мы умрем!»

За день до написания письма, 17 декабря, Одоевского уже доставили в Алексеевский равелин...

В бестелеграфном мире одновременность как бы не существует, и Грибоедов продолжает: «Какое у вас движение в Петербурге!! А здесь... Подождем, Варвара Семеновна, понуждайте нашего ленивца, чтобы не отставал от Одоевского, я перед вами на колена становлюсь. Пишите к дальнему другу и родственнику вашего избранья. Сто раз благодаря вас, что нянчите Вильгельма, чур не заглядываться, тот час треснетесь головою об пол» [Гр., т. III, с. 188].

Высокий рост Вильгельма Кюхельбекера (так что опасно «заглядываться») как раз в эти дни включен в его *особые приметы*: беглеца разыскивают и скоро догонят в Варшаве...

О том, как отразилось на судьбе Грибоедова и Ермолова восстание на Сенатской площади, существует большая литература. Наиболее подробный анализ событий представлен в известной монографии «Грибоедов и декабристы» (см. [Нечкина, гл. XVII]).

27 декабря, Петербург — приказ об аресте Грибоедова.

22 января 1826 г. в крепость Грозную, где находились Грибоедов и Ермолов, примчался фельдъегерь Уклонский с предписанием «немедленно взять под арест чиновника Грибоедова со всеми принадлежащими ему бумагами, употребив осторожность, чтобы он не имел времени к истреблению их, и прислать как оные, так и его самого под благонадежным присмотром в Петербург».

Между этими событиями произошло еще одно, немаловажное для нашего рассказа и, кажется, ускользнувшее от внимания следователей.

Грибоедов, доставленный в столицу, как известно, не был посажен в крепость, но содержался на гауптвахте Главного штаба вместе с несколькими другими арестантами, чья вина также была «неочевидной» (после соответствующих уточнений их отправляли либо в каземат, либо на волю). Одним из них был И. П. Липранди, в Кишиневе близкий к декабристам и Пушкину, а позже рьяно служивший властям, «прославившийся» разоблачением петрашевцев и другими подобными акциями (см. [Эйдельман, гл. I]).

Согласно утверждению самого Липранди, сделанному в 1869 г., он вел регулярный дневник с 6 мая 1808 г. [там же, с. 18]; ценность этого документа (местонахождение которого, к сожалению, неизвестно) хорошо видна по тем извлечениям из него, которые на склоне лет Липранди публиковал в разных изданиях. Таковы важнейшие его дневниковые записи о Пушкине [РА, 1866], заметки о некоторых эпизодах войны 1812 г. и других событиях (см. [Тартаковский, с. 80—86])⁵.

Тенденциозное стремление мемуариста задним числом, с позднейших охранительных позиций, затушевать собственное вольнодумное прошлое сталкивается в этих текстах со скрупулезной точностью автора дневника, и легко понять, какое значение придают специалисты отысканию новых его фрагментов.

Среди бумаг известного историка Н. Ф. Дубровина, опубликовавшего в свое время капитальное шеститомное исследование «История войн и владычества русских на Кавказе», имеются копии важных документов, которые полностью или частично не были обнародованы в основном по причинам «щекотливости», цензурной невозможности многих подробностей. Среди этих текстов находится небольшой фрагмент под заглавием «Действительная причина отставки Ермолова» со ссылкой «Из дневника И. П. Липранди, который обязательно дозволил прочесть его» [ААН, ф. 100, оп. 1, № 350, л. 12—13].

Легко убедиться, что эти дневниковые записи делались спустя определенное, может быть, даже значительное время после описываемых событий. В самом деле, не вел же Липранди дневника на гауптвахте, к тому же он опирается и на слухи, не всегда достоверные. Хотя сопроводительная помета удостоверяет, что Липранди «дозволил прочесть» Дубровину или его сотрудникам свой дневник, однако не исключено, что он им представил уже определенным образом обработанный фрагмент, как это было, между прочим, при передаче для «Русского архива» дневниковых текстов о Пушкине; заметим, что и в «пушкинских» записях, и в «ермоловских» первое лицо рассказчика заменяется третьим (фразы типа: «Оба эти лица сидели в крепости с Липранди»).

Особый интерес представляет первая половина дневникового фрагмента, завершаемая ссылкой на важнейших свидетелей, в том числе Грибоедова: фельдъегерь

Дмитриев прибывает на Кавказ, чтобы сообщить Ермолову об отречении Константина и восшествии Николая; он застаёт командующего в окружении сотрудников, в сюртуке, раскладывающим пасьянс. Ермолов сначала не понимает, в чем смысл новости — ведь совсем недавно присягали новому императору. Дмитриев сообщает о второй присяге: «Ермолов посмотрел на него вопросительно. Взяв привезенные бумаги, передал их бывшему при нем обер-аудитору.

— Читай,— сказал он ему, а сам продолжал раскладывать пасьянс.

Когда аудитор дочитал до того места, где в манифесте было сказано, что новый император будет во всем следовать Александру Благословенному, то Ермолов сострил:

— Одолжил, нечего сказать,— проговорил он.

Зная Ермолова и его отношение к императору Александру, нетрудно видеть в этом простую остроту, но она была растолкована впоследствии иначе, тем более что присяги от Ермолова долго не получали. Все удивлялись тому, что Константину присяга была прислана так скоро, Николаю до сих пор нет. Призвали Дмитриева, стали расспрашивать, где Ермолов, что он делает, как принял это известие и проч. Дмитриев рассказал, как было дело. Это было передано императору — и вот начало неудовольствий. Полагали, что Ермолов участвует в заговоре 14 декабря, что он окружен неблагонамеренными лицами и проч. Тотчас же послали арестовать правителя его канцелярии Грибоедова и адъютанта Воейкова. Оба эти лица сидели в крепости с И. П. Липранди, которому и рассказали, как было дело» [там же, л. 12 об.].

Грибоедов и адъютант Ермолова Н. П. Воейков разделяли заключение с Липранди на главной гауптвахте начиная с 11 февраля 1826 г. (см. [ВД, т. VIII]). Липранди был выпущен на свободу 19 февраля, Воейков — 20 февраля, Грибоедов много позже; восемь-девять дней они были товарищами по несчастью.

Можно сказать, что Липранди передает в своих записях устные воспоминания двух весьма осведомленных и заинтересованных лиц о событиях, случившихся в штабе Ермолова, когда туда пришло известие о воцарении Николая. Разумеется, ни Липранди, ни его собеседники не знали всей политической подоплеки взаимоотношений нового царя и Ермолова; можно допу-

стить, что на оценку Липранди уже повлияли вскоре последовавшие события, в частности отставка генерала. Однако обычная точность его памяти позволяет с доверием отнестись к важным подробностям — острая реплика Ермолова, его поведение, облик, нарочито не соответствующие «важности момента» (сюртук, пасьянс). Можно допустить, что Грибоедов и Воейков тогда же заметили и, вероятно, не скрыли от своего командующего, что презрительное «одолжил, нечего сказать» не останется без последствий. Согласно Липранди, оба арестованных «ермоловца» объясняли, между прочим, собственный арест неблаговолением Николая I к их генералу, усугубленным репликой Ермолова. Опасная фраза — признак ермоловской самостоятельности, вольности, определенной оппозиционности; умнейший генерал вступает, таким образом, в конфликт с новой властью и должен ожидать возмездия. Оно вскоре является в виде нового фельдъегеря, арестующего верных Ермолову людей, и в этом контексте приобретают дополнительный смысл те меры, которые генерал принял для облегчения участи Грибоедова: поэту дано время для сожжения опасных бумаг; очевидно, сгорели письма друзей — декабристов.

Позже заспорили: действительно ли Ермолов предупредил Грибоедова?

Предупредил, предупредил... Несколько мемуаристов согласно на том настаивают (см. [Гр. Восп., с. 115—125]); меж тем фельдъегерь Уклонский, несомненно, доложил в Петербурге, что Ермолов несколько часов не давал ему «приступить к делу», очевидно, предостерег арестуемого, и этот доклад будет расценен так же, как недавний отчет фельдъегеря Дмитриева о фразе «одолжил, нечего сказать...».

Можно, конечно, задаться вопросом: что нашли бы власти, если бы захватили все бумаги Грибоедова? ⁶ Как знать.

С большой долей вероятия Грибоедов сжег, например, письма Рылеева, Бестужева, Одоевского; надо учитывать, что в те дни в истерическом страхе хватали всех подозреваемых, а затем «сгоряча» осуждали довольно умеренных свободолюбцев. К тому же Грибоедов — «человек Ермолова», а генерал специально, с тем же фельдъегерем, который увозил арестованного, послал на имя начальника Главного штаба отменную характеристику: «Господин Грибоедов во время служения его

в миссии нашей при персидском дворе и потом при мне как в нравственности своей, так и в правилах не был замечен развратным и имеет многие хорошие весьма качества» [Гр. Восп., с. 377]. Ермолов откровенен, смел, дерзок, хотя, может быть, уже допускает, что подобный документ способен ухудшить положение Грибоедова: новый царь Николай I генералу, «виноват, менее всех верит» и поэтому охотно перетолкует в определенном смысле любую улику против автора «Горя от ума». Точно так же, как очень старались и сумели осудить Лунина в немалой степени потому, что он был близок к великому князю Константину, царь же хотел ущемить самолюбие старшего брата...

23 января 1826 г. Грибоедова увозят знакомым путем с Кавказа на север. Никогда не ездил так скоро, как с фельдъегерем Уклонским, — 11 февраля уже на петербургской гауптвахте.

15 февраля арестованный пишет царю: «По неосновательному подозрению, силою величайшей несправедливости, я был вырван от друзей, от пачальника мною любимого [...] через три тысячи верст в самую суровую стужу притащен сюда на перекладных... Государь! Я не знаю за собою никакой вины. В проезд мой из Кавказа сюда я тщательно скрывал мое имя, чтобы слух о печальной моей участи не достиг до моей матери, которая могла бы от того ума лишиться. Но ежели продлится мое заточение, то, конечно, и от нее не укроется. Ваше императорское величество сами питаете благоговейнейшее чувство к вашей августейшей родительнице... Благоволите даровать мне свободу, которой лишиться с моим поведением никогда не заслуживал, или послать меня пред Тайный Комитет лицом к лицу с моими обвинителями, чтобы я мог обличить их во лжи и клевете» [Гр., т. III, с. 189].

Царю так свободно не пишут, это — в «ермоловском духе», и важные чиновники не решились доставить послание адресату. Действительно, матушка подозреваемого сравнивается с императрицей-матерью, верховная власть, оказывается, может творить «величайшую несправедливость», Ермолов, сам подозреваемый, назван «любимым начальником»...

Меж тем следователи ищут декабристский заговор на Кавказе, подозревают «проконсула» как раз в том, чего ожидал от него декабрист Цебриков («мог бы дать России конституцию, пойдя прямо на Петербург»).

Хотя 25 февраля Следственная комиссия доложила, что им не о чем больше спрашивать Грибоедова, его не выпускают до 4 июня.

4 июня 1826 г. Освобождение «с очистительным аттестатом». Помогло ходатайство нового чрезвычайно влиятельного человека, генерала Ивана Федоровича Паскевича: он родственник Грибоедова (женат на его двоюродной сестре); когда же Николай I в отрочестве и юности проходил военную службу, Паскевич был «отец-командир».

8 июня. Грибоедову пожалован чин надворного советника (соответствует подполковнику); два месяца он переводит дух.

13 июля. Пятерых декабристов казнят, в их числе близкого грибоедовского друга Рылеева; среди осужденных в каторгу, ссылку, на Кавказ — ближайшие друзья: Одоевский, Александр Бестужев, Кюхельбергер, десятки добрых знакомых.

Конец июля. Новый царь прибывает в Москву на коронацию. Грибоедов — там же, в отчем доме; многими замечено и тут же истолковано в дурном смысле отсутствие на торжествах Ермолова.

Меж тем генерал писал приятелю о поездке в Москву: «Чувствую, что для меня, не менее как для самих дел по службе, было бы сие необходимо. Желал бы я, чтобы мне позволено было приехать, когда то смогу без упущения должности. Не беспокойся за меня, не верь нелепым слухам; верь одному, что за меня никогда не покраснеешь» [РС, 1872, № 11, с. 528].

Приехать Ермолову нельзя: 16 июля большая персидская армия внезапно перешла границу, рассчитывая на успех; ведь, по мнению Тегерана, вспыхнула борьба за власть между великими князьями (шах-заде) Николаем и Константином (см. [Фадеев, с. 202—208; Ибрагимбейли, с. 165—174]).

Вначале Аббас-Мирза добивается успеха, его войска углубляются в Грузию и Азербайджан. Быстро (слишком быстро!) распространяется слух, что Ермолов «проспал» вторжение, действует решительно; Паскевича как личного представителя Николая срочно отправляют в Тифлис.

Важные подробности этой интриги сам Паскевич поведал более чем через 20 лет нескольким доверенным

лицам, в том числе историку А. П. Заблоцкому-Десятовскому, который и записал этот безусловно тенденциозный, но притом весьма любопытный рассказ; текст позже был использован Н. Ф. Дубровиным в его работах о кавказских войнах (см. [Дубровин, т. VI, с. 652—661, 705—706, 709]). Полная писарская копия документа, сохранившаяся в архиве Дубровина [ААН, ф. 100, оп. 1, № 347], озаглавлена: «Рассказ генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского (17 декабря 1847 г. при Туркуле, Реаде и Заблоцком)».

Воспоминания Паскевича при всем его стремлении представить себя и Николая I максимально выгодно, а Ермолова и Дибича невыгодно сообщают любопытные подробности о напряженной политической борьбе в первые месяцы николаевского правления. «В августе месяце 1826 г., — рассказывает Паскевич, — в Москве получаю вечером записку генерал-адъютанта барона Дибича, что государь император желает меня видеть завтрашний день, и что он, Дибич, просит, если мне угодно, быть предварительно у него. Не зная, о чем идет дело, отправляюсь к Дибичу, который говорит мне: „Государь император получил от главнокомандующего Кавказским корпусом генерала Ермолова донесение, что персияне вторглись в наши закавказские провинции, заняли Ленкорань и идут далее, имел до 60 000 войск регулярных и 60 000 иррегулярных и около 80 заряженных орудий, что у него нет достаточных сил противопоставить им и что он не ручается за сохранение края, если ему не пришлют в подкрепление двух пехотных и одной кавалерийской дивизии. Государь желает, чтобы Вы ехали на Кавказ командовать войсками, ибо сила персиян должна быть преувеличена. Его величество после такого донесения не верит Ермолову“. При этом Дибич присовокупил, что и покойный император Александр Павлович был недоволен и хотел отозвать его и назначить на его место Рудзевича, ибо поступки Ермолова самоуправны, и в то же время войска распущены, в дурном состоянии, дисциплина потеряна, воровство необыкновенное, люди за несколько лет не удовлетворены и во всем нуждаются, материальная часть в запущении и проч.; что, наконец, он действительно не может там оставаться. Я отвечал: „Как я поеду на Кавказ, когда Ермолов там? Что я буду делать и в чем могу помочь дурному положению

дел, когда там нет сил? Да я же болен и не выдержу тамошнего климата, который мне известен“. Дибич на это мне сказал: „Государь этого желает и надеется, что Вы не откажетесь; впрочем, завтра Вы сами будете у государя“.

На другой день являюсь государю. Мы были вдвоем. „Я знаю,— говорит мне Его величество,— что ты не хочешь ехать на Кавказ,— мне Дибич все рассказал. Но я тебя прошу, сделай для меня это“.

Когда я повторил перед Его величеством те же причины, о которых сказал Дибичу, и добавил к тому, что я буду в подчинении у Ермолова, а потому никакого распоряжения сделать и отвечать за исполнение не могу, тогда государь начал так говорить: „Неужели я так несчастлив, что, когда только коронуюсь, и персияне — чего никогда не бывало — берут уже у меня провинции? Неужели Россия не имеет уже людей, могущих сохранить ее достоинство? Брат Александр Павлович любил тебя и говорил о тебе, тень его между нами; именем его прошу тебя, поезжай для России, видишь ли ты — около меня 40 генералов, и назови мне хоть одного, которому я мог бы доверить такое важное поручение, на кого бы я мог вполне положиться. Ты говоришь о затруднениях от Ермолова: я ему посылаю указы, чтобы он ничего без совещания с тобою не предпринимал, никаких распоряжений военных и по гражданской части не делал, а тебе даю особый указ о смещении его в случае умышленного противодействия или неисполнения моих указов о совместном с тобою действии“. Указ этот Его величество тут же собственноручно написал и мне отдал, так что и Дибич о нем не знал. Таким убеждениям государя не мог я противиться и принял предложение.

Дибич, как казалось, радовался, что Ермолову показано недоверие, и при этом случае еще много говорил мне о его действиях, разумеется дурных.

Со мною в Москве не было даже адъютанта. Знавший прежде, когда я командовал 2-ю гренадерскою дивизией, старшего адъютанта той дивизии, который тогда был в Главном штабе Его императорского величества, подполковника Викинского, я выпросил его себе в дежурные штаб-офицеры и тотчас же отправился в Тифлис, а вслед за мною и Викинский, это был один человек мой.

Указы о моем назначении в помощь Ермолову от-

правлены к нему в одно время со мною, и он получил их только за день до моего прибытия в Тифлис. Я приехал бы в одно время с получением им указов, но при проезде в горах был задержан завалами снегов» [ААН, ф. 100, оп. 1, № 347, л. 1—3 об.; опубли. с сокращ.: Дубровин, т. VI, с. 652—653].

Продолжение рассказа Паскевича (которое будет в дальнейшем цитироваться) сосредоточивается, между прочим, на том, что, во-первых, царский документ против Ермолова его преемник не использовал, а во-вторых, что Дибич во всех этих ситуациях искал своих выгод.

В каждом из этих суждений есть и правда и преувеличение. Дубровин сомневался в существовании рескрипта, ибо его не удалось отыскать ни в одном архиве, Паскевич же «при своем характере не задумался воспользоваться полномочием, ему данным, при первом столкновении с Ермоловым» [Дубровин, т. VI, с. 723]. Полагаем, однако, что особый указ существовал: вряд ли Паскевич рискнул бы выдумать что-либо подобное в 1847 г., при жизни Николая; Дубровин также недооценивает страх, который испытывал Паскевич перед Ермоловым и его сторонниками, страх бесчестия, общественного осуждения. Рассказ Паскевича важен и как существенное свидетельство борьбы группировок вокруг трона в 1826 г., неуверенности Николая, еще не прибравшего к рукам все сферы управления, неопределенности, шаткости, неясности военного и политического курса...

Такова была обстановка во время грибоедовского возвращения на Кавказ в августе 1826 г.

Момент важнейший: снова чиновник-писатель поговаривает об отставке, о нежелании ехать, о матушке, требующей от сына служебных удач для поправления семейных финансов... Однако идет война, приказ получен.

Грибоедов едет вместе с генерал-майором Денисом Давыдовым (назначенным в кавказскую службу к купцу Ермолову). Понятно, судьба и положение заподозренного главнокомандующего занимает обоих собеседников, и мы уверенно утверждаем, что они думали или по крайней мере говорили сходно; тремя годами раньше Давыдов именно Ермолову писал о Грибоедове: «Мало людей более мне по сердцу, как этот урод ума, чувства, познаний и дарования! [...] Истинно могу ска-

зять, что еще не довольно насладился его беседою» [Гр. Восп., с. 382]. Об отношении же самого Давыдова к главнокомандующему можно судить по строкам письма: «Вы мой брат и благодетель — я вам преданнейший, любящий и уважающий вас человек 30 лет сряду, следовательно, нет дела, нет мысли, нет чувства, которое бы совесть моя позволила мне скрыть от вас» [Щук. сб., вып. 9, с. 326].

В ту же пору движутся на Кавказ первые ссыльные декабристы — одни в тех же чинах, что и до наказания, другие — разжалованные: всех — на войну, под надзор (об этом подробнее в заключительном разделе книги).

Новых солдат и офицеров принимает старый главнокомандующий, который и сам-то под надзором и на подозрении... Принимает и вскоре докладывает Николаю I, что бывшие офицеры, лишённые чинов, дворянства, орденов, «в каждом действии были впереди, не уступая ни одному из солдат ни в трудах, ни в опасностях. Не вырывается у них ни одной жалобы на их состояние [...] Ничего не дерзаю я испрашивать для них; но столько же, как и я, знают они, что небесконечен гнев великого государя» [ЦГАДА, ф. 1289, оп. 1, № 801, л. 6].

Нужно ли доказывать, что отменный стилист Ермолов в последнюю фразу очень многое вложил и его самого касающееся...

3 сентября 1826 г. Грибоедов и Денис Давыдов вместе прибывают в Тифлис и представляются командующему.

3 сентября. В этот день ближайший соратник Ермолова генерал Мадатов рассеял авангард персов в Шамхорском сражении (см. [Ибрагимбейли, с. 187—189]), на другой день был возвращен самый крупный из потерянных городов — Гянджа; Аббас-Мирза сосредоточил силы для генерального сражения.

Оно состоялось через 10 дней у той же Гянджи (Елизаветполь, ныне Кировабад). Сошлись восемь тысяч русских и 35 тысяч персов. Ермолов находился в Тифлисе. С войском — Паскевич. Всем было ясно, что он в недалеком будущем заменит прежнего главнокомандующего, но пока что должен показать себя в деле. Паскевич полон страха: вероятность поражения велика, царь может не простить. Однако начальник штаба генерал Вельямнов, старый ермоловец, настаивает, что единственное спасение — атаковать. Паскевич благора-

зумно соглашается, и солдаты не подвели. Аббас-Мирза попытался замкнуть противника в кольцо, но русские смело пробили брешь в его расположении, персы рассеяны и бегут...

Вельяминов — Петру Николаевичу Ермолову (двоюродному брату генерала): «Без сомнения, все будет приписано теперь Паскевичу, но ты можешь уверен быть, что если дела восстановлены, то, конечно, не оттого, что он сюда прислан, а несмотря на приезд его» [РС, 1898, № 1, с. 186].

Позже выскажется посетивший Кавказ генерал Дибич, недоброжелательно настроенный к Ермолову, по завидовавший возвышению Паскевича: «После того порядка, в каком после Ермолова находился край, и того екатерининского и суворовского духа, которым Паскевич застал одушевленное войско, было легко пожинать лавры» [АК, т. VII, предисл., с. IX; Ермолов. Материалы, с. 337].

Паскевич, впрочем, не скрыл выдающейся роли Вельяминова в Гянджинском сражении, но уж, конечно, постарался напомнить, что прежде, у Ермолова, дела шли неважно, а теперь, после прибытия Паскевича, — отменно. Царь поздравляет «отца-командира» с победой — «первой в мое царствование».

СМУТА

9 декабря 1826 г. Грибоедов из Тифлиса пишет, вероятно с оказией, Бегичеву. Ровно год и два дня назад, 7 декабря 1825 г., ему же, как помним, было писано из Екатериноградской — об уме и своеобразности Алексея Петровича, о схватке «горной и лесной свободы с барабанным просвещением».

Всего год — и снова автор на Кавказе, адресат в Москве. Но год, стоящий десятилетий.

9 декабря 1826 г.: «Милый друг мой! Плохое мое житье здесь. На войну не попал: потому что и Алексей Петрович туда не попал. А теперь другого рода война. Два старших генерала ссорятся, с подчиненных перья летят...» [Гр., т. III, с. 195].

Снова обратимся к рассказу Паскевича от 17 декабря 1847 г.: «По приезде в Тифлис я тотчас явился генералу Ермолову. Он сказал мне, что весьма рад моему назначению и прибытию.

На другой день приходит ко мне полицейский чи-

повник сказать, что генерал Ермолов тот день никого не принимает, а на третий день тот же чиновник объявил мне, что главнокомандующий принимает во столько-то часов. Прихожу к нему в назначенный час. Меня пригласили в большую комнату — кабинет его, — посредине которой стоял большой стол в виде стойки. На одной стороне сидел генерал Ермолов в сюртуке, без эполет, в линейной казачьей шапке, напротив его генерал и другие лица, которые обыкновенно собирались к нему для разговоров и суждений. Прихожу я — второе лицо по нем. Он говорит: „А, здравствуйте, Иван Федорович“, но никто не уступает мне места и нет даже для меня стула. Полагая, что это делается с умыслом для моего унижения, я взял в отдалении стул, принес его сам, поставил против Ермолова и сел. Смотрю на посетителей: одни в сюртуках без шпэг, другие без эполет, и наконец, один молодой человек в венгерке; все вновь входящие приветствуются одинаково со мною: „А, здравствуйте, Иван Кузьмич, как вы поживаете? Здравствуй, Петр Иванович“ и т. д., и все потом садятся, так что прапорщик не уступает места генералу. Приходит генерал Вельяминов, командующий войсками за Кавказом, ему нет стула, и никто ему места не дает. И он от стыда сам принес стул и сел возле меня. Я спрашиваю его: „Кто это Иван Кузьмич? — Это поручик такой-то. — А этот в венгерке? — Прапорщик такой-то“.

Для меня это показалось очень странно» [ААН, ф. 100, оп. 1, № 347, л. 3 об.—4; Дубровин, т. VI, с. 705—706].

Любопытно, что Паскевич, обличая Ермолова, невольно рисует образ привлекательного, оригинального «генерала-демократа»: ермоловский сюртук столь же важный атрибут этой сцены, как и в рассказе Липранди о фельдъегере, извещающем «генерала в сюртуке» о новом императоре...

Вслед за тем Паскевич подробно распространился перед своими слушателями, как Ермолов «забыл» отдать приказ о нем по Отдельному Кавказскому корпусу, как приказ был наконец отдан без ссылки на «высочайшую волю», как между командующим и начальником штаба начались споры «по всем вопросам» — о движении войск, продовольствии, транспорте и т. п.: «Имея в руках собственноручный государя императора приказ о смене Ермолова, я предполагал уже объявить его, но, рассуждая, что, будучи совершенно новым че-

ловеком в крае и занимаясь поражением неприятеля, для меня было бы весьма трудным управлять краем, я оставил это до окончания летней кампании. [...] В поябре послал я адъютанта моего графа Оппермана в Петербург с донесением императору в собственные руки о всех распоряжениях и действиях генерала Ермолова, клонившихся явно к тому, чтобы война против персиян была неуспешна, а равно и о беспорядках, найденных мною при осмотре войск. В донесении этом я говорил также, что мне с генералом Ермоловым быть вместе нельзя.

Полномочия сменить Ермолова я не желал привести в исполнение без нового высочайшего повеления, которого, однако, прямо не испрашивал, а барону Дибичу не было это полномочие известно. Распечатав как начальник Главного штаба Его величества донесение мое и прочитав его, он до того вышел из себя, что в присутствии моего адъютанта бросил оное на пол и топтал ногами» [ААН, ф. 100, оп. 1, № 347, л. 7—8].

Паскевич посылает жалобу за жалобой: доказывает ошибки Ермолова, во-первых, не предусмотревшего войны, во-вторых, после вторжения персов не предпринявшего решительных действий, в-третьих, «озлобил все народы так, что они все перешли на сторону персиян. Я полагаю, что для водворения доверенности в сих народах надо его переменить, хотя [бы] он имел все достоинства, ибо из сего всеобщего возмущения доказательность, как велико к нему негодование жителей» [ЦГИА, ф. 1018, оп. 3, № 250].

Грибоедовым выбор как будто еще не сделан: Денису Давыдову и адъютанту Ермолова Шимановскому автор «Горя» вот что говорит о Паскевиче (строки записаны Давыдовым, мемуаристом в этом случае, безусловно, пристрастным, но вообще довольно точным): «Как вы хотите, чтоб этот дурак, которого я коротко знаю, торжествовал бы над одним из умнейших и благонамереннейших людей в России; верьте, что *наш* его проведет, и Паскевич, приехавший еще впопыхах, уедет отсюда со срамом» [Гр. Восп., с. 153].

Смута продолжается. Паскевич составляет очередной донос, особенно резкий в черновом варианте (окончательный текст несколько смягчен): «Я всего должен опасаться, ибо имею дело с самым злым и хитрым человеком. Если рассказам верить, то он [Ермолов] не остановится итить на все, чтобы от своего неприятеля

избавиться». Далее шли строки, которые Паскевич все же не решился перебелить: «Дело хотя скрытое, но я уверен, что если война возгорелась, то мы одолжены генералу Ермолову; из письма и прокламации Аббасмирзы это видно. Это все здесь утверждают, ибо он всячески поддерживал недружелюбие...» Паскевич просит отставки: «Государь император... найдет другого, который угодит Ермолову, но я не могу» [ЦГИА, ф. 1018, оп. 2, № 432; ср. РС, 1872, № 6, с. 42].

В Тифлис будто бы для разбора конфликта между двумя полководцами, а на самом деле для удаления Ермолова отправляется начальник Главного штаба Дибич⁷.

6 марта 1827 г. он от царского имени объявляет Ермолову строгий выговор, но еще за три дня до того, 3 марта, главнокомандующий пишет царю письмо, исполненное достоинства и латинской выразительности: «Не имев счастья заслужить доверенность Вашего Императорского величества, должен я чувствовать, сколько может беспокоить Ваше величество мысль, что при теперешних обстоятельствах дела здешнего края поручены человеку, не имеющему ни довольно способностей, ни деятельности, ни доброй воли. Сей недостаток доверенности [...] поставляет и меня в положение чрезвычайно затруднительное. Не могу я иметь нужной в военных делах решительности, хотя бы природа и не совсем отказала мне в оной. [...]

В сем положении, не видя возможности быть полезным для службы, не смею, однако же, просить об увольнении меня от командования Кавказским корпусом, ибо в теперешних обстоятельствах может это быть приписано желанию уклониться от трудностей войны, которых я совсем не почитаю непреодолимыми; но, устрояя все виды личных выгод, всеподданнейше осмеливаюсь представить Вашему Императорскому Величеству меру сию как согласную с пользою общею, которая всегда была главною целию всех моих действий» [Ермолов, ч. II, прил. 2, с. 244—245].

12 марта царь, еще не получивший письма Ермолова, посылает в Тифлис рескрипт о смене главнокомандующего. Фельдъегерь, видно, мчался без единой остановки на ночлег и прибыл в столицу Грузии на 16-й день пути, 28 марта. Дибич тотчас известил Ермолова об его отставке и на другой день послал фельдъегеря с рапортом обратно. Начальник Главного

штаба, между прочим, докладывал, что Ермолов «принял высочайшее решение с величайшею покорностью и без малейшего ропота и изъявления неудовольствия» [РС, 1872, № 9, с. 267].

Странная формула. Очевидно, предполагалось, что Ермолов будет сопротивляться; ясно, что о подобном варианте толковали царь с Дибичем, припоминая слухи о «декабристских настроениях» начальника Кавказского корпуса.

Наше повествование после длительного отступления в прошлое возвращается к весне 1827 г., тому времени, о котором отыскиались документы в грузинском архиве.

В мае 1827 г. Ермолов навсегда покидает Грузию, где около 11 лет находилась его резиденция. Новый главнокомандующий Паскевич не дал уезжающему даже сопроводительного конвоя, необходимого для преодоления перевалов (впрочем, верные офицеры снарядили провожатых, никого не спрашивая). Дибич просил Ермолова обойтись без прощания с войском. С дороги Ермолов напишет одному из доверенных своих людей, чиновнику Н. И. Похвисневу: «Скоро надеюсь я быть у старика моего отца, и случится может, что увижу Вас в Москве, куда стекаются подобные мне люди праздные» [Щук. сб., вып. 9, с. 297].

Вскоре опальному выразит сочувствие другой генерал, тоже отставленный Николаем, но совершенно по иным мотивам. Это был... Аракчеев, написавший Ермолову: «Весьма желал бы с Вами видеться, но в обстоятельствах, в коих мы с Вами находимся, это невозможно» [Давыдов, с. 37].

МЫ С ВАМИ..

«Николай вместо благодарности заплатил ему [Ермолову] неблагодарностью, сменил его бездарным Паскевичем... Паскевич во всю свою жизнь был самый подлейший раб Николая» [ИС, кн. 2, с. 241].

Снова цитируем декабриста Николая Цебрикова — человека, вообще сердившегося на Ермолова, который «не восстал». Мнение, интересное своим широким хождением: талантливый, своеобразный Ермолов; бездарный Паскевич.

Век спустя Ю. Н. Тынянов представит Ивана Федоровича Паскевича читателям своего романа: «Он был

вовсе не бездарен как военный человек. В нем была та личная наблюдательность, та военная память, которая нужна полководцу... Он был и неглуп по-своему — он понимал, как люди смотрят на него, и знал императора лучше, чем сам император. И он знал, что такое деньги, умел их употреблять с выгодой.

И вот все знали о нем: он выскочка, бездарен и дурак. Дураком его трактовали ближайшие люди уже через день по отъезде от него.

...Никто не принимал его всерьез. Только у купцов висели его портреты, купцы его любили за то, что он был на портрете кудрявый, толстый и моложавый.

Есть люди, достигающие высоких степеней или имеющие их, которых называют за глаза Ванькой. Так, великого князя Михаила звали „рыжим Мишкой“, когда ему было сорок лет. Ведь при всей великой ненависти Паскевич ни за что не мог бы назвать Ермолова, всенародно униженного, Алешкой. А его походя так звали, и он знал об этом. И сколько бы побед он ни одерживал, он знал, что скажут: „Какая удача! Что за удачливый человек!“

А у Ермолова не было ни одной победы, и он был великий полководец.

И Паскевич знал еще больше: знал, что они правы» [Тынянов I, с. 237—238]⁸.

Когда же очень уж льстили, называли «гением», то Паскевич, согласно рассказу Давыдова, отвечал: «Що гений, то не гений, а що везе́, то везе́» [Давыдов, с. 501].

Обвинения, предъявленные Ермолову, — не подготовился к войне и разъярил местных жителей — нельзя, однако, просто откинуть по той причине, что их выдвигают «дурные люди» — Паскевич и Николай.

К тому же мы еще не выслушали Грибоедова.

В том самом, уже цитированном письме Бегичеву от 9 декабря 1826 г. находим: «С Алексеем Петровичем у меня род прохлаждения прежней дружбы. Денис Васильевич этого не знает: я не намерен вообще давать это замечать, и ты держи про себя. Но старик наш человек прошедшего века. Несмотря на все превосходство, данное ему от природы, подвержен страстям, соперник ему глаза колет, а отделаться от него он не может и не умеет. Упустил случай выставить себя с выгодной стороны в глазах соотечественников, слишком уважал неприятеля, который этого не стоил» [Гр., т. III, с. 68].

Из-за чего же «прохлаждение»?

Ведь совсем недавно писалось: «начальник мною любимый», «оригинален и необыкновенно приятен».

Очевидно, от подчиненных требуют выбора: за кого они из двух генералов, как оценивают события? Прощающее с Ермоловым означало *потепление* с Паскевичем; и вот уж Грибоедов замечает, что прежний начальник «слишком уважал неприятеля».

Позднейшие историки признавали и признают (ссылаясь на разные суждения современников), что Ермолов действительно медлил, проявлял нерешительность, узнав о вторжении персов. Почти не вызывает сомнений, что С. И. Мазарович, русский поверенный в Персии (начальник Грибоедова во время его первой службы в той стране), не предупредил вовремя Тифлис о готовящемся пападении Аббас-Мирзы (сводку данных см. [Попова, с. 78—79]).

Итак, Ермолов попал впросак?

«Причину его апатии, объясняет крупный кавказовед Вейденбаум, надо искать в другом месте: он чувствовал себя на подозрении» [ИРГ, арх. Вейденбаума, «Ермолов»; см. также: Кавтарадзе, с. 95]. Ему было труднее удерживать фронт против Николая, Дибича, Паскевича, нежели против армии шаха. Если бы война случилась при Александре I, благоволившем к Ермолову, то, с огромной долей вероятия, после нескольких недель отступления и несогласованности командующий собрал бы разъединенные силы и опрокинул неприятеля. Временный неуспех Ермолова отнюдь не был фатальным: Аббас-Мирза вторгся в июле, а в сентябре уже была победа при Гяндже; боевые качества, ермоловская выучка русских солдат сыграли первостепенную роль во всех последующих войнах за Кавказом.

Не фатально для войны, но фатально для военачальника...

Второе обвинение — чрезмерная жестокость. Тема деликатная... В ответных рапортах Ермолов признавал случаи наказаний, казней, но требовал сопоставить число его жертв с расправами предыдущих наместников.

В цитированном письме Грибоедова к Бегичеву об этой «випе» Ермолова — ни слова (прежде, как помим, признавалось: «будем вешать и прощать»). Же-

стокость, страх горцев, пугавших детей именем «Сардарь-Ермулу», — все это было, но историки решительно не находят в 1826—1827 гг. массового народного движения против русских, будто бы вызванного персидским вторжением. Некоторые ханы, муллы (в Ширване, Шеки, Гяндже) поднялись навстречу персам, однако население их в общем не поддержало (см. [Ибрагимбейли, гл. II; Шостакович, с. 134]). Любопытно, что Дибич (присланный, как уже говорилось, для дискредитации Ермолова, но старавшийся быть объективным «в своих видах») 23 февраля 1827 г. в секретном докладе Николаю I сообщал: «Строгое обхождение генерала Ермолова со здешними грузинами и армянами, и в особенности с дворянством, восстановленным против него, тоже как в мусульманских провинциях прогнание ханов и строгость против беков; но вопрос, не имеет ли сие выгодного влияния на состояние нижнего работающего класса, различно разрешается лицами здешними».

Дибич писал о «прежней строгости его (о жестокостях до времени не мог еще получить ни одного доказательного примера)» [РС, 1872, № 7, с. 49—50].

Не имея, таким образом, никакого твердого мнения насчет особой жестокости Ермолова, начальник Главного штаба, однако, хорошо понимает, что царю нужно во что бы то ни стало представить зверем знаменитого генерала. Поэтому через десять дней после того, как Дибич признавался Николаю, что жестокость главнокомандующего еще не доказана, он же извещал Ермолова: «Его императорское величество с искренним прискорбием, усмотрев из отношения Вашего основательность слухов, дошедших до сведения Его величества, высочайше повелеть мне соизволил объявить Вашему высокопревосходительству, что меры к удержанию здешних народов в повиновении, самовольно Вами избранные и в противность объявленной Вам высочайшей воли, совершенно не достигли своей цели, чему служит явным доказательством внезапное оных возмущение при первом вторжении персиян в пределы наши; за каковое злоупотребление власти высочайше и повелено мне объявить Вашему высокопревосходительству именем Его императорского величества строгий выговор» [ЦГИАГ, ф. 2, оп. 1, № 1992].

Сегодня, с дистанции 160 лет, мы можем утверждать, что «строгость, жестокость» Ермолова были немалыми, но не превышавшими «обычного минимума»,

который, увы, соответствовал той эпохе и тем обстоятельствам.

Версия же об особой, исключительной жестокости этого полководца основывалась, по-видимому, на двух источниках, совершенно противоположных.

Во-первых, исходила от самого Ермолова: он слишком живо рассказывал и писал о своих делах, не скрывая в отличие от других командующих темных, кровавых черт завоевания. Сам называл себя «проконсулом Кавказа», прозвище возвращается к нему с обвинительным оттенком.

Во-вторых (и это, по-видимому, самое главное), представить Ермолова максимально свирепым входило в планы Николая I и Паскевича: таким способом легче было дискредитировать отставленного популярного деятеля и повысить акции нового командующего. Дибич не успел еще собрать никаких определенных статистических данных на этот счет, а из Петербурга прислали уже готовое, неоспоримое *мнение*.

Нужно ли доказывать, что гуманность, мягкость, доброта отнюдь не были отличительными свойствами николаевской политики? Недруга же (тем более пользующегося репутацией либерала, прогрессиста) желали представить особенно кровавым.

Еще и еще раз хотим быть правильно понятыми: не оправдываем, не идеализируем Ермолова, но хорошо знаем, сколько крови пролилось, например, во время кавказских войн, начавшихся через восемь лет после отставки генераля и продлившихся четверть века. Не оправдываем, а пытаемся исторически объяснить ситуацию: просто Ермолову царь не доверял как человеку иного склада, не декабристу, но с известной «левой репутацией». Еще раз вспомним Д. Давыдова — «никогда не пользовался особым благоволением царственных особ, коим мой образ мыслей, хотя и монархический, не совсем нравился». Как декабристы считали Ермолова своим, так и студенческий кружок Сунгурова в 1831-м заочно записал в единомышленники отставленного генерала; много лет спустя поляки спрашивали Герцена о «заговоре Ермолова» против царя...

Мы расстаемся с генералом до того дня, когда его посетит Пушкин. Это будет в мае 1829-го. Пока же, весной 1827-го, Ермолов сдает дела своему врагу и уезжает.

Как вести себя ермоловцам? Паскевичу без этих

людей не обойтись, по каждый их шаг, каждое слово «за» или «против» Алексея Петровича им зачтется...

Князь Суворов, внук полководца, на офицерском обеде у Паскевича произносит тост за Ермолова.

Н. Н. Муравьев: «Солдаты, узнав о смене любимого ими начальника, роптали. Гвардейские офицеры стали толпами ездить к [отъезжавшему] Ермолову и тем показывали ему преданность свою».

Эти гвардейцы оказались на Кавказе в наказание за косвенное участие или сочувствие «14-му декабря»: «Полагали, что оно дойдет до государя и что гвардейские офицеры сии... пострадают от благородного порыва, подвигнувшего их к сему поступку» [РА, 1889, № 9, с. 76—77].

Мы привели свидетельства близких к Ермолову людей; разумеется, они горюю стоят за своего...

С другой стороны, бедные армейские офицеры, целиком завпсевшие от службы, уповали на новое начальство. Кроме того, Н. Н. Муравьев был недоволен грузинским обществом, которое «сразу передалось Паскевичу», — отзвук прежней распри между Ермоловым и грузинской знатью, пытавшейся отстаивать свои аристократические вольности.

Что же Паскевич?

Окончим чтение грибоедовского письма к Бегичеву (от 9 декабря 1826 г.), где «два старших генерала» ссорятся, с подчиненных же перья летят: «Кто нас уважает, певцов истинно вдохновенных, в том краю, где достоинство ценится в прямом содержании к числу орденов и крепостных рабов? Все-таки Шереметев у нас затмил бы Омпра (т. е. Гомера.— Н. Э.), скот, но вельможа и крез. Мученье быть пламенным мечтателем в краю вечных снегов. Холод до костей проникает, равнодушие к людям с дарованием; но всех равнодушнее наш сардар; я думаю даже, что он их ненавидит. Посмотрим, что будет. Если ты будешь иметь случай достать что-нибудь новое, пришли мне в рукописи. Не знаешь ли что-нибудь о судьбе Андромахи⁹. Напиши мне. Я в ней так же ошибся, как и в Алексее Петровиче» [Гр., т. III, с. 196].

Итак, Грибоедов в Ермолове *ошибся*: речь идет о дарованиях, к которым равнодушен сардар (восточное прозвище генерала). Сказано как будто в ответ на ер-

моловское сравнение Грибоедова с Державиным (оба «непригодны к делам»).

Ермолов не использовал, не предлагал истинного дела, возможно, уже в ту пору посмеивался над талантом не только государственным, но также и литературным (два года спустя пожалуется Пушкину, что у него от чтения Грибоедова «скулы болят»).

«Двойники» не выдерживают взаимного отражения — один в другом. Их разделяет деятельность, жажда деятельности...

Ермолов при всех его благодеяниях — препятствие на пути грибоедовского честолюбия. Теперь же Грибоедов готов примкнуть к партии Паскевича, препятствующей честолюбию Ермолова. Той партии, где Грибоедову уготовано поприще, деятельность. (Этот мотив неоднократно рассматривался в недавних работах С. А. Фомичева и А. А. Лебедева.)

Многие ермоловцы, как уже сказано, остались служить при Паскевиче, да у них и выхода не было: идет война, в отставку не увольняют. Иные вскоре блестяще отличаются: адъютанты, друзья и помощники опального Ермолова — Муравьев, Граббе, Воейков, Шимановский... Они проделают несколько кампаний, получают чины и ордена от нового «сардаря», но не отрекутся от прежнего: Ермолову постоянно пишут, при случае навещают, останутся близкими; у генерала на них обиды нет! Денис Давыдов, кузен, навсегда останется и другом Ермолова, хотя в 1827 г. писал: «Я готов был все забыть и все простить, если бы только дали мне хотя какую-либо команду. Право, я служил бы лихо, несмотря что начальник другой...» [Давыдов. Соч., т. I, с. 163].

Обида у Ермолова, кажется, только на одного человека. Может быть, потому, что он не похож на других. Или похож на него... К нам доносятся воспоминания, оценки того, что произошло между Ермоловым и Грибоедовым, и большая часть этих суждений огорчает.

Старый приятель Грибоедова Никита Всеволожский пишет брату 15 июня 1827 г. о Паскевиче: «Представь себе, что *son factotum est* * Грибоедов, *что он скажет, то и свято*... Подробно все знаю от Дениса Васильевича» [Шостакович, с. 120].

Н. Н. Муравьев вспоминает, как Паскевич собирал компрометирующие Ермолова сведения: «Не подвер-

* Его доверенное лицо (лат.); речь идет о Паскевиче.

жено почти сомнению и то, что Грибоедов в сем случае принял на себя обязанности, не согласные с тем, чего от него ожидали его знакомые» [Гр. Восп., с. 57].

Сильнее всех возмущен Денис Давыдов, который приписывает Грибоедову по отношению к Ермолову роль «раба-спутника до первого затмения»: «В Грибоедове, которого мы до того времени любили как острого, благородного и талантливого товарища, совершилась невероятная перемена. Заглушив в своем сердце чувство признательности к своему благодетелю Ермолову, он, казалось, дал в Петербурге обет содействовать правительству к отысканию средств для обвинения сего достойного мужа, навлекшего на себя ненависть нового государя. Не довольствуясь сочинением приказов и частных писем для Паскевича (в чем я имею самые неопровержимые доказательства), он слишком коротко сблизился с Ванькой-Каином, т. е. Каргановым, который сочинял самые подлые доносы на Ермолова. Паскевич, в глазах которого Грибоедов обнаруживал много столь недостоихвального усердия, ходатайствовал о нем у государя».

Мемуарист объясняет «неимоверную перемену» влиянием «беса честолюбия», будто бы вселившегося в Грибоедова. Более того, Денис Давыдов сообщает, что Грибоедов в Москве позже сказал С. Н. Бегичеву: «Я вечный злодей Ермолову». Давыдов уточняет, что эти слова слышал «от зятя моего Дмитрия Никитича Бегичева», брата ближайшего грибоедовского друга [Гр. Восп., с. 153—154].

Что же сотворено «злодейского»?

Вчерашние приятели единодушно отвечают: Грибоедов *писал* за безграмотного Паскевича...

Вот «точка обиды»! Отныне всякое слово, вышедшее из канцелярии Паскевича, будет приписано Грибоедову, и порою несправедливо (так, Давыдов решительно ошибался, сообщая о сближении Грибоедова с авантюристом Каргановым; они терпеть друг друга не могли).

Как известно, Грибоедов пытался объясниться с Ермоловым, посетил его год спустя в Москве; и после очень сожалел о своем визите: «Этого я себе простить не могу. Что мог подумать Ермолов? Точно я похвастать хотел... а я, ей-богу, заехал к нему по старой памяти» (рассказ Грибоедова актеру П. А. Каратыгину [РС, 1874, № 6, с. 294]).

Опираясь на эти сведения, Тынянов в своем романе

воссоздает встречу Ермолова с Грибоедовым в Москве: «Он ведь грамоте-то, Пашкевич, тихо знает. Говорят, милый-любезный Грибоедов, ты ему правишь стиль?»

Лобовая атака. Грибоедов выпрямился.

— Алексей Петрович, — сказал он медленно, — не уважая людей, негодуя на их притворство и суетность, черт ли мне в их мнении? И все-таки, если вы мне скажете, кто говорит, я, хоть дурачеств не уважаю, буду с тем драться» [Тышнянов I, с. 22].

Наш круг совсем замкнулся. Документ из грузинского архива действительно написан для Паскевича рукою Грибоедова через две недели после отставки Ермолова, по еще за две недели до его отъезда из Тифлиса: «Я нашел, что его здесь мало поощряли к ревностному продолжению службы...»

Друг же Грибоедова П. А. Вяземский написал из Петербурга: «О Ермолове, разумеется, говорят не иначе, как с жалостью, а самые смелые с каким-то удивлением. Впрочем, кажется, он в самом деле в соображениях и планах своих был не прав. У провидения свои расчеты: торжество посредственности и уничтожение ума входят иногда в итог его действий. Клапаемся и молчим...» [Гр. Восп., с. 90].

Мы не хотим оправданий и обвинений: речь идет о выдающихся людях в сложнейших обстоятельствах.

Мысль о том, что гениальному автору «Горя от ума» все дозволено и все прощается, не кажется заслуживающей внимания. Как и мысль, что ничего не прощается и никаких списхождений... Да, в истории с Ермоловым Грибоедов несет нравственные потери и сам это понимает. Но через эти потери, он уверен, лежит путь к искуплению, к тому добру, которое растворит совершаемый грех...

Как не вспомнить тут Пушкина: «Толпа [...] в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении: *он мал, как мы, он мерзок, как мы!* Врете, подлецы: он и мал, и мерзок — не так, как вы — иначе» [П., XIII, с. 244].



Глава 2

Могучие обетования

Не знаю ничего завиднее последних годов бурной его жизни...

Пушкин



а архивными окнами расцветала весна 1985 г., на архивном столе — все еще бумаги прапрадедов.

«Отыскивается часовой мастер Швейцер, бежавший из Тегерана и похитивший у шаха несколько пар часов».

«Дело о восхождении академика Паррота в сопровождении диакона Хачатура Абовяна на гору Аракат» — завистники распускают слух, будто это обман и что вершина, «на высоте 15 158 футов над уровнем моря находящаяся», не достигнута. Паррот дает «честное слово ученого» — «кому же охота лично в этом удостовериться, тому совету самому взойти на вершину, на левом краю которой поставили мы малый крест, который тщетно желал бы он увидеть снизу».

«Дело о запрещении чиновникам государственных учреждений почерка с уклоном справа налево, как трудночитаемого».

«Дело о архимандрите Досифее из рода Пуркиладзе, который был ранен, предводительствуя разбойниками».

В списке прибывших на войну молодых офицеров значится Лев Сергеевич Пушкин — «сделал весь Персидский поход... с одной кожаной подушкой, кутаясь в какую-то старую пеструю шаль, с которой никогда не расставался. Так любил кахетинское вино, что возил на седле почтенных размеров баклажку; признавался, что никогда не пробовал супу, чаю и кофе...» [ИРГ, арх. Вейденбаума].

После сражения при Гяндже армия Аббас-Мирзы отброшена за Аракс. Русские наступают, 8 июля 1827 г.

взят Эчмиадзин, 26 — Нахичевань, 1 октября — Эривань (Паскевич вскоре станет графом Эриванским); 14 октября взят Тебриз — Персия просит мира.

Фонд 2, опись 1, № 1977 — все то же дело, где обнаружился почерк Грибоедова «от имени Паскевича»; дело, без сомнения, «участвовало» в персидском походе и по дороге пополнялось бумагами. Вот черновой лист, помеченный *24 мая 1827 г., Джелал-оглу, его сиятельству графу Нессельроде*. «Милостивый государь граф Карл Васильевич! Почтеннейшее отношение Вашего сиятельства за № 598 от 3 мая текущего года, в ответ на представление мое о прибавке жалования на время продолжения войны служащим при мне надворному советнику Грибоедову и 9-го класса Шаумбургу, я имел честь получить. Ценя в полной мере лестное внимание Ваше к сим чиновникам по моему о них представлению, я распорядился, согласно с высочайшею волею государя императора, чтобы добавочное жалование производилось им из экстраординарной суммы, в моем ведении состоящей. С совершенным почтением... честь имею пребыть» (далее предполагается подпись Паскевича).

Все ясно; министр иностранных дел благосклонно отнесся к просьбе нового главнокомандующего, Грибоедов и другой чиновник «ободрепы», Паскевич благодарит прямо с театра военных действий, из Джелал-оглу, между Тифлисом и Эриванью.

Вслед за тем листом — новый документ, тогда же и оттуда же: Нессельроде извещается «о прибытии сюда господина действительного статского советника Обрескова, назначенного будущим негоциатором при открытии переговоров о мире с персидским двором. Репутация, которую сей чиновник приобрел себе в министерстве иностранных дел, лестный о нем отзыв Вашего сиятельства при первом нашем знакомстве внушили во мне совершенную к нему доверенность. Я не сомневаюсь, что он приведет дела к окончанию со славою для себя и с пользою для государства.

Чрез г. Обрескова я имел счастье получить Его императорского величества рескрипт касательно будущего заключения мира. Он же передал мне проекты договоров с Персиею, мирного и торгового, с дополнительным их пояснением. Принимая их в руководство будущих наших соглашений с персидскими полномоченными, я не упущу уведомить Ваше сиятельство, коль скоро об-

стоятельства, не всегда предвидимые, и местные соображения потребуют некоторых отмен против наставлений, мне данных, хотя ревностно желаю исполнить их в самом точном смысле.

Я предписал кому следует о производстве высочайше определенного жалования г. Обрескову по 200 червонцев на месяц и назначенным при нем коллежским асессорам Киселеву и Амбургеру по 40 червонцев на месяц из экстраординарной в моем распоряжении суммы, начиная с 4 августа текущего года, на которое число они были удовлетворены жалованием в С. Петербурге. С совершенным почтением и преданностью...» (снова — место для подписи Паскевича, поставленной, конечно, не на черновом, а на беловом тексте).

Оба документа от 24 мая из Джелал-оглу не были в свое время включены в «Акты Кавказской археографической комиссии»: по-видимому, составители решили, что перед ними не слишком важная бюрократическая переписка о штатах, жалованье и т. п. И они были бы правы, старые кавказоведы, если бы не одно обстоятельство, о котором читатель, верно, уж догадался: и благодарность министру за дополнительное жалование Грибоедову, и следующий документ, без всякого сомнения, *писаны рукою Александра Сергеевича Грибоедова* [ЦГИАГ, ф. 2, оп. 1, № 1977, л. 4—5].

Что Грибоедов часто писал за Паскевича, уже говорилось. Снова повторим, что быть всем этим документам когда-нибудь в полном собрании грибоедовских сочинений или в приложениях к ним.

Размышляя же над двумя «нашими» текстами, конечно, заметим некоторые обороты, литературно продуманные, умение Грибоедова неожиданно возвысить тон сухого официального документа (Обресков «приведет дела к окончанию со славою для себя и с пользою для государства»). Вместе с тем вежливой иронией звучат смелые строки относительно столичных проектов («принимая их в руководство», «коль скоро обстоятельства... потребуют некоторых отмен против наставлений, мне данных»): нам, мол, здесь, на Кавказе, много виднее, чем вам, в Петербурге! Теперь, зная, кто сочинял эти строки, мы ощущаем, что я генерала Паскевича — это скорее я надворного советника Грибоедова, *второй я*, ибо кому же, как не Грибоедову, определять влияние «непредвидимых обстоятельств и местных соображений»...

Но это еще не все, что может рассказать Грибоедовский черновик. Мирные переговоры с персами как будто ведет высокий чиновник, действительный статский советник Обресков; при нем еще два чиновника — но только не Грибоедов, который состоит при Паскевиче. Действительно, именно Обресков будет главной после Паскевича дипломатической персоной на переговорах и получит после заключения мира высшие награды, чин тайного советника; столь важные особы часто похищают славу своих подчиненных, которые обеспечили всю операцию.

Однако здесь будет все иначе...

Принц Аббас-Мирза настоял на подписании Туркманчайского мирного договора не 9 февраля 1828 г., а 10-го — так советовали его астрологи, определившие более благоприятный день. Кажется, особенно хорошо складывалась в ту зиму звездная карта для Грибоедова. Он действительно был главной фигурой в Туркманчае (Обресков скучал, торопился к невесте)¹⁰. Грибоедов отверг хитрые попытки англичан принять участие в переговорах (интриги Ост-Индской компании); именно он выдвинул идею уплаты Ираном половины контрибуции до окончательного подписания договора; его рукою писан документ «На память» (опубликованный С. В. Шостаковичем), где находим интересные строки о пародных движениях, бунтах, которых боялись обе стороны: Грибоедов советует «угрожать им бунтом за бунт, который они у нас возбудили. [...] Довольно того, что мы не прибегнем к возмутительным средствам и по заключению мира скажем им, что это верное орудие мы имели в руках наших, но против их не обратили» [Шостакович, с. 145].

Эти строки и сегодня страшно читать. Бунт, который «они возбудили», — это те сравнительно небольшие вспышки, которые царь был склонен объяснить жестокостью Ермолова; другой же бунт произойдет через год, в смертный час для Грибоедова...

Но впереди целый год. Паскевич отправляет мирный трактат в столицу, и хотя привезший благую весть Грибоедов получит меньше червопцев, чем Обресков (не говоря о самом Паскевиче), но зато — максимум славы и признания. Четыре года назад он триумфально въезжал в столицы со своей комедией, теперь — с Туркманчайским миром. Что договор его рук дело, не отрицал никто; Грибоедова, чиновника не очень важ-

ного (на три ранга ниже Обрескова), в столице не обошли; причина понятна и единственна — Паскевич...

Грибоедов из Петербурга докладывает генералу: «Государю угодно меня пожаловать 4 тысячи червонцами, Анною с бриллиантами и чином статского советника. — А Вы!!! — Граф Ериванский и с миллионом. Конечно, Вы честь принесли началу нынешнего царствования. Но воля ваша, награда необыкновенная. Это отзывается Рымникским и тем временем, когда всякий русский подвиг умели выставить в настоящем блеске. Нынче нет Державина лиры, но дух Екатерины царит над столицею Севера [...] Голова кругом идет, я сделался важен, Ваше сиятельство вдали, а я обращаюсь в атмосфере всяких великолепий» [Дела и дни, кн. II, с. 62—63].

СЧАСТЛИВЫЕ МЕСЯЦЫ

1827—1828 гг., Закавказье, Тифлис, Джелал-оглу, Туркманчай — не худшие грибоедовские месяцы; позже Лермонтов задумает, но не успеет написать роман «Из кавказской жизни, с Тифлисом при Ермолове, его диктатурой и кровавым усмирением Кавказа, персидской войной и катастрофой, среди которой погиб Грибоедов в Тегеране» (рассказ М. П. Глебова в передаче П. К. Мартыанова [Лерм. Восп., с. 443]).

«Не ожидай от меня стихов,— пишет Грибоедов Булгарину,— горцы, персияне, турки, дела управления, огромная переписка пынешнего моего начальника поглощают все мое внимание» [Гр., т. III, с. 199].

Кажется, сбылась мечта о настоящей деятельности: Грибоедов, еще не достигнув по гражданской линии генеральского чина, влияет на судьбы войны, Кавказа, может быть, России; его слово уже весит много — в Тифлисе помогает открыть газету, коммерческий банк, «рабочий дом»; своим авторитетом облегчает, чем может, положение осужденных декабристов: кроме ходатайства за попавших на Кавказ Добрипского, Шереметева, Оржицкого, Петра и Павла Бестужевых, Грибоедов способствует переводу сюда из якутской ссылки другого товарища былых лет — Александра Бестужева; особенно горячо просит за отправленного в Сибирь ближайшего человека — Александра Одоевского. Вероятно, были и другие прошения, о которых мы пока не знаем...

И все это только начало. Уже угадываются контуры новых значительных начинаний и проектов.

16 апреля 1827 г. Грибоедов из Тифлиса просит Булгарипа: «Пришли мне, пожалуйста, статистическое описание, самое подробнейшее, сделанное по лучшей, новейшей системе, какого-нибудь округа южной Франции, или Германии, или Италии (а именно Тосканской области, коли есть, как края, наиболее возделанного и благоустроенного) на каком хочешь языке и адресуй в канцелярию Главноуправляющего на мое имя. Очень меня обяжешь. Я бы извлек из этого таблицу не столь многосложную, но по крайней мере порядочную, которую бы разослал нашим окружным начальникам, с кадрами¹¹, которые им надлежит наполнить. А то с этим невежественным чиновным народом век ничего не узнаешь, и сами они ничего знать не будут» [Гр., т. III, с. 198].

Заказываются европейские образцы для неблагоустроенной Азии.

Российская история XVIII—XIX вв. знает немало случаев влияния (чаще дурного) на монарха людей формально незначительных, влияния прямого или через посредника. Например, в 1850—1860-х годах некая Мина Ивановна Буркова, дама корыстная и мерзкая, попала в возлюбленные министра двора графа Адлерберга, а через своего протеже, можно сказать, управляла царем Александром II. В ту пору Герцен справедливо заметил, что «там, где нет гласности, там, где нет прав, а есть только царская милость, там не общественное мнение дает тон, а козни передней и интриги алькова. Там какая-нибудь Мина Ивановна перевесит негодование и стон целого города, хотя бы этот город назывался Москвой» [Герцен, т. XIII, с. 89].

Возможность отрицательного влияния как будто доказывает вероятность (и необходимость!) влияния благотворного. Извечная мечта мудрецов, поэтов — положительно влиять на царей, на ход политических событий; мечта, которой был совсем не чужд Пушкин, пытаясь внушить Николаю, по его собственным словам, «хоть каплю добра».

Мечта, о которой чаще всего пишут как о невозможной, несбыточной, в грибоедовском случае вдруг представляется возможной, осуществимой.

Влияние подчиненного на Паскевича несомненно, тот не может обойтись без опытейшего дипломата, советчика; но притом генерал близок к царю, и если так, то благотворная роль поэта-чиновника как будто неизмеримо возрастает. Бездарность Паскевича еще более усиливает шансы Грибоедова.

В 1828 г. поэт-дипломат, конечно, не сомневается, что помогает правому делу, российским успехам на Кавказе. Вспомним, что и многие декабристы признавали миссию России на Кавказе объективно прогрессивной, важной по своим историческим последствиям. «В надежде славы и добра» — пушкинская строка из «Стансов», сочиненных как раз в ту пору, хорошо выражала надежды не одного Пушкина. Надеялись многие мыслящие люди, ожидали реформ, перемен, радовались, что новый царь, по словам Пушкина, Россию «оживил войной, надеждами, трудами...»

Неоднократно уже обсуждалось в научной и художественной литературе, но надо еще раз повторить, что в 1826—1830 гг. многие иллюзии не были изжиты; более того, ряд государственных лиц (отчасти и сам Николай) в эту пору серьезно размышляли об ослаблении и постепенной отмене крепостного права, о реформе суда, чиновничества, армии, городского управления. Не один Грибоедов из числа почти 600 запесенных в «Алфавит членам бывших злоумышленных тайных обществ и лицам, прикосповенным к делу» оказывается вскоре на государственной службе — жажда деятельности, желание принести пользу, славу, добро, вера в то, что это возможно...

Сейчас, в конце XX в., о Грибоедове споры острейшие. Не вдаваясь пока в подробности, заметим, что полемика идет, в сущности, об одном: как совмещались автор гениальной русской комедии и государственный человек, чьи успехи удостоверяют Николай, Паскевич и другие лица, имеющие весьма определенную историческую репутацию.

А. А. Лебедев в книге «Грибоедов. Факты и гипотезы», вышедшей в 1980 г., утверждает (вслед за С. А. Фомичевым):

«Очевидно, действительно для пользы дела Грибоедов, как видно, был готов пожертвовать и своей „правственностью“.

Вернее, пожалуй, было бы сказать, что во имя дела Грибоедов готов был поступиться своим нравственным престижем в глазах окружающих. Для этого требовалось *мужество*, которое Ю. Тынянов понять оказался не в состоянии. [...]

Нужны были поистине феноменальные качества души для того, чтобы на следующий день после трагедии на Сенатской, когда перед твоими глазами еще качаются пять повешенных, оставаясь другом безжалостно репрессированных прекрасных людей, отринуть от себя все напрашивающиеся подозрения и проклятья и протянуть руку сотрудничества своим врагам и врагам самых дорогих тебе людей. И при этом знать, что ты почти наверняка не скоро будешь понят. Очень не скоро» [Лебедев, с. 273, 275].

Лебедев настаивает на том, что Грибоедов ставил на себе «обдуманый, взвешенный эксперимент», открывавший прогрессивному русскому обществу возможность «компромисса с властью», поскольку в ту пору других путей активного служения на политическом поприще просто не было.

Иначе говоря, читателям представлена картина героического самопожертвования в виде *карьеры*, чего-де не могли понять другие (очевидно, составляющие большинство, иначе не было бы уникального эксперимента), другие, которые твердо убеждены, что сотрудничать с самодержавием стыдно...

Гипотеза острая, любопытная. И совершенно неверная.

Любопытно, как, порицая автора «Вазир-Мухтара», Лебедев сходится с ним в одном очень важном пункте: в том, что вообще-то странно, необычно, «нетипично» для мыслителя, художника, человека чести, каким был Грибоедов, занимать такие посты, исполнять такую службу при таких правителях. Констатируя необычность, необыкновенность ситуации, Тынянов «не одобряет» своего героя, а Лебедев «одобряет». По Тынянову выходит, что не дело для Грибоедова — идти после 14 декабря на службу: от *своих* удалился, к *чужим* не прибился, оказался в пустоте, одиночестве — погиб...

По Лебедеву, Грибоедов тоже не может рассчитывать на понимание — как общества, так и правительства, но идет на все это сознательно, подвижнически...

Отмеченное сходство Лебедева и Тынянова — результат постигшей этих авторов «оптической иллю-

зии»: позднейшие понятия (когда прогрессивная интеллигенция решительно разоидется с верховной властью) переносятся на более ранние времена, когда еще было *не так* или *не совсем так*...

Читая публицистический труд Лебедева и роман Тынянова, можно подумать, чего доброго, что никогда прежде, до Грибоедова, крупные российские литераторы не занимали высоких постов, не получали больших чинов.

То, что А. Лебедев представляет как уникальный эксперимент, на самом деле было традицией очень давней, традицией отцов и дедов. «Героизм» Грибоедова не был героизмом, так же как не был он и ренегатством. Это прежде всего повторение пройденного, это «XVIII век», конечно, в новых условиях (но условия ведь всегда новые). В 1827—1828 гг., «в надежде славы и добра», даже таким гигантам, как Пушкин и Грибоедов, было еще нелегко, почти невозможно понять, что началась совсем новая эпоха, что законы 1700—1825 гг. уже почти недействительны.

Получая чины и должности в конце 1820-х, Грибоедов, повторяем, в высшей степени традиционен: недаром в момент триумфа вспоминал времена Екатерины, Суворова, Державина! Начиная с Петра Великого, просвещение (важная часть которого — «изящная словесность») было государственной политикой, и поэтому более удивительным представлялся поэт без службы, нежели в чине и должности. Можно составить «табель о рангах» российской литературы, расположив крупных мастеров, разумеется, не по их литературному дарованию, а просто по чинам, — то, о чем Пушкин (вернее, Иван Петрович Белкин) писал в «Станционном смотрителе»:

«В самом деле, что было бы с нами, если бы вместо общеудобного правила: *чин чина почитай* ввелось в употребление другое, например: *ум ума почитай?* Какие возникли бы споры! И слуги с кого бы начинали кушанье подавать?»

Выше всех — действительный тайный советник, министр Гаврила Романович Державин; тот же класс и министерскую должность имел Иван Иванович Дмитриев; Василий Андреевич Жуковский, обучавший наследника, вышел в отставку тайным советником, этот чин соответствовал военному званью генерал-лейтенанта, которое Денис Давыдов получил примерно в то

время, когда «возвысился» Грибоедов. Спустившись чуть ниже, видим действительного статского советника (т. е. генерала) Карамзина, статского советника, вице-губернатора Салтыкова-Щедрина... Российская практика показала, что можно было служить по дипломатической части в середине XVIII в. (А. Каптемир — посол в Лондоне и Париже), занимать крупную должность на таможне (Радищев), являться государственным историографом и притом, по словам Пушкина, совершать «подвиг честного человека».

Разумеется, мы далеки от того, чтобы представить некую идиллию; крупные мастера вступали в разнообразные конфликты с властью даже тогда, когда в общем были с нею заодно: Державин, немало льстивший Екатерине II, одновременно имел репутацию грубого, неуживчивого человека, Карамзин говорил царям такое, на что и декабристы не решались; друзья считали Жуковского «представителем грамотности при дворе безграмотном». Среди друзей был, между прочим, Петр Андреевич Вяземский — и при Александре I, и долгое время при Николае I он числит себя в оппозиции, но... получает чины, становится камергером и не видит в том никакого «нравственного подвига», «эксперимента». Узнав, что Грибоедов в 1828 г. едет в Тегера, Вяземский, «декабрист без декабря», пишет, что «не прочь ехать бы и с ним, но теперь мне и проситься нельзя» [Гр. Восп., с. 91].

Число подобных примеров можно сильно увеличить. Они подтверждают, что, продвигаясь по службе, Грибоедов вел себя как *почти все русские литераторы в течение предшествовавшего столетия*.

XVIII век и начало XIX-го почти не знали людей «лишних» — мыслящее меньшинство (выражаясь позднейшим языком — интеллигенция) находило, что можно и должно одновременно служить самому себе, отечеству и государству. Исключения лишь подтверждали правило: Радищев, попав со своей довольно значительной должности в крепость и ссылку, в конце жизни ведь снова пытался осуществить свои идеалы на государственной службе. Это худо кончилось, но попытка была... Даже декабристы в течение многих лет соединяли подпольную деятельность с легальной, находя благодетельную карьеру полезной, оздоравливающей. Казнь пятерых, ссылка сотен заговорщиков создавали новую моральную ситуацию, при которой *служить ста-*

новится неудобно. Но притом далеко не сразу «лучшими людьми» была найдена альтернатива — действовала инерция, традиция нескольких поколений, убеждение, что лучше всего можно послужить отечеству именно *службою*.

С декабристов начинается перелом эпохи. Начинается, но не кончается...

О Грибоедове Пушкин заметит: «Рожденный с честолюбием, равным его дарованиям...» Подробнее пушкинский отзыв будет разобран позже, пока же задумаемся, о каком *честолюбии* толкует автор «Путешествия в Арзрум» — литературном, служебном? Судя по тексту, они неразделимы. Дарование автора «Горя от ума» огромно, — значит, и честолюбие тоже. Известный советский литературовед писал, что «по всему складу своего волевого характера, по общественному темпераменту Грибоедов не мог уйти в „свой мир“, оставаться в стороне от жизни, от живого дела. Им владела неборимая жажда реальной, практической деятельности» [Орлов, с. 165].

Но можно ли сотворить в государственной, политической сфере нечто сопоставимое по размаху, значению с великой комедией? Явиться пророком, Авраамом, Магометом, перевернуть мир?..

Комедия и дела государственные соединены Пушкиным, конечно, не случайно: для Грибоедова они переплетаются и в начале 1820-х, когда он наблюдает Ермолова, Кавказ; и в 1827-м — в Джелал-оглу; и в 1828-м — в Туркманчае.

Потомки, крепкие «задним умом», постоянно удивляются деятелям, которые считали себя полновластными, всемогущими и не знали (а мы знаем), что вскоре их отставят или убьют. Все плапы были невозможны, а им казалось, что возможны...

Уже Огарев несколько лет спустя мерил Грибоедова своей логикой, а не грибоедовской (пожалуй, здесь можно отыскать начало «тыняновского взгляда»): «Грибоедов... высказал в „Горе от ума“ все, что у него было на сердце, а дальше он ничего не мог развить в себе самом именно потому, что он примкнул к правительству, этому гробу русских талантов и русской доблести» [Огарев, т. II, с. 479].

Много позже пойдут шутки о «Чацком», который остепенится, станет важным генералом; раздадутся голоса, что если б Грибоедов знал, каково будет царст-

зование Николая, то он, возможно, пошел бы «дорогой Лермонтова» (не потому ли, между прочим, Лермонтов хотел писать о Кавказе Ермолова, Грибоедова?). Если бы знал...

Повторим, что в 1829 г. в лучшем культурнейшем кругу Москвы и Петербурга, в кругу Пушкина, Вяземского и их друзей, царило почти полное единодушие, все радовались дипломатическим, государственным успехам Грибоедова: вчера — в крепости, сегодня — полномочный министр; тайными агентами были зафиксированы разговоры в обществе о «возвращении времен Петра и Екатерины». Это понятно: при тех царях талантливые люди, в том числе и литераторы, служили — и весьма успешно.

Разве что близкий к декабристам Катенин ворчливо высказал неудовольствие грибоедовской карьерой: «Он лезет в гору ужасно... Бог расточает блага тем, которые дали обет быть ему верными» (текст после отточия написан по-французски) [Катенин, с. 121—122].

Дали обет... В биографии, пожалуй, каждого благородного, мыслящего человека, согласившегося *служить* после 14 декабря, можно отыскать один или несколько эпизодов, когда его «испытывают на лояльность», требуют того, что Генрих Бёлль в одном из романов назвал «причастием буйвола».

Булгарин был на большом подозрении, дружил с Рылеевым, пробивал в печать «Горе от ума»; испугавшись после 1825 г., стал доказывать преданность властям, подал несколько «благонамеренных записок», но царь и Бенкендорф не торопились, присматривались; и только когда Фаддей представил секретный донос на Погодина, Вяземского и Пушкина¹², его *полюбили*, буквально через несколько дней (в октябре 1826 г.) поощрили, дали чин, взяли на службу — *причастие буйвола...*

Другой вчерашний вольнодумец, отставной полковник Дубельт, также просится на службу, и ему сразу предлагают должность в тайной полиции — Третьем отделении. Полковник должность берет, становится генералом, начальником знаменитого учреждения (впрочем, постоянно пытаюсь уговорить себя и ближних, что сделал это с целью «благородного служения»).

Булгарин, Дубельт — примеры сравнительно простые... Но вот более сложный случай — карьера умного и благородного генерала Николая Раевского-младшего.

Как и Грибоедов, этот близкий к декабристскому миру человек желает послужить отечеству. Он также отправляется на войну, где ему позволяют действовать по своему, но притом внимательно следят более всего за сношениями с разжалованными мятежниками. Много лет он удачно воюет, отдает кавказским кампаниям усердие, талант, здоровье, но при первом же удобном случае генерала выкидывают в отставку, и ему ничего не остается, как умереть на 42-м году жизни... Однако даже такую трудную, гибельную карьеру, даже ее *разрешили* Раевскому только после определенных его слов и поступков: пришлось предъявить власти явные доказательства лояльности. В 1828—1829 гг. Раевского несколько раз представляли к высоким орденам и чинам за несомненные боевые удачи — и каждый раз «высочайшего соизволения не воспоследовало». Только когда Раевский написал просительное, в сущности униженное письмо Бенкендорфу, награды были даны (переписка о награждении Раевского [ЦГВИА, ф. 482, № 64]).

Пушкина *испытывают* несколько раз: во время первой беседы с Николаем I, затем — приказом составить секретную записку «О народном воспитании». Поэта освободили из ссылки, но полного доверия нет; позже (в 1829 г.) ему также предлагают службу в Третьем отделении (Пушкин поблагодарил и отказался); еще позднее — испытание камер-юнкерством, придворной службой.

Причастия буйвола требовали, но так и не получили...

Уверенно можем говорить также и о нескольких попытках «причастить» Ермолова. Всезнающий московский почт-директор Александр Булгаков восклицал в письме к брату: «Только в городе и разговору, что об Ермолове... Всякий спрашивает, что с Ермоловым будет? Как не попал ни в Совет, ни в другие назначения, как не смягчено удаление его и пр.? Может быть, и было ему предложено, но по нраву своему все отказал, предпочитая отставку» [РА, 1901, № 9, с. 27].

Если б у Николая вышло, унизившийся, прирученный генерал мог бы снова получить войско, управление...

Не вышло.

Что же касается Грибоедова, то его разрыв с Ермоловым, обида старого генерала, сближение с Паскеви-

чем для царя и Бенкендорфа — признаки настоящей лояльности, причастие... Скоро, очень скоро им пришлось бы убедиться, что перед ними отнюдь не Булгарин или Дубельт; вскоре, конечно, потребовали бы новых «причастных оборотов» — и не получили бы!

Но как мало времени впереди...

Пока же автор «Горя от ума» сам себе инструкции пишет — и сам выполняет. Незаменим.

САМ СЕБЕ...

Центральный государственный архив Грузинской ССР, фонд 2, дело № 2211, напечатано в VII томе «Актов...» под № 607. Сразу скажем, на этот раз почерк Грибоедова абсолютно исключается — рука писарская...

Паскевич — тифлисскому военному губернатору генералу Сипягину; секретно:

«Вашему превосходительству пебезызвестно, что статский советник Грибоедов назначен министром при тегерапском дворе, и я имею сведения, что он в непродолжительном времени приедет в Тифлис. Зная, сколь большое влияние наружные оказательства имеют на здешний народ, и в особенности на персиян, я прошу Вас при приезде г. Грибоедова оказать ему все почести, настоящему назначению его приличные, тем более что молва о них, конечно, дойдет и до сведения министерства персидского; поелику же есть высочайшая воля, чтобы г. Грибоедов прежде его отъезда виделся со мною, то я прошу Ваше превосходительство для проезда его до места моего пребывания приказать снабдить его самым безопасным конвоем и во время пути оказывать ему возможные пособия. 6 июня 1828 года».

Ровно год прошел после той переписки из Джелалоглу, которая определила новую судьбу Грибоедова.

За этот год был заключен мир, по которому Эриванское и Нахичеванское ханства, т. е. значительная часть Армении, отошли к России. Персия обязалась уплатить 10 куруров (каждый курур — два миллиона рублей серебром).

За этот год Грибоедов шестой раз съездил с Кавказа на Север — 2670 верст, 107 станций, — его награждали, Петропавловская крепость 101 раз салютовала успешному окончанию войны, Грибоедова назначают пол-

номочным министром в Персию, причем из надворного советника (VII класс) сразу делают статским (V класс).

Мало того, посол сам пишет себе инструкцию от имени министра иностранных дел, ибо некому подобную инструкцию написать (лишь позже начальник Азиатского департамента Родофиникин сделает к ней некоторые добавления). Инструкция предусматривала множество вопросов, показывала тончайшие, глубокие познания автора и, между прочим, предупреждала (это важно для нашего повествования) против Ост-Индской компании. Цель этой могучей ассоциации — «повсеместно давать чувствовать восточным державам присутствие силы и казны ее».

Человек, принимающий важнейшую должность и пишущий сам себе инструкцию уже не от имени Паскевича, как бывало прежде, но от министра, государя, — в этом ощущается нечто «самодержавное»...

В Петербурге поэт задумал и другие дела в том же духе, прежде всего *Закавказскую компанию*, но о ней речь впереди.

При отъезде же из столицы старому коллеге, а ныне подчиненному чиновнику Амбургеру написано следующее: «Император Николай обладает энергией, какой не имели его предшественники, и приятно быть министром государя, который умеет заставить уважать достоинство своих посланников. Кстати, устройте так, мой друг, чтобы всюду меня принимали наиболее приличествующим мне образом. Мой чин невелик, но моему месту соответствует ранг тайного советника, фактически превосходительства. И потому по сю сторону Кавказа везде меня принимать, как мне подобает: полицейские власти, исправники, окружные начальники, и на каждой станции чтобы выставлялся для меня многочисленный кавалерийский эскорт. У меня есть почетный караул, паравне с Сипягиным; так было и в лагере Паскевича; так как здесь всяк равен, то мне пишут не иначе, как министру, и нет у меня начальства, кроме императора и вице-канцлера... Вы знаете, что на Востоке внешность делает все» [Гр., т. III, с. 357].

Отсюда видно, что план встречи полномочного министра, едущего в Персию, Грибоедов откровенно продиктовал из Петербурга (возможно, отправил «инструктивное письмо» не только Амбургеру, но и Паскевичу, чтоб встретили лучше).

Ермоловские уроки: «Я многих, по необходимости, придерживался азиатских обычаев...»

Уроки ермоловские, власть почти ермоловская («почетный караул, наравне с Сипягиным», а Сипягин — тифлисский военный генерал-губернатор).

Статский советник, посланник, еще не приехал, только выехал в седьмой раз, а уже пошла писать тифлисская губерния... Паскевич приказал военному генерал-губернатору, тот — гражданскому губернатору, гражданский — исправникам, приставам «встретить г. Министра приличным образом и сопровождать его при безопасном конвое чрез горы... Уездным исправникам встречать его на границе своего уезда и сопровождать до границы другого... В Тифлисе полицеймейстер города должен встретить его у заставы и сопровождать к намеченной ему в доме господина главнокомандующего Грузией квартире».

Подобные приказы разосланы по всем направлениям, даже на Каспийское побережье, «ежели господин статский советник Грибоедов из Санктпетербурга отправится в Астрахань, а оттуда морем в Баку...»; но вот управляющий горскими народами майор Чилев (между прочим, добрый приятель декабристов, Грибоедова, Пушкина) извещает, что «2-го числа сего июля прибыл в Дарьял г. статский советник Грибоедов, высочайше назначенный министром при Тегеранском дворе», и все должностные лица от хребта до Тифлиса приступают к выполнению приказа о торжественной встрече (см. ЦГИАГ, ф. 2, оп. 1, № 3783). Дело — на 16 листах — «об оказании статскому советнику Грибоедову приличных почестей»).

Автор великой пьесы сам себе пишет «мизансцены»-инструкции и устраивает церемониал. В чине статского выполняет функции тайного, а скоро, верно, и станет тайным, *обгонит* Карамзина, Жуковского, а там недалеко до Державина.

Но близкие люди, согласно и независимо друг от друга, вспоминали потом, что Грибоедов имел дурные предчувствия. Пушкин запомнил его печальным: «Вы еще не знаете этих людей: вы увидите, что дело дойдет до ножей». Другим собеседникам полномочный министр жаловался, что его отправляют в «политическую ссылку». В одном из последних писем, уже из Персии, писал близкому другу П. Н. Ахвердовой: «Нет, я не гожусь для службы! Мое назначение вышло неудач-

ным. Я не уверен, что выпутаюсь изо всех дел, которые на мне лежат; многие другие исполнили бы их в сто тысяч раз лучше» ([Гр., т. III, с. 231], подл. на франц. яз.).

Поговаривали и о том, будто Грибоедова угнетало его «творческое бесплодие», что, если бы в словесности дела шли в ту пору столь же удачно, как в политике, все сложилось бы иначе.

«И вот перед ним встала совесть, и он начал разговаривать со своей совестью, как с человеком. [...]

— Не нужно было тягаться с Нессельродом, торговаться с Аббасом-Мирзой, это не твое дело. [...]

— Но ведь у меня в словесности большой неуспех, — сказал неохотно Грибоедов, — все-таки Восток...» [Тынянов I, с. 388].

Одна пьеса, гениальная. Литература знает авторов одного сочинения, вернее — одного великого сочинения, которое неизмеримо возвышается над остальными, тоже талантливыми...

Сервантес написал много, но он автор «Дон-Кихота» (впрочем, можно говорить о двух книгах, ибо между первым и вторым томом «Дон-Кихота» прошло десять лет). Франсуа Рабле — автор «Гаргантюа и Пантагрюэля». Шарль де Костер — «Легенды об Уленшпигеле», Грибоедов — «Горя от ума».

Жизнь многих творцов одной книги резко разделяется на период *до* и *после* шедевра. Сервантес всего на несколько месяцев пережил своего «Дон-Кихота»; Грибоедов, завершив комедию на 29-м или 34-м году жизни (в зависимости от того, когда родился, в 1795 или 1790 г.), не прожил после того и пяти лет.

«Писать... я хочу писать», «предаться любимым моим занятиям» — желание 1828 г. Близкие люди знали, что он *пишет*. Сохранились отрывки из большой поэмы «Грузинская ночь» и краткое изложение ее содержания (сделанное Булгариным): «Один грузинский князь за выкуп любимого коня отдал другому князю отрока, раба своего. Это было делом обыкновенным, и потому князь не думал о следствиях. Вдруг является мать отрока, бывшая кормилица князя, няня дочери его; упрекает его в бесчеловечном поступке, напоминает службу свою... и угрожает ему мщением ада. Князь сперва гневается, потом обещает выкупить сына кормилицы и, наконец, по княжескому обычаю, забывает обещание. Но мать помнит, что у нее оторвано от

сердца детище, и, как азиатка, умышляет жестокую месть. Она идет в лес, призывает Дели (Али), злых духов Грузии, и составляет адский союз на пагубу рода своего господина. Появляется русский офицер в доме, таинственное существо по чувствам и образу мыслей. Кормилица заставляет Дели (Али) вселить любовь к офицеру в питомице своей, дочери князя. Она уходит с любовником из родительского дома. Князь жаждет мести, ищет любовников и видит их на вершине горы св. Давида. Он берет ружье, прицеливается в офицера, но Дели (Али) несет пулю в сердце его дочери. Еще не свершилось мщение озлобленной кормилицы! Она требует ружья, чтобы поразить князя, — и убивает своего сына. Бесчеловечный князь наказан небом за презрение чувств родительских и познает цену потери детища. Злобная кормилица наказана за то, что благородное чувство осквернила мстью. Они гибнут в отчаянии» [Гр., т. I, с. 303].

Тынянов («Смерть Вазир-Мухтара»):

«Тут заставили его читать. Листков он с собой не взял, чтоб было свободнее, и так, между прочим.

Трагедия его называлась „Грузицкая ночь“. Он рассказал вкратце, в чем дело, и прочел несколько отрывков. [...]

Страшное дело, Пушкин его стеснял. Читая, он чувствовал, что при Пушкине он написал бы, может быть, иначе.

Он стал холоден.

Духи зла в трагедии его самого немного смутили. Может быть, духов не пужпо?

— Но нет их! Нет! И что мне в чудесах
И в заклинаниях наирасных!
Нет друга на земле и в небесах,
Ни в божии помощи, ни в аде для несчастных!

Он знал, что стихи превосходны. [...]

Пушкин помолчал. Он соображал, взвешивал. Потом кивнул:

— Это просто, почти библия. Завидую вам. Какой стих: „Нет друга на земле и в небесах“» [Тынянов I, с. 134—135].

Тынянов с его безукоризненным слухом «заставил» Грибоедова, а затем и Пушкина процитировать лучшие строки из сохранившихся («на слуху» и пушкинские стихи, сочиненные два года спустя: «Нет правды на земле, но правды нет и выше...»).

М. Н. Макаров вспоминал свой разговор с Грибоедовым, уезжавшим в Персию: «Друг! — сказал я ему, — еще бы „Горе от ума“! — Душа моя темница, — отвечал он, — и я написал трагедию из вашей рязанской истории» [Гр. Восп., с. 375]. В другой раз автор «Горя от ума» скажет: «Я не напишу более комедии; веселость моя исчезла, а без веселости нет хорошей комедии» [там же, с. 86]. Даже Бегичеву Грибоедов не стал читать «Грузинскую ночь». «Я теперь еще к ней страстен, — говорил он, — и дал себе слово не читать ее пять лет, а тогда, сделавшись равнодушнее, прочту, как чужое сочинение, и если буду доволен, то отдам в печать» [там же, с. 31].

«Грузинская ночь», трагедия «Федор Рязанский» и некоторые другие начатые или законченные сочинения, по всей видимости, погибли в Тегеране вместе с автором (слабая надежда: может, остались в архиве какого-нибудь приятеля и неожиданно еще оживут).

«Рожденный с честолюбием, равным его дарованиям... Способности человека государственного оставались без употребления; талант поэта был не признан...»

Пушкин, вспоминая о Грибоедове, все время сопоставляет линию «художественную» и «государственную».

Прежней жизни погибшего поэта (Москва, злополучная дуэль, первая Персия, Кавказ, Ермолов, «досуги») соответствует «Горе от ума».

«Грузинская ночь» — новая жизнь (арест, освобождение, снова Кавказ и Персия, растущая слава, авторская и политическая).

Смешно и невозможно серьезные художественные замыслы целиком выводить из биографических изгибов. Но не менее смешно и еще более невозможно совершенно отделять их от авторской личности. Поэтому осторожно, не настаивая, сделаем несколько неуверенных шагов и признаемся, что видим в «Грузинской ночи» сложное отражение новых жизненных планов и мечтаний: Кавказ, столкновение старой и новой жизни, кровь, рабство, преодоление...

«Лет пять» Грибоедов не намерен перечитывать трагедию: за эти пять лет огромные житейские, политические планы будут реализованы или не осуществятся. Он не очень хочет ехать в разоренную Персию,

имеет дурные предчувствия; но другого способа приблизиться к решению важнейших дел, проектов, другого пути, способа влиять на судьбы империи он не видит.

«Грузинской ночью» Грибоедов как бы заглядывает в собственное будущее.

Одновременно пишет себе государственную инструкцию, распоряжается, как встречать полномочного министра: «Наружные оказательства, которые имеют большое влияние на здешний народ, и в особенности на персиян»...

ПОСЛЕДНИЙ ТИФЛИС

Последняя дорога, все те же 107 станций, те же 2670 верст. Письма с пути: «Мухи, пыль и жар, одурь берет на этой проклятой дороге, по которой я в 20-й раз проезжаю без удовольствия, без желаний; потому что против воли» [Гр., т. III, с. 211].

Его торопят из Петербурга, и он сердится: «Я думал, что уже довольно бестрепетно подвизаюсь по делам службы. Через бешеные кавказские балки переправлялся по канату, а теперь поспеваю в чумную область. [...] Но ради бога, не натягивайте струн моей природной пылкости и усердия, чтобы не лопнули» [там же, с. 216—217].

Грибоедов приезжает в Тифлис, его встречают «как следует»; он едет к Паскевичу, возвращается, внезапно женится на Нине Чавчавадзе...

За каждым его шагом наблюдают друзья, враги, а также прежние друзья, ермоловцы; они регулярно извещают обо всем самого генерала, живущего в Орле, в опале, и Ермолов, конечно, не смолчит, узнав о свадьбе Грибоедова: «Супруг дипломат и в восторгах любви не пойдет прямой дорогой. По крайней мере, доселе не этот был любимый путь» [РА, 1906, № 9, с. 58—59].

Комментировать не станем, отношения понятны...

7 сентября 1828 г. Грибоедов и его соавтор, молодой тифлисский гражданский губернатор Петр Завилейский, передают на усмотрение Паскевича *проект*.

9 сентября Грибоедов и сопровождающие его лица покидают столицу Грузии и отправляются в Персию. Ответа от Паскевича не дождался. Зато четыре дня

спустя, 13 сентября, Завилейский получает из Петербурга неожиданный документ, относящийся, между прочим, и к его соавтору: напоминание управляющего Третьим отделением М. Я. фон-Фока, «чтобы на основании высочайших узаконений новые пьесы не были представлены прежде одобрения Третьего отделения [...] и для лучшего порядка в ходе дел присылать еженедельно в оное отделение объявления о представляемых во вверенной вам губернии театральных пьесах» [ЦГИАГ, ф. 16, оп. 1, № 3832].

В прошлом году на Кавказе, в Эривани, впервые была осуществлена любительская постановка «Горя от ума», теперь — нельзя. «Быть может за хребтом Кавказа...» — воскликнет Лермонтов. Не может!

Бумаги тифлисского архива провожают Грибоедова в далекий, почетный, смертный путь.

26 августа 1828 г. тифлиссский военный генерал-губернатор гражданскому губернатору: «По случаю отъезда в Персию полномочного министра при персидском дворе г. статского советника Грибоедова поручаю Вашему превосходительству распорядиться о предписании всем окружным начальникам и главным приставам по тракту через Джелал-оглу к армянской области, дабы каждый из них делал приличные званию г. Грибоедова встречи, оказывая ему во время следования пособия...» Приставам указано, «чтобы не было какой-либо в фураже недостачи», ибо Грибоедов и его свита едут на 110 лошадях. В ответных рапортах имя посла мелькает в сочетании со все более дальними географическими названиями: Гумры, Бамбак, Эривань...

«Господина статского советника Грибоедова я на границе вместе со старшими селений встретил и проводил [...], и он, г. Грибоедов, чрез вверенную мне дистанцию проехал и остался во всем доволен» [ЦГИАГ, ф. 2, оп. 1, № 3783].

Образ человека, поэта, посла постепенно покидает грузинский архив, растворяется в осенних далях 1828-го. Чтобы вернуться сюда летом следующего, 1829-го.

«Два вола, впряженные в арбу, подымались по крутой дороге. Несколько грузин сопровождали арбу. „Откуда вы?“ — спросил я их. „Из Тегерана“. — „Что вы везете?“ — „Грибоеда“» («Путешествие в Арзрум»).

Он возвращается в Тифлис, где быть его могиле, где долго жить его вдове, где множатся списки его гени-

альной комедии, где в канцелярии командующего и главнокомандующего напрасно дожидается своего автора удивительный проект.

РОССИЙСКАЯ ЗАКАВКАЗСКАЯ..

Прошло 62 года. В стране другая эпоха, без крепостного права. Фабрики, железные дороги, приближающаяся революция. Скоро отпразднуют грибоедовское столетие: его комедия настолько вошла в репертуар, литературу, живую речь, словно существовала *всегда*: свойство великих сочинений — будто они в природе вещей, как законы Ньютона или драгоценные металлы, надо только отыскать и вывести наружу то, что уже есть...

Слава! В замечательной грибоедовской коллекции Н. К. Пиксанова сохранилось свыше 150 различных изданий «Горя от ума»; есть экземпляры на веленовой, слоновой, японской бумаге; есть издания бесцензурные, заграничные; десятки переводов — на английский, немецкий, французский, польский, чешский, грузинский, украинский, армянский; турецкий текст сопровождается выходными данными: «Константинополь, 1300 год от бегства Магомета», т. е. 1883-й по нашему летосчислению (см. [Пиксанов, с. 266—269]).

За 60 послегрибоедовских лет биография, личность автора «Горя от ума» изучаются постоянно; публикуются письма, воспоминания.

Кое-что прояснилось — иное, наоборот, затемнилось. К концу XIX столетия образ Грибоедова был куда более расплывчатым, таинственным, нежели любого крупного русского писателя; загадочность казалась не случайной, как будто завещанной самим мастером.

Было ясно, например, что литературная и государственная деятельность были не просто двумя «профессиями», но взаимосвязанными, трудноразделимыми. Без этой связи не получалось биографии. Для биографии не хватало фактов.

Между 1830-ми и 1890-ми годами в печати несколько раз мелькают сведения об огромных государственных планах Грибоедова («старика Грибоедова», как писал Некрасов); в 1831 г., через два года после гибели поэта, «Тифлиссские ведомости» в нескольких номерах сообщали о его предсмертном проекте Российской За-

кавказской компании — торгово-промышленном объединении по освоению закавказских богатств.

Пройдет, однако, более полувека, пока эти материалы попадут в поле зрения исследователей и будут включены в двухтомное «Полное собрание сочинений Грибоедова», вышедшее в 1889 г. под редакцией И. А. Шляпкина. Впрочем, публикация (т. I, с. 135—153) не сопровождалась каким-либо комментарием и никак не отразилась в приложенной к изданию «Хронологической канве для изучения биографии А. С. Грибоедова».

Меж тем примерно тогда же, начиная с 1886 г., «Русский архив» печатал записки уже не раз упоминавшегося нами Николая Николаевича Муравьева (графа Муравьева-Кавказского), который хорошо знал Грибоедова на Кавказе. Основываясь на своем дневнике, Муравьев описывал грибоедовский «проект о преобразовании всей Грузии, коей правление и все отрасли промышленности должны были принадлежать компании наподобие Восточной Индии. Сам главнокомандующий и войска должны были быть подчинены велениям комитета от сей компании, в коем Грибоедов сам себя назначал диктатором, а главнокомандующего — членом; вместе с сим представил он себе право объявлять соседственным народам войну, строить крепости, двигать войска и все дипломатические сношения с соседними державами. Все сие было изложено красноречивым и пламенным пером, и, как говорят, писцом под диктовку Грибоедова был Завилейский, которого он мог легко завлечь и в коем он имел пылкого разгласителя и ходатая к склонению умов в его пользу» [Гр. Восп., с. 66].

Возможно, эти строки стимулировали новых публикаторов.

Именно текст, изложенный «красноречивым и пламенным пером», опубликовал в 1891 г. журнал «Русский вестник».

Сентябрьский номер открывался главным, т. е. наиболее эффектным, материалом [РВ, 1891, № 9, с. 3—17]. А. П. Мальшинский представлял читателям «Неизданную записку А. С. Грибоедова». Текст и комментарии заняли 15 журнальных страниц, интереснейший документ был подписан двумя именами: «статский советник Грибоедов, статский советник Завилейский».

Подлинник же «Записки об учреждении Российской Закавказской компании», именно тот, что публиковал

Мальшинский, сохранился среди бумаг Паскевича [ЦГИА, ф. 1018, оп. 3, с. 165]¹³.

Это было, собственно говоря, вступление к проекту, где кратко, ярко излагалась суть. Такие вступления обычно писались для начальства, для тех персон, которым недосуг или слишком трудно разбираться в частностях, подробностях разных сложных документов (кстати, как раз в те годы, когда впервые публиковалось вступление к Грибоедовскому проекту (1880—1890-е), специальный чиновник популяризировал таким образом сложные государственные сюжеты для Александра III; царь не любил вникать в чересчур профессиональные бумаги, и когда-нибудь исследователи, конечно, учтут этот особый род научно-популярной литературы).

Грибоедов писал прежде всего для Паскевича. В начале живо и сильно обрисованы недостатки и пороки кавказского управления: «При внимательном рассмотрении Закавказского края каждый удостоверится, что там природа все приготовила для человека; но люди доселе не пользовались природою. Настоящее правительство поддержано токмо самим собою...»

Авторы проекта предлагают способ быстрого и эффективного спасения без особых государственных затрат: они, конечно, знают, что скупой министр финансов Егор Францевич Канкрин любит доход, сходящийся с расходом, и не станет бросать денег на ветер.

По мнению Грибоедова и Завилейского, правительству следует разрешить большую Закавказскую компанию, компания получит значительные привилегии, для начала ей будет отдано 120 тысяч десятин земли, на которых она будет возделывать ценные «тропические продукты» — фрукты, лекарственные растения и пр. Этими товарами компания станет торговать в России и других странах, для чего ей потребуется специальный порт на Черном море; кроме того, она будет важным посредником между Россией и рынками Востока, постоянно усиливая свое влияние в Иране и других краях.

Откуда, однако, взять рабочую силу на плантациях и других предприятиях компании? Местных жителей — армян, грузин, азербайджанцев — не так уж много после персидских и турецких нашествий, да они вряд ли оставят свои земельные участки и наймутся на предприятия...

Есть, однако, способ «чисто российский»: в централь-

ных губерниях, особенно нечерноземных, крепостной труд дешев, помещики не получают большого дохода от своих мужиков. Поэтому можно легко скупить несколько десятков тысяч крестьян и затем переселить их за Кавказ. Мужикам будет объявлено, что они и их дети больше не считаются крепостными, но в течение 50 лет не могут покинуть плантации компании (и, значит, по сути, остаются крепостными, вроде тех, которые были некогда приписаны к уральским заводам).

Итак, огромная компания получит земли, товары, рабочую силу, торговые пути, но, чтобы оградить ее от конкуренции, а прибыль была надежна и окупала расходы, Грибоедов просит особую привилегию — фактическую монополию: исключительное право торговли тропическими товарами, запрет местным жителям, а также иностранным и русским купцам, не связанным с компанией, конкурировать с нею на закавказском рынке...

Кроме того, здесь, на краю империи, привилегированной компании виднее, нежели господам из Петербурга, что нужно делать, какие меры применять для ограждения своих интересов. Поэтому новому учреждению нужна сильная дирекция с большими правами, вплоть до права объявлять войну и заключать мир. Разумеется, если дело дойдет до самых крайних мер, то компания рассчитывает на солдат и пушки правительства; но тем не менее самодержавное государство должно поделиться властью с гигантским объединением и в результате быстро окупит свои огромные затраты по освоению столь дальнего края; в петербургскую же казну потекут миллионы, ибо компания, конечно, будет отчислять туда немалый процент своих прибылей.

Грибоедов и Завилейский не скрывают примеров, которыми руководствуются. Во-первых, давно существует Российско-Американская компания, имеющая особые права на освоение дальневосточных богатств (по мнению авторитетного специалиста, Грибоедов, может быть, потому согласился взять И. С. Мальцова первым секретарем своей миссии, что миллионеры Мальцовы давно были связаны с этой компанией, см. [Шостакович, с. 163]).

Вторым примером была английская Ост-Индская компания (а также подобные ей голландская, французская). Начиная с 1600 г. королева Елизавета, а затем другие правители Англии передавали компании нынеш-

ние и завтрашние колонии на Востоке. Иначе говоря, правительство, его армия и флот завоевывают Индию, а уж дело акционеров и правления Ост-Индской компании — освоить захваченные земли, организовать управление, выбить прибыли, достаточные для процветания компании и финансирования новых завоеваний. Лондонское Сити быстро оценило предоставленные шансы: к грибоедовскому времени Ост-Индская компания процветала уже третье столетие и успела выкачать миллиарды из завоеванной Индии и полузависимых азиатских царств. К. Маркс, специально занимавшийся историей этой огромной фирмы, цитировал в статье «Ост-Индская компания, ее история и результаты ее деятельности» постоянные заявления государства и частных конкурентов компании, что «ни один британский подданный не может обладать верховной властью над какой-либо территорией независимо от короны»; однако «каждый раз, когда истекал срок ее монополии, она могла возобновлять свою хартию, лишь предоставляя правительству новые займы и преподнося ему новые подарки». Впрочем, «монополисты в Индии были первыми проповедниками принципа свободы торговли в Англии». Дивиденды компании в конце XVIII в. достигали 12 с половиной процентов, в казну ежегодно отчислялись сотни тысяч фунтов стерлингов [Маркс, с. 152—153, 156].

Российский министр иностранных дел Нессельроде знал и по отчетам Грибоедова, и по многим другим каналам, что «английский посол в Тегеране является собственно представителем Ост-Индской компании». Эта компания ежегодно платила персидскому двору 800 тысяч рублей серебром, английский поверенный в делах Г. Уиллок, немало способствовавший возникновению в 1826 г. русско-иранской войны, стал позже одним из директоров компании (см. [Шостакович, с. 55, 90, 253; Гр. Восп., с. 356]).

Когда Грибоедова убьют, Паскевич доложит в Петербург именно об интригах Ост-Индской компании [АК, т. VII, с. 691].

Предлагая против своего сильнейшего противника нечто сходное по типу — Российскую Закавказскую компанию, Грибоедов как бы пытается остановить свою судьбу.

Авторы проекта, надо думать, считали, что Николай I ухватится за их идею. В самом деле, Закавказье —

богатая страна, казна же не получает оттуда прибыли, тратит миллионы на управление и содержание большой армии. В Петербурге даже раздавались голоса: нужны ли России новые владения, не слишком ли обременительны? Грибоедов и Завилейский доказывали, что нет другого способа получить выгоду от присоединенных территорий, как создать там компанию. Они рассчитывали также на самолюбие Николая I, ведь его страна будет тогда действовать в Азии, применяя эффективное средство, проверенное европейской, английской историей.

Ближе к столицам, в центре страны, царь, конечно, никогда не даст какому-либо торгово-промышленному объединению столь многовласти. Однако на многопедельной дистанции законы притяжения и отталкивания иные; именно дальность Тихого океана была доводом в пользу Российско-Американской компании...

Если Закавказскую компанию разрешат, то поэт и политик надеется на немалую ее автономию, самостоятельность. Перед глазами подчиненных пример генерала Ермолова, чьи права, инициатива и независимость были в несколько раз больше, чем у обычных российских губернаторов. Новый царь Николай не пожелал самостоятельного Ермолова, но многое простит Паскевичу и его людям.

Правительству все это слишком выгодно; Паскевича же компания одарит миллионами (Грибоедов доказывал, что разных тропических колониальных товаров компании ежегодно «легко можно будет производить и обработать на первый только случай [...] по крайней мере [на] 29 миллионов [рублей]»).

Для себя Грибоедов видит огромные перспективы: он незаменим, сам себе пишет инструкции — значит, в компании будет играть роль первейшую, независимо от того, станет ли формальным директором или фактическим. Почетным шефом, главным директором быть, конечно, Паскевичу, но вице-директором, реальным правителем дел — Грибоедову. Точно так же как при заключении Туркманчайского мира, где он был формально *третьим*; вспомним грибоедовское письмо к Амбургеру: «Мой чин невелик, но моему месту соответствует ранг тайного советника».

Итак, бурная деятельность, возможность принести пользу, благо, наконец, относительная независимость, поэзия дерзкого дела...

Мальшинский, публикуя в 1891 г. вступление к проекту, этим, однако, не ограничился. Перед читателями конца XIX столетия разворачивался непростой сюжет: 13 июля 1828 г. Грибоедов и Завилейский ставят свои подписи под вступлением к проекту; 7 сентября — дата под самим проектом, после чего документ идет к Паскевичу, человеку, понимающему, сколь нужен ему Грибоедов и еще не успевшему «приревновать» (как это случалось со многими военными, которых Паскевич возненавидел за отнятую у него славу). Грибоедов умен, хитер, всячески «выставляет вперед» генерала, при случае не гнушается и лестью...

Итак, после 7 сентября проект у Паскевича, который находится в армянских горах, действуя против турок. Один из авторов будет дожидаться ответа в Ирапе, другой — в Тифлисе.

Проект у Паскевича, и, как назло, это именно тот случай, когда генерал не может посоветоваться с Грибоедовым.

Мальшинский знает, что было дальше, и сообщает читателям.

Главнокомандующий отдает проект на рецензию кому-то из своих надежных экспертов. Эксперт оказывается знатоком экономики и государственных дел, человеком ловким и настырным. На страницах «Русского вестника» впервые печатались выдержки из рецензии, автор которой возражал Грибоедову и Завилейскому с немалым мастерством.

Против критической части грибоедовского вступления рецензент почти не спорит: да, в Грузии и Армении разорение, неустройство, действительно, нужны серьезные меры. Только однажды следует резкий выпад: авторы проекта, апеллируя к просвещенным чувствам читателей, замечают, что «нужда и недостатки суть состояние, в коих редко преуспевают добродетели». Рецензент сделал не лишнее резона возражение, что прославленные народы древности — греки, римляне — были в нужде более добродетельны, нежели в богатстве; что грузинский народ, например, «не имеет тех нужд и недостатков, кои можно бы считать препятствием к добродетели».

Разумеется, Грибоедов хорошо знаком с положительными чертами закавказского народного быта, он выбирает себе жену-грузинку и, конечно, не считает этот народ отгороженным от просвещения и добродете-

ли: оппонент намекает, что авторы проекта представляют положение Закавказья уж слишком плохим, чтобы убедить начальство в спасительной роли будущей компании.

Попутно заметим, что противник тут больно поддел Грибоедова и Завилейского: Паскевич ведь постоянно обвиняет Ермолова в унижении местных народов, в то время как он, новый командующий, дескать, отдает им должное (распространение подобного мнения было особенно важно для обеспечения спокойного тыла во время войны с Персией и Турцией).

Главные же удары критик наносит по отдельным разделам самого проекта.

Кроме опубликованных фрагментов этой рецензии [РВ, 1891, IX, с. 3—17] сохранилась и рукопись замечаний; сначала рецензент карандашом вынес на поля грибоедовской «Записки» латинские литеры (и сверх того некоторые пометы), а затем составил отдельный документ — беловую рукопись с многочисленными поправками, где по каждому пункту высказываются соображения и возражения [ЦГИА, ф. 1018, оп. 3, № 234]¹⁴.

Идет серьезный, жесткий спор.

Грибоедов и Завилейский: «Компания, дерзающая на новые предприятия в Закавказской провинции, где не сделано еще никакого начала трудолюбием и деятельностью, должна быть снабжена привилегиями исключительными, подобно Ост-Индской или Северо-Американской...»

Рецензент: «Неужели же Грузия и прочие закавказские провинции суть то, что для Англии Ост-Индия или для России дикие острова северо-американские... Грузия имеет довольноую степень образованности. Нельзя сказать, что не сделано никакого начала трудолюбием и деятельностью: есть земледелие, виноделие, садовничество, ремесло, торговля, есть правление и науки. Достигнув до той степени, в какой теперь находятся, нет сомнения, что достигнут и далее»; в неопубликованной части рукописи рецензент вопрошает: «Нарушение прав народных не более ли отдаляет дух народный от преданности к России? [...] Неужели привилегии частные святее привилегии целого народа и коренных постановлений государственных?» [ЦГИА, ф. 1018, оп. 3, № 234, л. 22 об., 24].

Грибоедов и Завилейский просят монопольных, исключительных прав для компании, критик возражает,

что тем самым будет задавлена местная инициатива, придут в упадок уже имеющиеся ремесленные и торговые заведения: пусть компания свободно с ними конкурирует, но никого не ограничивает административными мерами!

Авторы проекта просят для компании 120 тысяч десятин: это земли, отнятые у ханов и беков, враждебных России, а также многочисленные брошенные участки; их, по мнению авторов, хватит для нескольких десятков тысяч русских переселенцев.

Рецензент: плантации тропических растений пахотятся всегда «в самых знойных, нездоровых местах», откуда жители летом спасаются в прохладные горы. Для непривычных русских мужиков это — верная гибель.

На всякий почти пункт проекта у критика есть возражение. Прочитав, что компания будет наподобие Ост-Индской, он пишет, что образец нехорош, ибо англичане закабалили Индию и вызывали острую ненависть народа. Грибоедов и Завилейский приводят Соединенные Штаты Америки как пример прогрессивного промышленного развития, в ответ пишется, что на американских плантациях трудятся рабы-негры, а кроме того, что американская экономическая система породила и определенный тип государства, т. е. республику — верный способ напугать Паскевича и других сторонников самодержавия.

В рукописных замечаниях на проект (сверх напечатанных в «Русском вестнике») рецензент объясняет свою позицию: «Не с тем, однако, говорю сие, чтобы не заводить в закавказских провинциях то, что натура заводить позволяет; но заводить без пожертвований чрезвычайных коренными заведениями, правами и порядками общими государственными» [ЦГИА, ф. 1018, оп. 3, № 234, л. 19].

И наконец, последний контрудар. Грибоедов просит для компании права вести войну, заключать мир, самостоятельно торговать с границей. Рецензент восклицает: «Государство в государстве!»

Довод для Паскевича, вероятно, сильнее других — его власть после создания компании явно уменьшится...

Кто же этот сильный, ядовитый оппонент Грибоедова и Завилейского? Мальшинский сообщал, что за-

метки на полях грибоедовской записки делал сам Паскевич, основным же рецензентом был полковник Иван Григорьевич Бурцов. Исследователи некоторое время не вникали в ситуацию, о чем Юрий Тынянов иронически писал Виктору Шкловскому (1927 г.): «У Пиксанова материалы в руках, вот он пишет фразу: „какой-то полковник Бурцов забраковал проект Грибоедова на Кавказе, потому что проект требовал рабов“. А „какой-то“ Бурцов — основатель Союза Благоденствия, важнейший декабрист, и я на этом строю главу».

Речь шла о главе пятой, главке 17, романа «Смерть Вазир-Мухтара», где арестованный, а затем помилованный Кавказом Бурцов осенью 1828 г. возражает арестованному и пожалованному Кавказом Грибоедову...

Однако, прежде чем углубиться в эти любопытные материи, задумаемся: откуда вдруг попала в московский журнал секретная переписка о грибоедовском проекте? Где были эти документы в течение 60 лет?

Понятно где: в личном архиве Паскевича, огромном собрании бумаг (тысячи единиц хранения), которое, как уже отмечалось, находится сегодня в Ленинграде, в Центральном государственном историческом архиве СССР.

Грибоедов, уезжая, оставил генералу свой проект; генерал заказал и получил на него рецензию. Некоторое время все эти бумаги находились в Тифлисе, в канцелярии главнокомандующего. Затем Паскевич был отозван, отправился в Польшу, Венгрию и часть наиболее важных бумаг, конечно, захватил с собою.

Правда, оставалось не совсем ясным, какие же распоряжения дал главнокомандующий по поводу небывалого плана Грибоедова — Завилейского.

Что проект не осуществился — это известно, но как все произошло, каков был механизм запрета? Сразу ли поддался тугодумный генерал на доводы рецензента или повременил?

Паскевич прожил долго, пережил Грибоедова почти на 30 лет. После смерти остался аккуратно собранный архив: генерал-фельдмаршал князь Варшавский граф Эриванский заботился о славе, суде историческом.

После кончины фельдмаршала историк А. П. Щербатов взялся за увековечивание, результатом чего явились семь томов «Генерал-фельдмаршал князь Паскевич-Эриванский». Туда вошло множество документов: военные операции, вопросы управления, приказы, пе-

ремещения, частные письма. Грибоедовский проект был, очевидно, сочтен не столь важным, чтобы стать частью наследия Паскевича.

Кое-чем из неопубликованного Щербатов, однако, поделился с Мальшинским.

Мальшинский был человеком *определенным*. Способный журналист, он сблизился с тайной полицией и охотно брал на себя некоторые ее политические задания. Издавна самые черные российские властители искали своих публицистов, защитников, тех, кто сможет оборонить против «левых щелкоперов», выставить в самом выгодном свете самые сомнительные предприятия. Изредка удавалось отыскать бойкое перо, но, как правило, не того ранга, который был бы желателен (прекрасным примером подобного рода поисков являются хлопоты вокруг Глумова, героя пьесы Островского «На всякого мудреца довольно простоты», — тот был готов и на либеральные пассажи, и на самые реакционные, в зависимости от того, что выгоднее, и не сомневался, что даже после разоблачения еще будет нужен, еще позовут!).

Мальшинский в начале 1880-х годов по заданию полиции написал обширный «Обзор социально-революционного движения в России». Сблизившись с Щербатовым, он помогал тому в составлении биографии Паскевича и воспользовался связями биографа, чтобы проникнуть ко двору. Вместе со Щербатовым Мальшинский вошел в «Священную дружину» — полуполициарную монархическую организацию, которая ставила своей целью секретную защиту престола против наступающей революции, защиту разными методами — и публикацией соответствующих статей, документов, и разведыванием революционных сил, и даже фиктивной деятельностью в подпольных организациях.

Для Мальшинского обнаружение грибоедовских материалов — один из эпизодов, разумеется далеко не главный среди его разнообразных заплывов; но все же и тут, на страницах «Русского вестника», он преследует совершенно определенную, любезную сердцу цель — развенчать враждебный авторитет. Мальшинский хочет показать примерно следующее: вот вы, враги престола, либералы, революционеры, насмешники, считаете Грибоедова своим, до сих пор полагаете, что главное горе

в России «от ума», — так смотрите же, каков ваш кумир: жестокий колонизатор, сторонник превращения российских мужиков в негритянских рабов, даже Паскевич более гуманен и очевидно внемлет совету декабриста Бурцова — «унять прожекторов»; попутно выясняется, сколь неважными были отношения у Грибоедова и декабристов...

Мальшинский, однако, был не той фигурой, которая могла бы существенно повлиять на «общественную репутацию» Грибоедова. Более того, в течение почти 40 лет публикация «Русского вестника» не получала никакой оценки. Она как бы существовала сама по себе на полях грибоедовской биографии. В большой вступительной статье Н. К. Пиксанова, которая в 1911 г. открывала его замечательный грибоедовский трехтомник, о проекте Закавказской компании ни слова (автор, правда, предупреждает, что не включает в Полное собрание деловые бумаги Грибоедова, так как они публиковались Шляпкиным в 1889 г.); лишь в хронологической канве со ссылкой на Е. Г. Вейденбаума сообщается, что Грибоедов и Завилейский 17 июля 1828 г. подписали Вступление к проекту (см. [Гр., т. III, с. 373]).

Важнейшие наблюдения и гипотезы явились уже в другую историческую эпоху, когда проект был рассмотрен в связи с другими важными, противоречивыми явлениями конца 1820-х годов.



Глава 3

В присутствии Тынянова

Но власть... Но судьба...
Но обновление.

«Смерть Вазир-Мухтара»



аше повествованию удалется от грибоедовского времени, чтобы после к нему вернуться.

Первая книжка ленинградской «Звезды» за 1927 г.: малый формат, незнакомый сегодняшним читателям журнала, зато немало авторов, чьи имена уже принадлежат истории, преданию:

Николай Тихонов — «Финиш в Бухаре»,
Николай Клюев — «Деревня»,
Осип Мандельштам —

Я буду метаться по табору улицы темной
За веткой черемухи в черной рессорной карете...

После открывавших журнал неопубликованных писем В. И. Ленина А. М. Горькому, на странице седьмой, начинался роман «Смерть Вазир-Мухтара», роман о Грибоедове, который затем с перерывами публикуется до конца года, до номера 12.

Первый отрывок «Вазир-Мухтара» завершился на 33-й странице первого номера «Звезды». Перед словами «Продолжение следует» было: «Запечатанный пятью аккуратными печатями, рядом с Туркманчайским — чужим — миром лежал *его проект*».

Проект Российской Закавказской компании — действующее, живое лицо романа. Первое его появление — еще раньше, в известной сцене Грибоедова с Чаадаевым:

«— У нас тоже есть мысль, — сказал вдруг Грибоедов, — корысть, вот общая мысль. Другой нет и быть не может, кажется. Корысть заохотит всех более позна-

вать и самих действовать. Я в Париже не бывал, ниже в Англии, а на Востоке был. Страсть к корысти, потом к улучшению бытия своего, потом к познанию. Я хотел вам даже рассказать об одном своем проекте.

Чаадаев пролил кофе на халат.

— Да, да, да,— сказал он недоверчиво и жадно поглядывая на Грибоедова,— помнится, я читал об этом.

— О чем читали? — остолбенел Грибоедов».

Во второй главе проект представляется Нессельроде:

«Грибоедов вынул свой проект. Синий сверток ударил в глаза дипломатов.

Атака началась. Дипломаты притихли. Сверток внушал им уважение».

Чуть позже Грибоедов у директора Азиатского департамента: «Родофиникин жал Грибоедову руки с чувством. Лицо у него было доброе.

— Я проект ваш, Александр Сергеевич, читал не токмо с удовольствием, а прямо с удивлением... Это очень пово...»

Тынянов точно и основательно знает дело: Грибоедов собирается в последний маршрут, в Петербурге ищет поддержки, одобрения, старается доказать, что им, во дворце, без проекта не обойтись.

Впрочем, персона одного министра, очень важная для истории проекта, в романе так и не появляется — это граф Канкрин, министр финансов, но о нем позже...

Тынянов не торопится с выводами, оценками научными и художественными. Он пишет роман, но притом как бы извиняется за такую вольность перед Шкловским: «Я совсем не собираюсь становиться романистом. Я, как ты знаешь, против монументального стиля во всем. Я смотрю на свои романы как на опыты научной фантазии, и только» («Вопросы литературы». 1984, № 12, с. 200, публ. О. Панченко).

Читатель первых страниц, первых глав может лишь догадываться, куда его поведет логика выдающегося ученого-писателя.

Между тем появление в романе Закавказской компании связано с общей очень сложной тыняновской концепцией. Присмотримся.

Важные намеки обнаруживаются в эпитафиях. Всего их 20. Тынянов авторскою волею выставляет эпитаграф иногда (не часто) перед началом главы, но иные

большие разделы остаются без эпитафия, зато ими награждаются совсем маленькие главки, «параграфы».

Есть эпитафии из Саади, из самого Грибоедова, из песен кавказских, солдатских, скопческих; есть строчки неожиданные, часто будто и не связанные с последующим текстом... Несколько эпитафий из «Слова о полку Игореве». Конец XII и начало XIX столетия — далекие миры, но их сближает настроение: эпос, гибель, авторская печаль...

Первый из 20 эпитафий — самый длинный — тот, что открывает роман:

Взгляни на лик холодный сей,
Взгляни: в нем жизни нет;
Но как на нем былых страстей
Еще заметен след!

Так яркий ток, оледенев,
Над бездною висит,
Утратив прежний грозный рев,
Храпя движенья вид.

Евгений Баратынский

Знаменитые стихи «Надпись», сочиненные в 1824 или 1825 г.; о них спорят: обращены ли они «к портрету Грибоедова»? Споры эти хорошо известны Тынянову — одному из лучших знатоков русской литературы, но под эпитафием не помещено ни названия стихотворения, ни пояснения: «Надпись (к портрету Грибоедова)» или что-либо вроде этого; читатель волен и не знать, что есть такая версия...

Однако поторопимся признаться, что не этот эпитафий в центре нашего внимания.

После стихов Баратынского следует знаменитое введение к роману:

«На очень холодной площади в декабре месяце тысяча восемьсот двадцать пятого года перестали существовать люди двадцатых годов с их прыгающей походкой».

Затем несколько страниц — про эпоху, начавшуюся «сразу, тут же на площади»; о людях двадцатых годов, избежавших эшафота и каторги, но вынужденных поскорее выбрать между гибелью и покорностью.

«Еще ничего не решено» — этими словами оканчивается введение.

С новой же страницы («Звезда». 1927, № 1, с. 9) начиналась первая глава романа, первая строка которой — как эхо: «Еще ничего не было решено».

Но между двумя строчками-близнецами врезается новый эпиграф к первой главе — строка по-арабски! Воображаем, сколь неожиданной и для типографии хлопотной была первая и, может быть, последняя в истории «Звезды» вставка арабских букв. Вслед же за восточной вязью следовали транскрипции и перевод:

Шаруль бело из кана ла садык.

Величайшее несчастье, когда нет истинного друга.

Стих арабского поэта Иль-Мутанаббия (915—965).

Грибоедов. Письмо к Булгарину

Цитата, выше уже приводившаяся в связи с интересом Грибоедова к вождям, пророкам...

Во всех шести изданиях романа, вышедших при жизни Тынянова (а он скончался от мучительной болезни в 1943 г. в возрасте 49 лет), во всех прижизненных изданиях и, конечно, во всех посмертных эпиграф повторен без всяких изменений.

Эпиграф первой главы — еще один *знак, ключ* ко всему роману. В самом деле, автор «Горя от ума» ведь нарочито перебивал русские строчки письма звучанием далекого языка: так впервые возникает в «Смерти Вазир-Мухтара» образ Востока, где развернутся главные события романа.

Но кому же Грибоедов адресует слова арабской мудрости, стихи славного «лжепророка» аль-Мутанабби, о великом несчастье без истинного друга? Булгарину!

Тынянов знает, какие ассоциации вызовет у его читателей это имя, и, конечно же, очень рассчитывает на отрицательно-презрительную пушкинскую реакцию:

Коль ты к Смирдипу войдешь,
Ничего там не найдешь,
Ничего ты там не купишь,
Лишь Сепковского толкнешь
Иль в Булгарина наступишь.

И если такому дурному человеку, подпевале тайной полиции (впрочем, даже ею презираемому), если ему сам Грибоедов пишет об *истинной дружбе*, очевидно, их связывают теплые, вполне приятельские отношения... Естественно, дальше возникает вопрос: что же может соединять столь противоположных людей?

И что за жизнь такая, если Грибоедов может, должен такие доверительные строки адресовать «Видоку Фиглярину»?

Но автор «Вазир-Мухтара» как раз и отыскивает ответ на этот и другие вопросы...

Читатель озадачен столкновением понятий: «Грибоедов — истинный друг — Булгарин»: Эпиграф бросает тень на всех, в том числе и на главного героя, и на его проект...

Читатель озадачен — роман начался...

Мы же пока задержимся «на месте происшествия», у гремящего эпиграфа первой главы, и пройдем по каждому этажу этого удивляющего сооружения. Этажей — четыре: 1) арабская цитата — оригинальный текст и транскрипция, сделанная Грибоедовым, 2) перевод изречения на русский язык, 3) имя арабского автора, 4) автор и адресат того письма, в которое включен восточный стих.

Уже говорилось выше, что академик Крачковский поправил ошибки, сделанные Грибоедовым при копировании стихов аль-Мутанабби. Но верен ли перевод?

В первых изданиях грибоедовского письма (о них еще скажем, там свои загадки!) появился знакомый нам «тыняновский» перевод: «Величайшее несчастье, когда нет истинного друга».

Это толкование в течение 60 лет повторяли в разных собраниях грибоедовских сочинений и писем, пока на него не обратил внимания все тот же Крачковский. В специальной статье «Арабская цитата в письме Грибоедова», опубликованной в 1921 г., ученый вносит уточнение, хоть и не меняющее общего смысла, но сгущающее, заостряющее его.

Вместо «величайшее несчастье...» надо:

Худшая из стран — место, где нет друга [Крачковский, т. I, с. 159].

Знал ли Грибоедов, как перевести? Разумеется! Знал ли Тынянов поправку Крачковского? Без сомнения! Она была напечатана в «Известиях отделения русского языка и словесности Академии наук», в том издании, за которым Юрий Николаевич следил постоянно, где печатались важные статьи и документы как раз по его специальности. Что Тынянов знал, видно и по упоминанию в эпиграфе имени арабского автора — Иль-Мутанаббия (точнее, аль-Мутанабби). Между тем как раз Крачковский в той же статье 1921 г. сообщил, кем сочинена «грибоедовская цитата» (до того в России ее считали просто «одним изречением»).

Тынянов, сам первоклассный переводчик, знал по-

правку Крачковского («худшая из стран...»), но отчего-то ее *не принял* и во всех изданиях «Вазир-Мухтара» сохранил старую, менее темпераментную трактовку: «Величайшее несчастье, когда нет истинного друга».

Дело скорее всего в адресате грибоедовского письма, которое цитировалось уже в нашей работе, — Булгарин...

Нет, не Фаддей Булгарин, а Павел Катенин.

Февральское, 1820 г., письмо из Тебриза с арабской строкой писано ведь не Булгарину, но совсем другому литератору (о чем уже говорилось в I главе)! С Булгариным Грибоедов не был даже в ту пору знаком: впервые встретились летом 1824-го в Петербурге.

Но почему же Тынянов во всех изданиях «Вазир-Мухтара» прямо указывает: «Грибоедов. Письмо к Булгарину»?

Смешно даже предполагать, будто первоклассный ученый Юрий Тынянов, много и специально занимавшийся наследием Грибоедова, мог забыть, что известны шесть грибоедовских писем к Павлу Катенину (в том числе четвертое по времени, с «арабской цитатой»), что в пятом послании, от 17 октября 1824 г. (когда Грибоедов уже вернулся, а Катенина за вольные слова и поступки выслали из Петербурга в Костромскую губернию), легко отыскать «эхо» тех арабских строк об *истинном друге*, которые нас так занимают:

«Мы поменялись ролями. Бывало, получу от тебя несколько строк, и куда Восток денется, не помню, где, с кем, в Табризе воображаю себя вдруг между прежними друзьями, опомнюсь, вздохну глубоко и предаю себя в волю божию, но я был добровольным изгнанником, а ты!» [Гр., т. III, с. 162].

Тынянов, наконец, занимался и судьбою Катенина, его наследия (см. [Шубин]); еще Крачковский мечтал все-таки взглянуть на рукописный текст «арабского послания», однако катенинский архив, грибоедовские подлинники — все утрачено¹⁵.

Итак, Тынянов хорошо знал, кому адресовано грибоедовское письмо с арабским стихом — Катенину. Но не Булгарину, как уверенно утверждается в «Смерти Вазир-Мухтара».

Хотя булгаринские бумаги исчезли еще более безнадежно, чем катенинские¹⁶, письма Грибоедова к Булгарину не пропали; тут уж неутомимый Фаддей Вене-

диктович позаботился: он начал их печатать сразу же после тегеранской трагедии. Письма как бы документально удостоверили болгаринское участие в делах великого человека.

В полном собрании сочинений и писем Грибоедова, таким образом, оказалось 22 письма к Булгарину и одно отдельно, к его жене Елене Ивановне.

Кроме переписки Грибоедова с Булгариным остались и воспоминания Фаддея Венедиктовича о «пезабвенном Александре Сергеевиче» — тут немало материала, заставляющего многих читателей, специалистов уже второй век размышлять: «Как же мог Грибоедов!»

Последующие издатели, комментаторы, мемуаристы старались, иногда с излишним рвением, избавить Грибоедова от болгаринской тени. Даже Греч, многолетний союзник Булгарина, издававший вместе с ним «Северную пчелу», заметил: «Не знаю, осталась ли бы эта дружба в своей силе, если бы Грибоедов вздумал издавать журнал и тем самым угрожать „Пчеле“, т. е. увеличению числа ее подписчиков» [Гр. Восп., с. 395—396].

И все же в подобных деликатных вопросах особенно важно помнить о хронологии: в конце 1820-х у Грибоедова были ведь отношения с *тогдашним* Булгариным!

Отправляясь в последнее странствие, Грибоедов шлет с пути разные поручения Булгарину: «Терпи и одоляй меня, это не первая твоя дружеская услуга тому, кто тебя ценить умеет» [Гр., т. III, с. 210].

И как девиз, а может быть «эпиграф», этих отношений — странное и страшное сближение; полная рукопись «Горя от ума» оставлена в столице с надписью: «Горе мое поручаю Булгарину. Верный друг *Грибоедов*» [Гр. Восп., с. 398].

Сколько возможных толкований этой фразы?

Кажется, четыре:

«Горе от ума» поручено для пробивания сквозь цензуру.

Грибоедовское «Горе» пусть останется у Булгарина, а тот, кто горя лишился, естественно, обязан быть счастливым.

«Горе» поручается тому, кто плох, кто горя заслуживает.

«Горе» поручается только верному, истинному другу: «Величайшее несчастье, когда нет истинного дру-

га»... Булгарин воспользовался шутливой надписью «Горе мое поручаю...» как денежной доверенностью и имел по этому поводу тяжбу с матерью, сестрой и женой Грибоедова [Гр. Восп., с. 398].

Отсечь Булгарина от грибоедовской биографии, наверное, столь же трудно, как доказывать особенную, исключительную близость Фаддея Венедиктовича с Грибоедовым. Трудно найти верную точку зрения — исторический, художественный материал сопротивляется, но именно в такой «упрямой» стихии Тынянов искал особенно охотно. Сила противодействия порождает могучую силу действия. Неясное, смутное «Грибоедов — Булгарин» вдруг может явиться ключом к очень важным понятиям и обстоятельствам: о том, например, чего же хотел великий Грибоедов в последний год жизни, к чему стремился, чем дышал, отчего в конце концов погиб.

«НАС МАЛО, И ТЕХ НЕТУ...»

Главный ход тыняновского романа смел, ошеломителен.

Грибоедов, уже написавший «Горе от ума» и более почти ничего не пишущий.

Грибоедов — не перед 14 декабря, в кругу друзей, единомышленников, но после, когда многих друзей казнили, сослали, а он уцелел.

Грибоедов — не гонимый, как Ермолов, но получающий ордена, чины, должности — и с этим, а может быть, от этого погибающий...

Горький, как известно, писал автору «Вазир-Мухтара»: «Грибоедов замечателен, хотя я не ожидал встретить его таким. Но вы показали его так убедительно, что, должно быть, он таким и был. А если и не был — теперь будет» (письмо от 24 марта 1929 г. [ЛН, т. 70, с. 458]).

Роман о великом писателе, волею судеб оказавшемся в пустоте, где «недостает воздуха»: свои, вчерашние «на очень холодной площади в декабре месяце тысяча восемьсот двадцать пятого года перестали существовать»; и пусть Грибоедов иронизировал над «сотней прапорщиков», что хотят переменить Россию, но ведь эти самые прапорщики — лучшие его читатели, для них прежде всего писана комедия; чудом не оказался он в их числе...

Их нет — а жизнь продолжается; Грибоедову всего за тридцать, есть силы, знания, желание пользы принести, дело делать. И вот он пытается действовать на царской службе...

Автор «Вазир-Мухтара» художественно доказывает, что для тех, кто осудил и выслал декабристов, Грибоедов все равно *не свой*.

На тифлисском параде тыняновский Грибоедов с террасы для почетных гостей видит офицера: «...капитан Майборода, предатель, доносчик, который погубил Пестеля, своего благодетеля, который их на виселицу...»

Ему становится дурно, да и генерал-губернатор Сипягин недоволен тем, что доносчика определили в гвардию.

«— А в армии можно? — спросил с любопытством Грибоедов.

— В армии можно. Куда ж его деть? — уверенно ответил генерал.

Грибоедов, улыбаясь, положил свою руку на красную и растрескавшуюся генеральскую.

— В армии можно, — повторил озадаченный генерал.

— И в гвардии можно. Теперь... теперь, генерал, можно и в гвардии. И полковником. И... — Он хотел сказать: генералом...

Но тут Сипягина перекосило несколько. Он пожевал пухлым ртом.

— Зачем же, однако, так на наше время смотреть. На наше время, когда военная рука опять победоносна, знаете ли, Александр Сергеевич, так неуместно смотреть» [Тынянов I, с. 201—202].

Но в этот же день кое-кто из солдат проходившего на параде полка узнал Грибоедова: разжалованные декабристы, бывший гвардии подпоручик Нил Кожевников и бывший полковник Александр Берстель...

«— ...А кто с террасы на нас смотрел? В позлащенном мундире?

— А кто? — спросил Берстель. — Чиновники.

— Нет-с, не чиновники только. Там наш учитель стоял. Идол наш. Наш Самсон-богатырь. Я до сей поры один листочек из комедии его храню. Уцелел. А теперь я сей листок порву и на сигарки раскурю. Грибоедов Александр Сергеевич на нас с террасы взирал...

— Я так сужу, Нил Петрович, — отвечал, не открывая глаз, Берстель, — что, не зная господина Грибоедова близко, я о нем по справедливости и судить не могу» [Тынянов I, с. 212—213].

«Величайшее несчастье, когда нет истинного друга» — именно этот перевод Тынянову нужнее, чем более правильное «Худшая из стран — место, где нет друга».

Мутанабби мог выбирать, скитаясь по мусульманскому миру из страны в страну, у Грибоедова одна страна — и если там нет истинного друга, то это уж величайшее несчастье.

Но в той пустоте носятся обломки прошедшего, случайные люди, оказывающие случайные услуги; соломинка, за которую хватается утопающий и все равно тонет.

«Нас мало, и тех нету». Вот откуда Булгарин.

Величайшее несчастье — когда нет истинного друга; и не меньшее несчастье, если в друзьях Булгарин.

«Самый грустный человек 20-х годов был Грибоедов» (из письма Тынянова Горькому 21 февраля 1926 г.).

«Должно быть, он таким и был. А если и не был — теперь будет...»

Разумеется, можно увидеть Грибоедова другим, третьим, четвертым. Право любого автора на серьезную версию неоспоримо.

Художественная версия Тынянова: одиночество Грибоедова, начинающаяся измена самому себе. Для того чтобы добыть истину, понять героя, героев, поступки, проекты, автор «Вазир-Мухтара» бешено сталкивает противоположные полюса, заставляет Грибоедова писать об истинной дружбе Булгарину.

В то время как Грибоедов писал о том Катенину¹⁷.

Длинное отступление насчет тыняновского эпиграфа сделано с целью — определить научно-художественный взгляд видного ученого-писателя на сложнейшие, противоречивые обстоятельства биографии Грибоедова; слишком трудные проблемы, слишком мало фактов. Вспомним еще раз замечание Эйхенбаума: «Судьба Грибоедова — сложная историческая проблема, вряд ли разрешимая научными методами».

Тынянов пробует — и научными, и художественными...

Между прочим заметим, что писатель-ученый лег-



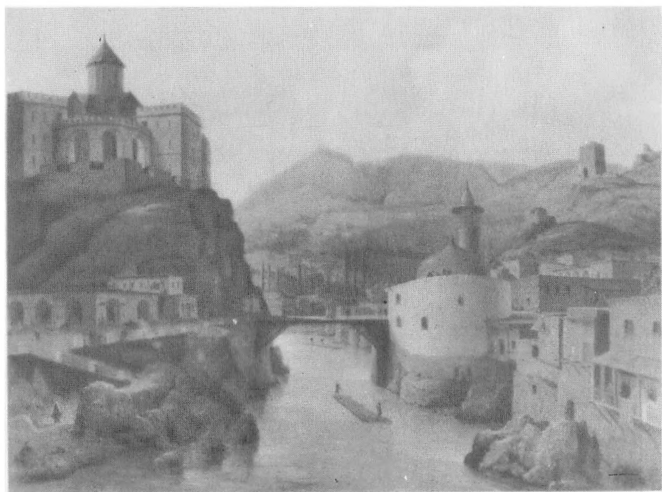
А. С. Грибоедов. Гравюра Н. Уткина
с оригинала Е. Эстеррейха. 1829 г.



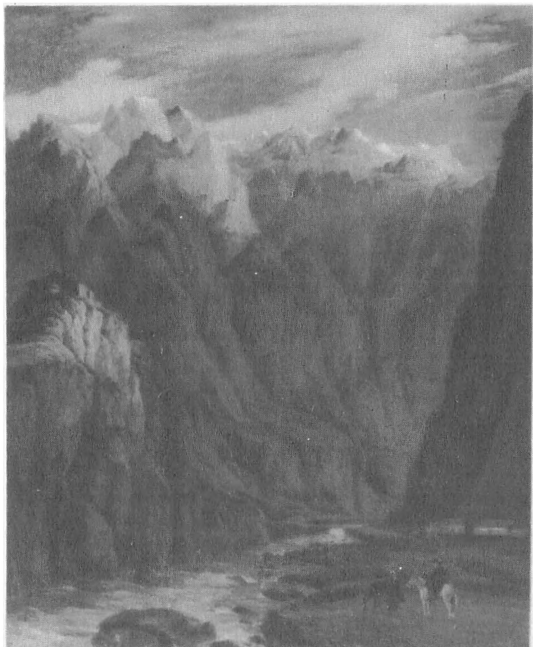
А. П. Ермолов. Гравюра Т. Райта с оригинала Дж. Доу.
1824 г.



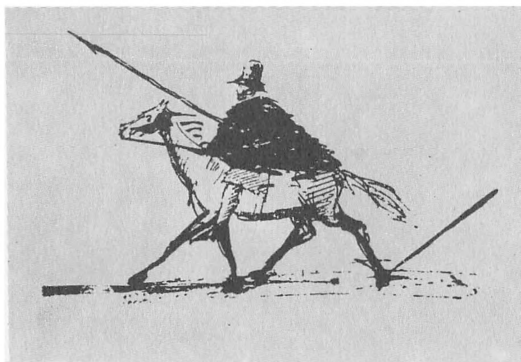
Первое свидание графа Паскевича Эриванского
с наследником персидского престола Аббас-Мирзою
в Дейкоргане. Литография К. Бегрова
с оригинала В. И. Машкова. 1829 г.



Тифлис. Картина худ. Н. Г. Чернецова.
1831 г.



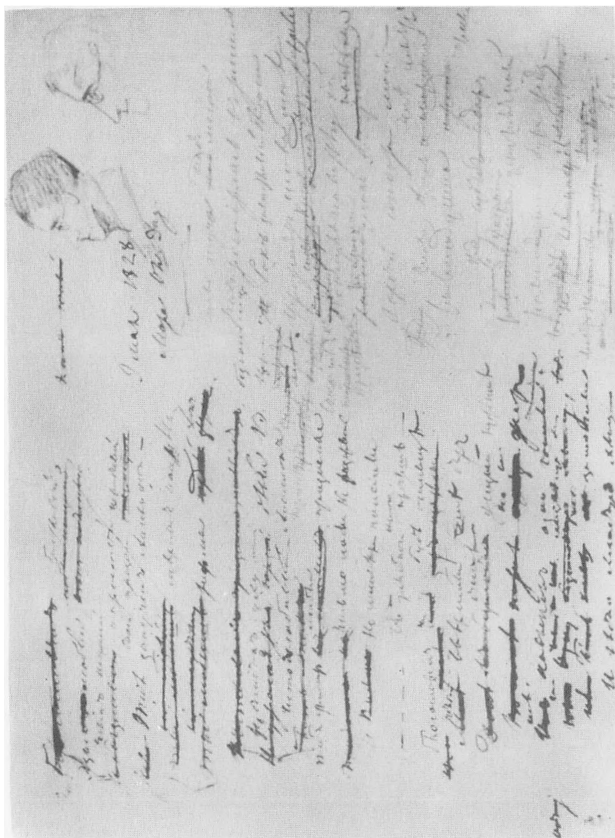
Дарьяльское ущелье.
Картина худ. Н. Г. Чернецова. 1832 г.



Автопортрет Пушкина
в виде всадника в бурке с пикой.
В альбоме Ел. Н. Ушаковой. 1829 г.



Черновая рукопись Пушкина 1829 г. с автопортретом
в бараньей папахе



Два портрета Грибоедова
над черновыми строками стихотворения «Предчувствие».
1828 г. Рис. Пушкина



А. И. Одоевский.
Рис. Л. Питча с оригинала Н. А. Бестужева. 1870-е годы



М. Ю. Лермонтов. Рис. Д. И. Палена



Н. П. Огарев. Гравюра Л. Ламмеля

ко мог бы и *придумать* эпиграф, перефразировать какое-нибудь грибоедовское письмо, действительно обращенное к Фаддею... Однако Тынянову нужны были именно двойственность, некоторый обман. (Автор признателен С. Б. Рассадину за интересные соображения на эту тему.) Зачем же? Да затем, что эта двойственность — в основе романа. Ведь и самый первый эпиграф — «Взгляни на лик холодный сей...» — искусный, полускрытый *мираж*: стихи о Грибоедове, но, возможно, не о нем. Стихи Баратынского как бы повернуты одной гранью к большинству читателей, но несколько иначе — для узкого круга посвященных знатоков.

И в «арабском эпиграфе» тоже двойственность, туман, «обман»: у огромного числа читателей-неспециалистов, естественно, нет никаких сомнений — текст взят из письма к Булгарину; непогим же знатокам автор лукаво подмигивает и заставляет задуматься о безграничных возможностях художественного вымысла.

Двойственность, неясность — в позиции, действиях, самоопределении Грибоедова («ничего не решено...»), двойственность проектов, жизненного смысла...

История «булгаринского эпиграфа» резко обнажает концепцию тыняновского романа, помогает понять и одну из самых напряженных сцен, где решается судьба важнейшего персонажа «Смерти Вазир-Мухтара».

У БУРЦОВА

Грибоедов и проект едут к Паскевичу, генерал отдает приказание Бурцову — отрецензировать документ. Сцена между полковником-декабристом и Грибоедовым, одна из лучших в романе, основана на материалах, некогда помещенных Мальшинским в «Русском вестнике», но представляет совсем иную, сложнейшую идею.

Бурцов в романе говорит Грибоедову: «Я буду всемерно проект ваш губить...

...вы крестьян российских сюда бы нагнали, как скот, как негров, как преступников. На нездоровые места, из которых жители бегут в горы от жаров. Где ваши растения колониальные произрастают. Кош-шениль ваша. В скот, в рабов, в преступников мужиков русских обратить хотите. Не позволю! Отвратительно! Стыдитесь! Тысячами — в яму! С детьми! С женщинами! И это вы „Горе от ума” создали!

Он кричал, бил воздух маленьким белым кулаком, брызгал слюною, вскочил с кресел».

Грибоедов, выслушав критику Бурцова, объясняет, что в случае победы декабристов мужики не вышли бы из кабалы — разве что названия бы переменились:

«И сказали бы вы бедному мужику российскому: младшие братья... временно, только временно неугодно ли вам на барщине поработать? И Кондратий Федорович это назвал бы не крепостным уже состоянием, но добровольною обязанностью крестьянского сословия. И, верно, гимн бы написал».

Вот тут-то Бурцов захочет стреляться, а Грибоедов скажет: «Нету... Не буду драться с вами. Все равно. Считайте меня трусом».

Потом спросит: «А что вы скажете Паскевичу?»

« — Я ему скажу, что он, как занятый военными делами, не сможет заведовать и что власть его ограничится».

— Это умно, — похвалил Грибоедов» [Тынянов I, с. 256—258].

После этого диалога проект, столько раз появлявшийся в романе, замирает: еще одно творение отторгается от своего создателя.

«Безобразное одиночество тогда самым жалостным и проклятым образом, как живое существо, влезло в него» [Тынянов I, с. 316].

Роман, увидевший свет в 1927 г., вызывал и вызывает яростные споры «за» и «против». Сразу видно, что это один из самых живых советских романов!

Без сверхзадачи задача не решалась: Тынянов писал о Грибоедове и, разумеется, о себе. О разочаровании во многих надеждах и иллюзиях 1920-х годов; о трудном времени, наступающем для настоящей литературы; о гибельных попытках сопротивляться и еще более гибельных — признать «все действительное разумным», раствориться в компромиссе (см. [Белинков, а также Чудакова, с. 103—132]).

Те же, кто в разные годы и десятилетия с этим спорили, также толковали о Грибоедове. И о себе. Своих жизненных установках.

Прислушаемся к «противникам».

«Спор Грибоедова с Бурцовым [...] является кульминацией романа. Если бы Грибоедов был „угадан“ писателем верно, такая принципиальная ошибка была бы

невозможна, по крайней мере она не была бы в романе подчеркнута композиционно» [Фомичев, с. 25].

«К спору Грибоедова с Бурцовым Тынянов стягивает едва ли не все смысловые нити повествования, и этим спором, по сути дела, разрешается коллизия, положенная Ю. Тыняновым в основу его романа. С этой точки зрения ошибка творческой (и социально-исторической) интуиции романиста не только разительна, но в известном смысле просто катастрофична...» [Лебедев, с. 272].

Порассуждаем не торопясь.

Грибоедов и проект. Из романа Тынянова выходит, что автор «Горя от ума», оставшись на воле, оказывается в положении безвыходном, гибнет среди противоречий неразрешимых: участи декабристов избежал, пытается поднести властям новые, свежие идеи, а власти не берут, не интересуются. «Величайшее несчастье, когда нет истинного друга»...

В чем же «катастрофическая ошибка»?

150-ЛЕТИЕ

150-летие Грибоедова встречалось совсем иначе, чем 100-летие. Публиковались разнообразные, содержательные труды М. В. Нечкиной, В. Н. Орлова, О. И. Поповой, В. С. Шадури. При всем обширном спектре проблем можно все же сказать, что в ту пору «большинством научных голосов» автор «Горя от ума» явно *возвращался* к Тайному обществу. Факты, реальные или мнимые, доказывавшие близость Грибоедова к декабристам, считались более существенными, чем признаки противоречий, несовпадений. Комментатор позднейшего издания книги Н. К. Пиксанова «Творческая история „Горя от ума“» (1971 г.), оценивая полемику конца 1940-х — начала 1950-х годов вокруг личности и творчества Грибоедова, заметил, что «книга Нечкиной [„А. С. Грибоедов и декабристы“], будучи обстоятельным и серьезным исследованием, насыщенным фактами, обнаруживает все-таки очевидную заданность и является характерным примером распространенного в те годы априоризма и стремления „улучшать“ историю. Пиксанов именовал такое поветрие „обратным вульгарным социологизмом“, созданием „крашенных классиков“, которые все вдруг представлялись революционными и народными» [Пиксанов, Гришунин, с. 377].

Тем не менее 35—40 лет назад, когда простая, ясная, притягательная концепция Нечкиной набирала силу, казалось, что только один факт мешает, осложняет картину полного единства Грибоедова с деятелями тайных обществ: конфликт автора «Горя от ума» с Бурцовым из-за проекта. В книге «А. С. Грибоедов и декабристы» прямо написано, что это единственный эпизод, свидетельствующий о сколько-нибудь серьезных противоречиях [Нечкина, с. 525].

Но в 1951 г. и это препятствие опрокинуто. Исследовательница восточной политики России О. П. Маркова сделала важное открытие, которое было опубликовано в научном сборнике «Исторический архив».

В Отделе письменных источников Государственного Исторического музея среди бумаг Г. В. Розена (главнокомандующего на Кавказе в 1831—1837 гг.) была найдена еще одна рукопись той самой рецензии на проект Грибоедова, которая традиционно считалась бурцовой. Текст несколько отличался от того, что опубликовал Мальшинский в конце XIX столетия, однако огромные текстуальные совпадения снимали всякое сомнение: подлинник со следами авторской правки! И при всем при этом в найденном тексте упоминался... полковник Бурцов и какая-то его критика проекта!

Судя по тому, как рецензент толкует о Бурцове, ясно, что автором найденного документа декабрист никак быть не мог.

О. П. Маркова по почерку и некоторым другим приметам установила, кто был оппонентом Грибоедова и Завилейского.

Им оказался генерал Михаил Степанович Жуковский, начальник интендантской службы при Паскевиче (см. [Маркова, с. 324—390]).

Таким образом, мы теперь располагаем двумя близкими редакциями отрицательной рецензии на грибоедовский проект.

Первая (о которой уже говорилось выше) — в архиве Паскевича [ЦГИА, ф. 1018, оп. 3, № 234], на нее опирался в своей публикации А. П. Мальшинский. *Вторая* — среди бумаг преемника Паскевича на Кавказе (Исторический музей; публикация Марковой).

Вопрос о происхождении двух редакций и подробное их сопоставление — дело специального научного, текстологического исследования. Мы же ограничимся только несколькими наблюдениями.

1. Текст «для Паскевича» носит более черновой характер, нежели рукопись в архиве Розена: в нем много зачеркиваний, вставок, выносок и т. п. Очевидно, при копировании рукопись еще раз отделялась.

2. За некоторыми исключениями, рецензия для Паскевича содержала более резкие, отрицательные формулировки, нежели позднейшая ее редакция (они уже приводились в предыдущей главе), общий же смысл двух рукописей одинаков.

Полагаем, что вторая редакция специально делалась для генерала Розена уже после смерти Грибоедова — в начале 1830-х годов (иначе более отшлифованный беловик тоже попал бы в архив Паскевича).

3. Мальшинский считал, что замечания на рукописи Грибоедова сделаны самим Паскевичем, а также рецензентом (Бурцовым). Это неверно: Паскевич в столь сложные материи не углублялся, поручая труд доверенным лицам.

Обе редакции — *труд генерала Жуковского*¹⁸.

Что за человек?

Скудные отзывы современников в общем неблагоприятны; самый лестный, кажется, такой: «Жуковский человек старый, наметанный в бумажных делах, но новый в крае, ничего не постигал в тогдашней суматохе» [ИРГ, арх. Вейденбаума. Картотека].

О Жуковском известно, что он из дворян Полтавской губернии, служил еще в 1790-х годах у Румянцева и Суворова, участвовал едва ли не во всех походах первой трети XIX в., долгое время находился под судом «за оказанное корыстолюбие», имение же было взято в счет недостачи; дела были бы совсем плохи, но выручил Паскевич: он пригласил возглавить интендантское дело (вместо изгнанных «ермоловских хозяиственников»), возил Жуковского за собою в персидские и турецкие походы, а потом забрал в Польшу. «Счета интендантов Грузии, — сообщает мемуарист, — были в ужасном положении. Жуковский стал вмешиваться и в дела, расстраивая Паскевича всякими наговорами. В 1829 г. уже почти перестал заниматься по интендантской части, употреблялся для доносов и тайных следствий, ездил к Паскевичу для откровенных бесед» [там же].

Тем не менее снабжение русской армии, углублявшейся в пределы Персии и Турции, было относительно сносным (не то что позже, в Крымскую войну), и это

официально считалось большой заслугой Жуковского. Во всяком случае, после окончания войны он получает Владимира 2-й степени, Анну 1-й степени и огромные денежные пожалования (см. [РА, 1894, № 1, с. 36—37]).

Даже такой верный *ермоловец*, как Денис Давыдов, признавал: «Но что в Паскевиче заслуживало величайшей похвалы — это примерная заботливость о снабжении армии провиантом. Этим редким и неоцененным качеством, вынуждавшим его часто терять много драгоценного времени, он превзошел многих полководцев, под начальством которых я когда-либо служил в течение моего военного поприща» [Давыдов, с. 505].

Автор настоящей работы в поисках других следов полемики «Жуковский—Грибоедов» старался познакомиться с немногими сохранившимися бумагами генерала. В Пушкинском доме в Ленинграде отложилось несколько десятков писем Жуковского к жене с Кавказа. Генерал-интендант постоянно напоминает о своей материальной зависимости от службы, повторяет, что «должен был спешить к должности» [ПД, ф. 513, № 15, л. 168]; он регулярно посылает домой трофеи, в частности персидские шали, порою довольно оживленно излагает впечатления.

17 июня 1827 г. из Эчмиадзина: «Вот, мой милый друг сердечный, где я теперь — у подошвы горы Ара-рат, славной Ноевым пристанищем. Но гора сия, среди зноя, какой мы на равнине терпим, покрыта снегом, и потому остаток ковчега Ноева невидим. Кажется, эти места слишком согрели, в них нет теперь той прелести, какую история восхищает нас» [там же, л. 171].

15 декабря того же года из Тебриза: «Мы живем в харамах серальских; где заключены были красавицы наследника шаха, теперь дежурства да канцелярия. Я живу в жилище главного евнуха, который был стражем над стражами сералей... Вот как превратны судьбы человеческие в мире» [там же, л. 196].

После окончания персидской кампании Жуковский восхищен «миром блистательным, какого и не ожидали... Кроме новых земель — 10 куруров, 20 миллионов серебром; половина уже в наших руках, в моем интендантстве» [там же, л. 213].

Как видим, генерал в общем занят теми же делами, что и Грибоедов; они рядом в одних местах — дипломат «выбивает» куруры, интендант их приходит. Однажды на жалобы и упреки супруги Жуковский отвечает

словами, заставляющими вспомнить, что перед нами рецензент грибоедовского проекта: «Ты пишешь, мой друг, что мы пользуемся здесь азиатскою роскошью. Эта роскошь в повестях только привлекательна, а здесь, в натуре, весьма незавидна. Когда повести писаны, тогда европейской утонченной роскоши еще не было. Теперь азиатская роскошь — скотская, непривлекательная для европейца с понятиями высшими [...]

У нас хотя мох растет и зеленеет, а здесь все сгорает от зноя, где не орошено водою из каналов, тут-то работа; но парод рабочий, издревле не учившийся работать. Когда[-то] Европа была во тьме невежества, теперь Европа далеко опередила. Здесь дешевые пряности — гвоздика, корица, мушкатный орех — все идет прямо из Индии. Шали почти в той же цене, что и в России» (8 марта 1828 года, *Тевриз* [там же, л. 217—218]).

Автор писем, как видим, «человек простой», служака, неглупый, дельный. Но главное, что взволновало исследователей еще в 1950-х годах, — никакой он не декабрист!

Скорее уж наоборот — правая рука Паскевича (в письмах не устает восхвалять генерала); к тому же молва, что «крепко на руку нечист...».

Как только выяснилось, что оппонентом Грибоедова был вовсе не полковник Бурцов, а генерал Жуковский, зазвучали, во-первых, ехидные потки в адрес Тынянова, который вложил в уста декабриста слова, произнесенные человеком совсем иного склада. Во-вторых, в разных работах по-разному, но в общем сложилась концепция простая и как будто убедительная: Грибоедов пытался осуществить проект, который развил бы производительные силы Закавказья; проект буржуазный (иногда пишут — «буржуазно-демократический» [Лебедев, с. 269]). Подобный замысел имел, следовательно, прогрессивный характер, и не случайно его остановили реакционные силы: генерал-крепостник, человек старого закала, использовал свое влияние на другого генерала-крепостника, Паскевича; последний же проводил линию царя-крепостника Николая.

О. П. Маркова, доказавшая, что рецензентом проекта был М. С. Жуковский, не обошла, впрочем, одну острую, щекотливую проблему (хотя и ей было найдено определенное историческое оправдание): «Пункт проекта о покупке крестьян и обязательстве их работать

на плантациях в течение 50 лет несомненно противоречит прогрессивному характеру проекта. Однако необходимость заставляла считаться с отсутствием свободных рабочих рук в Закавказье и с крепостнической действительностью внутри России» [Маркова, с. 331].

Любопытная получилась ситуация! В течение более полувека исследователи порою противоположных воззрений (Мальшинский, Тынянов, Нечкина, многие другие) не оспаривали саму возможность того, что «отрицательную рецензию» на проект мог написать декабрист. Критика монополии, защита свободной конкуренции, упреки за превращение российских крестьян в «плантационных негров», замечания насчет недооценки закавказских народов — все это казалось признаком своеобразного передового воззрения, все это *мог сказать* декабрист...

Но вот открылось, что рецензент совсем не декабрист. И тот же самый текст уж кажется кое-кому консервативным, реакционным; отныне особое внимание обращается, например, на реплику генерала, имеющую характер полудоноса, что-де Грибоедов хочет сделать из Закавказья Соединенные Штаты, т. е. республику.

Трудная профессия у историков.

Известно немало случаев, когда в том или ином документе не менялось ничего — только имя автора! — и текст вдруг представлялся иным.

Слов нет, если под обычным стихотворением подписано *Пушкин* (пусть гениальности особой не видно, но мало ли чего гений не набрасывал), мы, конечно, тут же поместим эти стихи среди других, безусловно пушкинских, гениальных; и соседние строки бросят на обнаруженный текст свой ответ; и стихи покажутся нам во много раз прекраснее, чем совершенно те же строки, но подписанные, скажем, именем *Соболевского* (мы подразумеваем реальные случаи переадресовки). Или другой эпизод: в журнале «Современник» в тот перпод, когда его вели Чернышевский, Добролюбов и Некрасов, была помещена любопытная рецензия на исследования историка Устрялова (того самого, кто по приказу Николая I пытался стереть заслуги Ермолова — подробнее см. гл. 5). На этот раз оценивался труд Устрялова о Петре Великом, где впервые публиковались интереснейшие, весьма впечатляющие материалы об аресте и казни царевича Алексея Петровича. Долгое время по ряду признаков автором рецензии считали

Добролюбова, и об этой работе писали как о ярком образце революционно-демократической публицистики... Позже обнаружилось, что автор — профессор Пекарский, тоже фигура во многих отношениях замечательная, но всего лишь либерал-прогрессист, не революционер: текст рецензии сразу показался бледным, умеренным. Прошло, однако, еще немного времени, и автор данной работы отыскал в архиве признаки редакционной обработки, которой Добролюбов подверг текст Пекарского. Значит, революционер-демократ все же имел отношение к делу!

И опять станем по-иному читать тот же самый текст... До нового открытия?

Случай с Бурцовым и Жуковским в том же роде.

О. И. Попова (1964 г.): «В противоположность Бурцову, заядлый реакционер М. С. Жуковский сделал все, чтобы погубить проект Грибоедова, представляя его статьи (нужно отдать ему справедливость, с большой находчивостью и мастерством, обладая, видимо, незаурядным умом и образованием) в превратном, искаженном свете» [Попова, с. 119].

С. А. Фомичев (1980 г.): «Проект Российской Закавказской компании, явившийся итогом его [Грибоедова] изучения Востока, сложился в мыслях человека той эпохи, когда, по выражению Пестеля, „дух преобразования заставлял умы клочкотать”» [Гр. Восп., с. 12].

А. Лебедев (1980 г.): «Конечно, проект Грибоедова существенно отличался от декабристских проектов преобразования России. Но объективно не противостоял этим проектам» [Лебедев, с. 271].

Может быть, не стоит торопиться?

Жуковского знаем мало, но даже недоброжелатели признают: умный генерал... Ум же движется противоречиями, постоянно стремясь вырваться за узкие рамки сословия, класса (недаром от ума — горе). Известно немало случаев, когда революционерам, прогрессистам приходилось серьезно задумываться над тонкими, ехидными, пусть и пристрастными наблюдениями противников. Случалось, что критика *слева* той или иной системы внешне сильно совпадала с «правой критикой»: цели совершенно противоположные, но слова произносятся весьма сходные; так, Карамзин в записке «О древней и новой России» обличал российское управление с консервативных позиций, но с «якобинским

темпераментом», в результате записка оставалась в течение многих десятилетий столь же цензурно запретной, как и документы декабристов, как великая комедия Грибоедова.

Совсем недавно критику верноподданного генерала Жуковского принимали за текст декабриста Бурцова...

Меж тем и Бурцов ведь критиковал проект Грибоедова—Завилейского. Паскевич, действительно, и ему посылал полученный документ на «вторую рецензию»; вернее, Жуковский, прежде чем написать собственный отзыв, предложил высказаться Бурцову: «Бурцов по рассмотрении дал мнение нерешительное, ужасался только предприятию столь огромному, от которого опасался последствий для Компании неблагоприятных, по несоответственности способов предприятию и самой натуре вещей» [Маркова, с. 389].

Настала пора поговорить о полковнике Иване Григорьевиче Бурцове, уже давно появившемся в нашем повествовании, но предположительно, зыбко, «под чужим именем».

Бурцов, декабрист, видный член тайных обществ с самого их основания (между прочим, принял в тайный союз Пущина и некоторых других известных заговорщиков).

Позже Бурцов разошелся с Пестелем и другими наиболее решительными декабристами, исповедуя сравнительно умеренные средства борьбы, но в 1826 г. все же был взят под арест и отправлен в крепость: за «давние грехи»; за то, что *не донес...*

Поскольку вина Бурцова все же была меньше, чем у других, а способные офицеры необходимы, ему в конце концов сохраняют дворянство, чин и в 1827-м отправляют прямо на Кавказ «с учреждением строгого секретного надзора».

Против персов и турок Бурцов действовал столь блестяще, что Паскевич, ревнуя и завидуя, не мог умолчать о его заслугах и докладывал царю: «Полковник Бурцов был употреблен в самых важных местах и исполнял все поручения с отличным рвением, распорядительностью и примерной храбростью» [ИРГ, арх. Вейденбаума]. Вскоре его наградили Георгием IV степени, дали чин генерал-майора. «Я подозреваю,— вспоминал декабрист Басаргин,— что [Бурцова] тяготила мысль об участии товарищей, из коих многие были его друзьями и им приняты в Общество. Эта мысль заставляла его, ве-

роятно, бросаться в опасности с намерением погибнуть или отличиться так, чтобы иметь право на особенное внимание государя, и тогда просить о сосланных товарищах своих» [Басаргин, с. 66].

Бурцов был известен в армии не только военными способностями, но и как эрудит, статистик, экономист. Сохранились бумаги и проекты по некоторым проблемам закавказского устройства, которые он разрабатывал для главнокомандующего. И, конечно, не случайно Паскевич предложил именно Бурцову и Жуковскому оценить грибоедовский проект: оба разбираются в предмете...

Бурцов написал свое мнение осенью 1828 г., за несколько месяцев до гибели Грибоедова. И своей собственной.

19 июля 1829 г. в сражении с турками 35-летний генерал был смертельно ранен. Похоронен он в соборе города Гори.

В пушкинском «Путешествии в Арзрум» находим: «Получено было печальное известие, что генерал Бурцов был убит под Байбуртом. Жаль было храброго Бурцова...»

БУРЦОВСКОЕ МНЕНИЕ

Более тридцати лет назад отзыв Бурцова на грибоедовский проект («Мнение об учреждении Роспийской Закавказской компании») был обнаружен среди бумаг Паскевича [ЦГИА, ф. 1018, оп. 3, № 233]. Текст был атрибутирован, изучен А. Иоселиани, И. К. Епиколоповым, В. Б. Макаровым и другими исследователями (см. [Епиколопов, с. 128—129; Макаров, с. 59—61; Попова, с. 118—119] и др.).

Первые комментаторы бурцовской рецензии в духе господствовавших в 1950-х годах воззрений стремились всячески «завысить» прогрибоедовские, декабристские мотивы текста; возражения же Грибоедову толковались как конспиративная осторожность (см. [Епиколопов, с. V—VI]). Позднейший исследователь, однако, справедливо констатирует «отрицательное отношение» Бурцова к проекту Грибоедова—Завилейского, но, к сожалению, не уточняет, в чем же суть возражений; ограничивается довольно общими формулировками, что «критика несет на себе печать декабристской идеологии» (см. [Макаров, с. 60—61]).

Меж тем спор, в котором участвуют великий писатель, видный декабрист и неглупый генерал, достаточно интересен и важен, чтобы снова обратиться к бурцовскому тексту.

«Бесспорно, — пишет Бурцов, — что закавказские страны, щедро одаренные природою [...] представляют обширные выгоды для России, если явятся люди, способные раскрыть эти дары, и если они приложат к тому достаточные капиталы.

Компания, устроенная на обдуманых правилах и составленная из одних русских акционеров, принесет великую пользу государству: она не допустит в сей краю применения капиталов чужеземных и тем всю прибыль, ожидаемую от возрастания капиталов, сюда внесенных, обратив в недра нашего отечества, послужит и обогащению оною. Эту мысль почитаю я самую важнейшею и, так сказать, основною для составления компании и для всех ее действий...»

Прервем цитирование. Бурцов, очевидно, принимает точку зрения Грибоедова и его соавтора Завилейского; идея компании одобрена... Но затем полковник осторожно начинает против некоторых вещей возражать; неторопливо, основательно разбирая возможности развития разных отраслей, он просит не забывать о «препятствии климата неодолимом и губительном», а также «довольствоваться сколько возможно в краю необходимыми людьми и способами с применением только неизвестных здесь искусств, учреждать заводы простые и служащие к первой отделке грубых веществ, но отнюдь не вдаваться в многосложные мануфактуры, доколе просвещение не озарит сей страны яркими лучами и стечение способных людей не сделается весьма приметным».

Бурцов, очевидно, не одобряет идеи доставки крепостных работников из России: советует «довольствоваться» минимальным.

Когда же речь заходит о монополии, которую просят для компании Грибоедов и Завилейский, декабрист отвечает: «Относительно испрашиваемой компанией общей привилегии на все отрасли промышленности я нахожу, что она, сковывая на полвека все успехи ума и деятельности здешних необразованных народов, могла бы им показаться весьма обременительною, и переход от главных правителей компании к частным лицам, не всегда благонамеренным, мог бы соделаться поводом к

неправильному стеснению; почему и полагаю удобнейшим оставить внутренней торговле и промышленности всю настоящую полную свободу, но в то же время огрaдить права и выгоды компании пределом торга внешнего, под коим разумею я и торг с Россиею».

Из рассуждений Бурцова, несколько тяжеловесных по слогу, хорошо видно, что полковник *против монополии*: закавказские народы были бы ею недовольны, тяготились ограничениями собственной торговли и предпринимательства. Рецензент предлагает Грибоедову и Завилейскому сузить размах, учредить компанию не столь уж всемогущую...

В общем, Бурцов куда более мягок и сдержан по отношению к Грибоедову, нежели тот, «тыняновский» Бурцов, который в «Смерти Вазир-Мухтара» произносит слова генерала Жуковского. Но все же в одном из самых главных вопросов Жуковский и Бурцов согласны: пусть будет в Закавказье свобода ремесел и торговли; компания с правами Ост-Индской, «государство в государстве», отвергнута,



Глава 4

„Есть мука — Кемоч отрады...“⁶⁶

..Кто б терзаться ею стал?

Гёте



Сегодня, в конце XX столетия, размышляя над грандиозными грибоедовскими планами, мы стремимся понять: была ли историческая правота за Грибоедовым и Завилейским, или их оппоненты имели свой резон? Зная мнение Бурцова, а не одного Жуковского, конечно, не станем ограничиваться «ярлыками»: раз декабрист критикует, значит, он прав — и наоборот.

Мы уже знаем мнение защитников великого Грибоедова: если бы вышло по его разумению, то буржуазное или буржуазно-демократическое развитие России сильно продвинулось бы вперед. Признаемся, однако, что столь же легко обосновать и другое мнение: десятки тысяч мужиков, насильно переведенных из России «в тропики», — хорошо ли?

Строй Кавказа и Закавказья — отсталый, феодальный, кое-где даже первобытный; не лучше ли с точки зрения общеисторической оставить коренных жителей в покое, дать им возможность развиваться путем естественной конкуренции, постепенной эволюции? Монополия, исключительная привилегия — отнюдь не большая радость для прогресса. Такой путь к повому, внешне более прямолинейный, вероятно, искривил бы развитие грузинской, армянской, азербайджанской экономики.

Обратимся к аналогиям с Ост-Индской компанией. М. В. Нечкина настаивала, что сравнивать нельзя, так как «в самом проекте Грибоедова нет никаких ссылок на Ост-Индскую компанию», а кроме того, «Ост-Индская торговая компания не ставила пред собою никаких

производственных задач: она грабила готовое и монополю торговала» [Нечкина, с. 519]. Оба эти соображения можно оспорить.

В грибоедовских материалах (судя по выпискам Жуковского из недошедшего основного текста проекта) ссылки на Ост-Индскую компанию были (см. [Маркова, с. 357—359]).

Английские торговые монополисты, естественно, связывали свою деятельность с поощрением или разрешением определенных форм индийского производства, иначе не было бы того «готового», что они грабили. Различие между торговой и торгово-промышленной монополией здесь не следует преувеличивать. Меж тем исследовавший деятельность Ост-Индской компании Карл Маркс сосредоточил огонь своей критики именно на монополии: «Эра мнимой свободы была в действительности эрой монополий [...] лондонские, ливерпульские и бристольтские купцы прилагали все усилия к тому, чтобы сломить торговую монополию Компании...» [Маркс, с. 151, 157]. Для европейской, в частности английской, экономики старинные (из эпохи первоначального накопления) монополии были уже анахронизмом, тормозом свободной конкуренции. Эта форма эксплуатации была в то же время особенно мучительна для колоний: «...бедствия, причиненные Индостану британцами, по существу, иного рода и неизмеримо более глубоки, чем все бедствия, испытанные Индостаном раньше. Я не говорю здесь о европейском деспотизме, возвращенном Ост-Индской компанией на почву азиатского деспотизма, что дает в результате сочетание более чудовищное, чем священные чудовища [...] в храме Сальсетты» [там же, с. 131].

Каков же исторический итог, объективный результат деятельности подобных компаний?

Мы уже не раз цитировали современных авторов, говорящих о прогрессе, поступательном буржуазном развитии.

С этим нельзя не согласиться, но этого мало, этого явно недостаточно! Вот как подытоживается 250-летняя история Ост-Индской компании в статье «Британское владычество в Индии»: «Вопрос заключается в том, может ли человечество выполнить свое назначение без коренной революции в социальных условиях Азии. Если нет, то Англия, несмотря на все свои преступления, была бессознательным орудием истории, вызывая эту революцию. Но в таком случае, как бы ни было при-

скорбно для наших личных чувств зрелище разрушения древнего мира с точки зрения истории, мы имеем право воскликнуть вместе с Гете:

Sollte diese Qual uns quälen
Da sie unsre Lust vermehrt,
Hat nicht Myriaden Seelen
Timur's Herrschaft aufgezehrt?

Если мука — ключ отрады,
Кто б терзаться ею стал?
Разве жизнью мириады
Тамерлан не растоптал?»

[Маркс, с. 136]

Как видим, говоря о прогрессивной исторической роли хищных, жестоких капиталистических объединений, Маркс, во-первых, допускает для отставшей Азии возможность других, альтернативных, менее кровавых исторических путей (кроме пути «коренной революции в социальных условиях»); во-вторых, всячески подчеркивает трагичность процесса, которому отнюдь не отпускаются нравственные индульгенции. Естественно, возникает мысль, каково поведение мыслящего человека XIX в. по отношению к такому прогрессу: активно участвовать в «ломке Азии» только потому, что это исторически неизбежно, или искать другой, оптимальный путь, не тот, каким пойдут прогрессивные эксплуататоры?

Через несколько лет после гибели Грибоедова о кавказских делах рассуждал один из самых «закоренелых» противников самодержавия, ссыльный декабрист Лушин: «Каждый шаг на север принуждал нас входить в сношения с державами европейскими. Каждый шаг на юг вынуждает входить в сношения с нами. В смысле политическом взятие Ахалциха важнее взятия Парижа. Если дела Кавказа немощны, несмотря на огромные средства, употребляемые правительством, это происходит от неспособности людей, последовательно назначаемых вождями войск и правителями края. Один покоритель Эривани по своим военным талантам отделен от группы этой старой школы. Но он явился мгновенно в главе армии, а в этой земле падо не только покорять, но и организовывать. Система же, принятая для достижения последней цели, кажется, недостаточна, ибо не удалась на равнинах запада, как и в горах юга» [Лушин, с. 15].

Как видим, декабрист находит исторически прогрессивным продвижение России за Кавказ; издали идеализирует Паскевича, однако зорко замечает то же, что видел Грибоедов вблизи: необходимость коренной перестройки управления, «организации»... Из всего этого Лушин, однако, не делал никаких выводов о полезности своего личного участия в кавказских походах и высмеивал друзей, просивших перевода с Сибири на Кавказ...

Объективная прогрессивность и субъективное участие — сферы, отнюдь не обязательно совпадающие...

К тому же возникала тяжкая тема: надвигающиеся перемены и взгляд на них «отставших народов».

Каково было мнение закавказских жителей о Закавказской компании?

Оно почти не слышно, и тем более интересно обратиться к отзыву друга и родственника Грибоедова, видного писателя и мыслителя Александра Герсевановича Чавчавадзе. Он, конечно, хорошо знал идеи своего зятя, когда (через несколько лет после его гибели) составил «Краткий исторический очерк Грузии и ее положение с 1801 по 1831 год»; более того, некоторые разделы очерка, как справедливо заметил В. С. Шадури, кажутся почти заимствованными из грибоедовского проекта (см. [Шадури I, с. 511—512]). «Закавказье, — читаем мы в работе Чавчавадзе, — включает в себе весьма мало неудобных мест, большая часть ... земли способна на производство самых тропических растений, но в соразмерности ее плодородного пространства весьма ощутителен недостаток рук» [КС, т. 23, с. 24].

Однако при всем при этом Чавчавадзе спорит с Грибоедовым (впрочем, не называя покойного зятя по имени). Он против переселения крестьян из России; уверен, что рабочую силу для будущей промышленности можно найти среди коренного населения, тем более что «тропические произведения [...] не иначе рождаются, как в самых жарких странах, пагубных для северных жителей» [там же].

Другое возражение Чавчавадзе — против монополий, особых привилегий: «Этот край [...] при деятельности, возбужденной соревнованием, в самое короткое время заменит России лучшие индийские и американские колонии и щедро вознаградит попечения своего благодетеля» [там же, с. 2].

Итак, разные осведомленные современники сомневаются: соответствует ли грибоедовская компания наиболее естественному ходу вещей? Органична ли для России стадия старинных, «первоначальных» монополий?

1.

Историки очень опасаются разговоров на тему, «что было бы, если бы...». Думаем, однако, что уж чрезмерно пугаться не стоит. То, что не сбылось, но было задумано, тоже важно, тоже история (вспоминается Александр Грип, который писал, что «несбывшееся зовет нас, и мы оглядываемся, стараясь понять, откуда прилетел зов»). Из сложной суммы исторических сил выходит историческая равнодействующая: факт, поступок, событие... Но жизнь отнюдь не сводится только к сумме, средней цифре — она кипит и в каждом слагаемом (иначе не было бы на свете ни детей, ни стариков, а только «среднестатистический возраст»).

Впрочем, не очень опасаясь разговора, «что было бы, если бы...», согласимся: прежде хорошо бы узнать, *что было!*

ГРУЗИНСКИЙ АРХИВ: СНОВА И СНОВА...

Последние рабочие дни в Центральном историческом архиве Грузии.

Уже скопированы и сданы листки, обозначившие «раскаленный треугольник»: Грибоедов — Ермолов — Паскевич...

Уже поняты и списаны инструкции о торжественной встрече и проводах чрезвычайного и полномочного министра в Персии статского советника Грибоедова.

Уже угаданы «архивные пустоты», где находились некогда грибоедовский проект и два отзыва на него; бумаги, ушедшие вместе с большим начальником и окопчившие свои странствия в Петербурге.

17 июля 1828 г. Грибоедов и Завилейский, как уже говорилось, ставят свои подписи под проектом. 7 сентября проект послан Паскевичу «на заключение».

Однако сам Грибоедов, по-видимому, настроен довольно оптимистически: два месяца спустя, 30 октября 1828 г., в Тебризе вот что записывает (явно со слов «шефа») второй секретарь Российской миссии в Персии Карл Федорович Аделунг, милый человек, которому в Тегеране суждено разделить судьбу посла: «Грибоедов и Завилейский [...] передали императору, план За-

кавказской экономической и торговой компании, которая, вероятно, будет основана, так как и Паскевич написал об этом императору; если это произойдет — Грибоедов пошлет меня в будущем году в Кашмир, чтобы там закупить шерсть и пригнать овец...» [Гр. Восп., с. 190].

Ровно через три месяца, 30 января 1829 г., Грибоедов растерзан в Тегеране.

Среди погибших бумаг наверняка была одна из копий проекта Российской Закавказской компании.

Разбор персидских дел, трагической тегеранской интриги не входит в наши планы.

Тифлис, Кавказ, Россия больше не увидят живого Грибоедова.

Чуть позже «Тифлисские ведомости» поместят несколько строк о могиле Грибоедова, над которой еще не успел подняться памятник: «Тут лежит Грибоедов, — думал я, — и камень этот безгласен... И я в таком же восхищении от последней завещательной мысли Грибоедова быть похоронену у Святого Давида, как от гениальной прелести, беспрестанно встречаемой в бесмертном его творении „Горе от ума“» [Тифл. вед., 1831, № 9—11, с. 81].

Грибоедова не было — проект же, как ни странно, еще жил.

Через три с половиной месяца после тегеранского убийства Паскевич подписывает важный документ «О бедственном положении грузинского народа». Главная мысль этой бумаги в том, что из-за двух войн ему, Паскевичу, было недосуг заняться гражданской частью, а там — «злоупотребления, разнообразные формы правления, слабый надзор, страдания народа, недостаток правосудия». Сверх того, генерал жалуется на отсутствие надежного статистического описания Закавказья, из-за чего империя не получает там «экономических выгод».

Паскевич сам просит, чтобы из Петербурга во «вверенный ему край» прислали настоящих, суровых ревизоров (в докладе после того были написаны, но все же при переписке зачеркнуты уж слишком откровенные фразы о беспорядках и злоупотреблениях, «которые были допущены даже во время моего управления сим краем и могли бы дойти до сведения Вашего Величества»).

Генерал напуган. Так и кажется, что многое здесь

заимствовано из вступительного, критического раздела недавно представленного проекта Закавказской компании. Любопытно, что главнокомандующий винит во всех неурядицах тифлисского генерал-губернатора Сипягина, но хвалит распорядительность гражданского губернатора Завилейского, из чего возникают серьезные подозрения, что соавтор Грибоедова был вдохновителем записки «О бедственном положении грузинского народа» и заменил Грибоедова на посту «сочинителя» (см. [АК, т. VII, с. 18—20]; черн. текст [ЦГИАГ, ф. 2, оп. 1, № 2275]). Действительно, в эту пору и сам Петр Демьянович Завилейский пишет разные бумаги «от себя» — тоже близко к тексту недавнего проекта. Он обращается чаще всего к министру финансов, и из переписки легко усмотреть, что этот сравнительно молодой чиновник — «человек Канкрин», надеющийся на поддержку могучего финансового ведомства. Иногда кажется, что соавтор, оставшийся в живых, вообще стремится «дублировать» Грибоедова; между прочим, просит руки Нины Александровны Грибоедовой, но успеха не имеет... (см. [Гр. Восп., с. 75]).

Вчитываясь в копии тех писем, что Завилейский посылает в Петербург, видим, что он рассуждает на старую тему, очень интересную министра финансов: как окупить хотя бы часть расходов по управлению Закавказья и содержанию там войск? Сверх того, Завилейский постоянно толкует о необходимости расширения российской торговли в новых провинциях, о рынках сбыта на Востоке и пр.

Закавказская компания вроде бы не упоминается, но явно подразумевается.

«Проект сей, уничтожающий почти совершенно власть Паскевича, не мог ему нравиться, и он впоследствии времени не был взят во внимание никем. Когда же Грибоедов, женившись, уехал в Персию, то Завилейский, полагая себя как бы поверенным Грибоедова, сильно вступался за оный и уверял даже, что он находился на рассмотрении у министра финансов в Петербурге. Таким образом, он мне однажды прочитал довольно длинное вступление к сему проекту. Оно было начертано Грибоедовым и было чрезвычайно заманчиво как по слогу, так и по многообразию новых мыслей, в оном изложенных; но по внимательном рассмотрении вся несообразность огромного предположения сего остановилась ясною, и никто не остановился бы на

сем любопытном, но неудобосостоятельном предположении, от коего Завилейский приходил в восторг. Я же готов думать, что Грибоедов, получив назначение министра в Персии, значительные выгоды и почести, сделался равнодушнее к своему проекту и, обратясь к новому предмету, стал бы о прошедшем говорить с улыбкою, как о величественном сне, им виденном...» [Гр. Восп., с. 67].

Николай Николаевич Муравьев цитируется в нашей работе неоднократно; его точные мемуары основаны на дневниковых записях. Муравьев Грибоедова недолюбливал, и тем интереснее его лестные слова насчет мыслей и слога грибоедовского проекта; образ же «величественного сна», который поэт видел, воображая будущее компании, неожиданно окажется довольно точным.

Но тут, полагаем, пора предупредить читателя, что на этих и следующих страницах неоднократно возникнут скучноватые, сухие, политэкономические материи; кажется, однако, нет другого способа, как с их помощью выйти к сюжетам в высшей степени поэтическим, к «величественному сну»...

М. К. Рожкова в 1949 г. опубликовала содержательную книгу «Экономическая политика царского правительства на Среднем Востоке во второй четверти XIX века и русская буржуазия». В этой работе содержится много очень пужных для нашего разговора фактов; между прочим, публикуется письмо Завилейского Канкрипу, отправленное в мае 1830 г. (Рожкова пашла его в Ленинграде в фонде министерства финансов). Грузинский губернатор напоминал министру, что еще два года назад он и покойный Грибоедов предлагали создать компанию «чтобы закавказские провинции России соделались складочным местом сухопутной торговли Европы с Азией»; Завилейский сообщал, что он «не отказался от намерения привести в исполнение хотя некоторую часть мыслей, распространяя мало-помалу жизнь и деятельность за Кавказом» [Рожкова, с. 95].

Написано дипломатически, с опасением отпугнуть министра огромностью грибоедовских замыслов, но и «не отказываясь от намерений».

Таким образом, Паскевич держит проект на столе, один из соавторов Грибоедова занимает важный губернаторский пост.

За чем же дело стало?

Грибоедова нет — проект еще живет.

«Тифлисские ведомости» — интереснейшая газета, выходявшая три года (1828—1831) под редакцией Павла Степановича Санковского (позже его дочь-сироту воспитает Нина Александровна Грибоедова). В ту пору провинциальные газеты были печальны: пройдет несколько лет, пока правительство не издаст приказ завести их в каждой губернии и тем погонит панику на местные власти, ибо грамотных литераторов решительно нет, так что срочно пришлось обратиться... к политическим ссыльным (поэтому, например, первым редактором «Владимирских губернских ведомостей» был не кто иной, как высланный в тот город Александр Иванович Герцен).

«Тифлиссские ведомости», впрочем, выходили без приказа, по «инициативе снизу», оттого, вероятно, и выходили недолго...

Газета со статистическим обозрением и описанием путешествий; раздел «Изящная словесность» представляли и повести А. Б. (Александра Бестужева), и статьи за подписью «Благодарный армянин».

Один из самых значительных материалов, занявший целый номер с продолжением (о чем уже мельком говорилось выше), — это торжественное объявление об открытии *Закавказской торговой компании* [Тифл. вед., 1831, № 12—14, с. 105—112].

Множество романтических слов и оборотов свидетельствовало о том, как пришельцы с севера смотрели в ту пору на Закавказье: «Роскошная природа края», «тропическая Индия», «благословенное изобилие вина, шелка, сарачинского пшена [т. е. риса], краски, лекарств».

Вывод ясен: «необходимо могущественное соединение талантов, познаний, капиталов и деятельности».

Затем идет текст, обходящий некоторые рифы и, конечно, отредактированный Завилейским: «Сначала лица, преимущественно занимающиеся сим делом, понимая все трудности своего предприятия, соображая возможности неудач в одном отношении, но могущие быть вознагражденными в другом, и руководимые пламенным желанием всеобщего, столь удобного правительству улучшения в закавказской торговле и промышленности, назначили было обширный круг деятельности сей, вновь предполагавшейся компании, и потому желали испросить ей название Российско-Закавказской компании».

Далее излагается старый проект Грибоедова, впрочем без упоминания о 120 тысячах десятин и доставке рабочей силы из России: «Проект сей компании (составленный статским советником А. С. Грибоедовым и статским советником П. Д. Завилейским) вместе с уставом был представлен на благоусмотрение его сиятельству г. главноуправляющему здешним краем [...] Просвещенное и глубокое критическое обозрение сего проекта и дальновидная осторожность, возбужденная обширностью сего дела и толикою его новостью, имели влияние на приостановление немедленного учреждения сей обширной компании. Очевидною сделалась необходимость подробно рассмотреть проект по частям, особенно касательно обстоятельств его исполнения, и тогда убедились, что самая верная и беспрепятственно скорая его сторона есть собственно торговля».

Из этих витиеватых, длинных периодов можно понять, что Паскевич после рецензий Жуковского и Бурцова не дал компании права монопольно производить — только торговать...

Торговать есть чем, и выгода как будто гарантируется. Ведь русским купцам совсем непросто сбывать мануфактуру и другие товары на рынках Закавказья и Среднего Востока: ну что же, компания возьмет на себя посредничество! Обратно же в Россию она поможет доставлять шелк, вино, хлопок, красители и пр.

Если дело пойдет, рассуждала газета, тогда, вероятно, можно будет приступить и к созданию «компании с первым видом», т. е. той старой, грибоедовской! Подобную возможность Завилейский, видно, уже согласовал с Петербургом.

В одном же из следующих номеров «Тифлисских ведомостей» (№ 18—20, март 1831 г.) публиковался фрагмент грибоедовского вступления к проекту: редакция надеялась «доставить двойное удовольствие читающей публике: во-первых, видеть изложенными оригинальным, смелым и правильным образом предметы, имеющие всю цену новости; во-вторых, читая творения, в коем участвовал человек, заслуживший бессмертную память в нашем отечестве, — А. С. Грибоедов».

В общем, весной 1831 г. новая компания, ближайшая родственница старой, с должным пафосом и торжественностью представляется на суд общества. Дело объявлено солидное: центр компании в Тифлисе, конторы в Москве, Владикавказе, Астрахани, Баку.

Тут же газеты приводят список первых акционеров — и какой!

«Закавказская торговая компания гордится, считая между своими акционерами его сиятельство генерал-фельдмаршала графа Паскевича Эриванского и многих значительных особ, в Закавказском крае находящихся». Перечень «значительных особ» представлял читателям, можно сказать, всю верхушку российского управления и местного общества: среди подписавшихся находим генерал-майора Чавчавадзе и генерал-майора Жуковского (главного рецензента); в списке князя Орбелиани, Эристовы, Багратионы, Палавапдовы, «статская советница Грибоедова» и многие, многие другие.

Собрание учредителей избрало попечителем полковника Кошкарева, а старшим попечителем, конечно же, статского советника Завилейского.

Мало того, газета объявляла, что правительство, т. е. сам царь и министр Канкрин, выразило желание приобрести десять акций по тысяче рублей каждая. В самом начале было раскуплено акций на 171 тысячу рублей, но общее собрание в Тифлисе сочло минимальной суммой, с которой стоит начинать, 300 тысяч рублей. Когда они будут собраны, компания начнет действовать. Остается совсем немного...

ПОСЛЕДСТВИЯ

В газете о дальнейшей судьбе компании ни слова, тем более что вскоре «Тифлисские ведомости» прекращаются. Продолжение истории — в «архивных дебрях»...

Биография грибоедовского детища отыскалась в большом деле «Об учреждении в г. Тифлисе акционерной компании под названием „Закавказское торговое дело“» [ЦГИАГ, ф. 2, оп. 1, № 2510].

Удивительная история, развития которой не мог знать Грибоедов; однако, когда мы дойдем до развязки, она бросит обратный ответ на некоторые важнейшие обстоятельства его биографии.

Толстое дело, переполненное организационными и бухгалтерскими подробностями. Понятно, Завилейский очень активен, довольно часто пишет Канкрину и для пачала старается убедить благосклонного министра, как

хорошо было бы получить правительственное распоряжение, «чтобы в течение шести или десяти лет другой подобной компании за Кавказом основано бы не было» (отголосок прежнего, Грибоедовского замысла об исключительных правах). Министр, однако, находит, что «было бы неудобно стеснять такую привилегию других подобных торговых спекуляций» [там же, л. 12—13].

Как видим, Канкрин, так же как старые рецензенты, возражает против монополий. Забегая вперед, скажем, что зря волновался Завилейский: ни через шесть, ни через десять лет никто не покусится на что-либо подобное.

И все же какова судьба эффектно провозглашенного начинания?

Перелистываем лист за листом; идут 1830-е годы, от Грибоедова все дальше (хотя как забыть, что именно в это время разрастается его посмертная слава; в 1833-м — первое, хоть и с купюрами, полное издание «Горя от ума»).

Завилейский хлопочет... Вообще этот человек заслуживает отдельного изучения. Разумеется, Грибоедов брал его в соавторы в немалой степени из-за губернаторской должности, которую тот занимал в Грузии; из-за связей с министром финансов. Однако, по-видимому, не только в этом дело: позже к нам доходят отрывочные сведения о его свободомыслии, о попытках некоторого ограничения крепостнического произвола в Закавказье; наконец, о связях с грузинскими заговорщиками, собравшимися восстать в 1832 г. (см. [Шадури II, с. 91—95]).

Несколько лет назад И. Л. Андроников опубликовал интересную работу «Тетрадь Василия Завилейского», где речь идет о племяннике закавказского чиповника, близком к вольнолюбивым кругам. Там упоминается и Завилейский-дядя, с 1832 г. переехавший из Тифлиса в Петербург. В грузинском архиве попадает много грозных бумаг, требующих к ответу Завилейского за: разные его «прегрешения» во время губернаторства (см. [ЦГИАГ, ф. 2, оп. 1, № 4296]): дело явно пахло политической неблагонадежностью, и таким лицам при Николае I грозит немалая опасность. Однако все обошлось... Через несколько лет Завилейский снова служит — уже в Петербурге, в канцелярии министра финансов.

Человек Канкрина!

Итак, Завилейский вскоре уехал на Север — в Москву и Петербург, где находятся наиболее сильные российские фабриканты, заинтересованные в восточной торговле. Теперь у него как будто больше шансов с ними договориться, распространить достаточное для процветания компании количество акций...

Однако годы идут, а о компании ни слуху ни духу.

Правительство меж тем заинтересовалось: где же десять акций, за которые отдано десять тысяч рублей казенных денег?

Сменивший Завилейского тифлисский губернатор Палавандов отвечал (26 июля 1832 г.): «Насчет учреждения здесь Закавказской компании никаких сведений о том не имеется» [ЦГИАГ, ф. 2, № 2510, л. 27].

Затем еще два года казенной переписки.

В 1834-м Палавандов намекает: «По мнению моему, Закавказская компания образоваться и существовать [...] без начального пособия российских купцов и фабрикантов одними способами акционеров и здешних чиновников и торговцев решительно не может». Он поясняет, что местные армянские купцы «не склонны к взаимной доверенности», московские фабриканты молчат, грузинское же дворянство «слишком скудно капиталами и решительно не имеет никакой склонности к торговым оборотам» [там же, л. 42—43].

В общем, никто не дал ни копейки сверх 171 тысячи, собранных сразу; и ту сумму пришлось со временем раздать обратно...

В конце 1830-х — начале 1840-х было сделано еще несколько попыток создать «торговое депо», компанию для движения товаров через Кавказский хребет (см. [ИРГ, арх. Вейденбаума, № 86]).

И ничего не вышло!

Московские фабриканты (а ведь именно на них была вся надежда учредителей) не желали рисковать ради сомнительных, по их понятиям, закавказских предприятий; послать новую партию товаров с верным приказчиком, по старинке поискать новых покупателей у берегов Черного и Каспийского морей — это еще куда ни шло. Товар — это не капитал; капитал должен быть в безопасности, а Кавказ далеко, там жара, война, мало ли что может приключиться...

Может быть, иные из замоскворецких богачей еще не очень далеко ушли от тех описанных Грибоедовым сельских жителей, которые «читают только декларацию

о турецкой войне и ругают наповал персиян, полагая, что персияне и турки одно и то же» [Гр., т. III, с. 211].

Ни рубля.

Грибоедов и Завилейский воображали, что все произойдет примерно так, как в Англии XVII—XVIII вв.: власть и лорды сговариваются с воротилами — пушки наши, деньги ваши, джентльмены бьют с лордами по рукам, дают деньги и получают Индию...

Ни рубля.

В 1830-х

Однако мы угадываем естественные возражения: Грибоедов предлагал создать могущественную компанию, маленькое государство с землей, рабочей силой, портом. Как знать, если бы правительство утвердило именно *тот проект*, тогда не пришлось бы жаловаться на инертность, незаинтересованность русских и кавказских богачей...

Увы, и это неверно.

Во-первых, настроенное недоверие московских купцов было столь сильным, что никакие новые льготы их бы не прельстили: хотя бы несколько сот тысяч рублей вложили в торжественно провозглашенное, высшей властью поддержанное торговое депо 1831 г., но ведь не дали ничего! И это само по себе почти доказательство — что не вложили бы и рубля в компанию, предлагавшуюся в 1828-м!

Однако кроме этого предположения есть и другие, достаточно надежные доводы.

Дело в том, что, не разрешая грибоедовской компании привилегии, монополию и пр., правительство пробует «само распорядиться».

«Пустопорожние земли, которых у нас бездна», — записывает Грибоедов незадолго до смерти [РС, 1874, № 12, с. 748]. В Петербурге это учитывали, и комитет, составленный из высоких чиновников министерского ранга, еще в 1827 г. огорошивает Паскевича эффектной идеей: переселить в Закавказье, к персидской границе, «восемьдесят тысяч малороссийских казаков» (см. [АК, т. VII, с. 319, 322], большое «Дело о поселении 80 000 казаков на границе с Персией» в [ЦГИАГ, ф. 2, оп. 1, № 2036]).

Выгоды представлялись несомненными.

Во-первых, на границах с враждебной державой появится крепкий заслон.

Во-вторых, уменьшатся расходы на армию: казаки сами себя земледелием прокормят.

В-третьих, усилится российское влияние «на азиатцев».

В-четвертых, «повысится благосостояние бедных малороссийских крестьян».

В-пятых, Украина «освободится от излишка населения» (подразумевается, конечно, беспокойное казачество, еще не забывшее о вольностях Запорожской Сечи).

Царю проект нравится, Паскевичу предлагается поскорее прислать свои соображения.

Генерал сослался на трудности военного времени и просил подождать, а затем прислал ответ, возможно написанный тем же генералом Жуковским. Петербургским министрам объяснили, что для 80 тысяч казаков потребуется не менее двух миллионов десятин удобных земель. Меж тем такого количества нет — «разве будут переведены природные жители, что, однако же, сопряжено с большими затруднениями»; угодия же, которые можно бы предоставить казакам, «подвержены такому зною и так пагубны для здоровья, что даже природные жители, избегая болезней и смертности, на сие время удаляются в горы и там имеют летние кочевья свои» [ЦГИАГ, ф. 2, № 2036].

Петербург тем не менее не желал отказываться от заманчивого плана, настаивал, и в 1828 г. были разосланы специальные офицеры для отыскания пустующих полей.

Грибоедов, конечно, об этом слышал: может быть, именно потому и предлагал в своем проекте перевести русских крепостных на земли компании, что знал о сходных идеях правительства и тем более рассчитывал на успех!

Но вот войны с Персией и Турцией победоносно завершены, а вопрос все еще не решен. Любопытно, что чиновник, посланный к турецкой границе, где ожидали найти пустующие земли, дважды не смог проехать в тот край, из-за снежных завалов, эпидемий — а в третий раз... подал в отставку! [там же, л. 52 и сл.].

В ту же пору один из самых влиятельных сановни-

ков, граф Петр Александрович Толстой, 26 ноября 1829 г. замечает Паскевичу, что «с окончанием ныне войны государь император ожидает от Вашего сиятельства помянутого донесения» [там же, л. 53].

Спорить не приходилось, нужно выполнять. Однако и на этот раз у генерал-фельдмаршала и его советников нашелся сильный козырь против столичных прожектеров, не считавших избыток зноя и недостаток земель достаточно веским аргументом.

Дело в том, что с присоединением армянских территорий туда началось довольно значительное переселение армянского населения из Персии; в свое время этому важному, спасительному делу немало помогли опыт и знания Грибоедова. «Число сих переселенцев, — отвечал Паскевич Петербургу, — предполагается так велико, что и в необходимости нахожусь уделять под их водворение земли из тех, которые назначены для малороссийских военных казаков; ибо помянутые христианские выходцы преимущественно предпочитают всем прочим странам Грузию и сопредельные ей провинции, сколько по опыту их жизни, столько и по климату, сходному с климатом их родины. Отказать им в переселении в наши пределы, когда они прибегают под покровительство России, будет, по моему мнению, несогласно с милосердием и справедливостью Его Императорского Величества, ибо сии несчастные должны подвергнуться сильному гонению магометан, во власти коих они останутся; с поселением же их в других губерниях, в местах, им не свойственных, будет их участи крайнее расстройство; и тогда при предстоящих им бедствиях нельзя ожидать от них пользы» [там же, л. 59].

Выходило, что там, в столице, царь и советники предлагают проекты жестокие, вредные, от которых сильно ухудшилась бы судьба и 80 тысяч казаков, и местных жителей: усилилась бы рознь между народами; здесь же, в Тифлисе, Паскевич, конечно, не питает особых чувств к переселенцам и думает не о гуманности, но о пользе, целесообразности с точки зрения имперской. Однако должно признать, что Паскевич с помощью толковых секретарей и советников в данном случае рассудил верно и, как любят говорить историки, «объективно прогрессивно...»

Судьбы народов, как видим, идут «путями неисповедимыми», и носителями блага иногда становятся люди, которых мы никогда не заподозрим в благих наме-

рениях; так и вспоминается пушкинская фраза (относящаяся, впрочем, к другой ситуации): «Добро делалось пенарочно».

Еще и еще по грузинским архивам наблюдаем попытки переселения российских крестьян (а также землевладельцев) за Кавказ; попытки, понятно, нас особо интересующие «по грибоедовской линии».

Один из проектов был предложен не кем иным, как нашим постоянным знакомцем Петром Демьяновичем Завилейским. Незадолго до своего окончательного отъезда из Грузии гражданский губернатор предложил продать русским чиновникам закавказские земли, прежде принадлежавшие ханам, бекам и другим феодалам, которые не ладили с Россией и бежали в Персию, Турцию.

Опять же выгода представлялась очевидной, а мы в строках Завилейского легко угадываем грибоедовские мотивы (черновик «Записки о раздаче земель чиновникам в данном крае», составленный Завилейским для Паскевича 3 октября 1830 г., см. [ЦГИАГ, ф. 16, оп. 1, № 4095]):

«С основанием владычества Российского в странах Закавказья [...] представляется весьма важный вопрос: каким образом сию отдельную часть, населенную народом с другими понятиями, с другими правами, с отличным языком соединить с Россиею теснее; слить, так сказать, в одно тело. Ибо, рассматривая политическое состояние наших здешних владений, нельзя не остановиться на том, что сила оружия приобрела опые — и та же сила удерживает их в повиновении... Однако содержание большого числа войск влечет за собой чрезвычайные расходы [...] Такое владычество ненадежно». Далее Завилейский перечисляет характерные черты здешней отсталости: «Жители или крестьяне не имеют понятия о выгоде промышленности, о настоящей системе сельского хозяйства, об источниках, из коих могло бы родиться их богатство; сие равно относится и к тем, кому имения давались во владение. Нигде нет ни одного хорошего общепольного заведения; во многих местах земля не только не обогащает жителей, но отказывает в необходимом...»

Эхо, явственное эхо недавних грибоедовских рассуждений!

Гражданский губернатор полагает, что все переменится, если сделать приехавших из России чиновников местными землевладельцами: «Правительство будет иметь всегдашнюю верную для себя опору; владельцы будут как бы посредниками между жителями и правительством; взаимные и притом необходимые связи одних с другими по управлению имениями и, наконец, родство через браки укрепят общую политическую связь».

Отличные чиновники охотно будут получать места в Грузии, ибо будут иметь в виду не только чины... Здесь образуется собственное российское дворянство, для которого край здешний также будет отечеством; оно, заботясь о состоянии своих имений по собственным выгодам, будет содействовать во всем правительству.

Российское дворянство, более образованное, введет скорее и лучше устройство по всем частям сельского хозяйства, которого богатейший край сей ожидает, образует полезные заведения, даст надлежащее направление всем родам промышленности».

Завилейский считает, что возможны разные отношения между русскими помещиками и закавказскими крепостными: либо считать их крепостными, как в России, либо взять за основу «мусульманское право», когда крепостные платят помещику, но вольны переходить к другому владельцу. Определенный опыт, полученный во время хлопот вокруг Закавказской компании, замечен и в завершающих строках чернового проекта: «Раздачи земель пустопорожних никогда не принесут таковой пользы, ибо на устройство оных потребны вначале верные капиталы, и получающие их, по недостатку в здешнем крае средств и народа, не могут сими землями пользоваться с выгодами» [ЦГИАГ, ф. 16, оп. 1, № 4095, л. 2—5].

Вот какие проекты вскипали и остывали в канцелярии Паскевича. И снова — *не вышло*.

Правительство было бы радо принять подобный план, но опять же сложно будет регулировать отношения с местной знатью; возможны новые войны, нужна осторожность. К тому же русские дворяне будут владеть, по проекту Завилейского, одновременно и грузинскими крепостными, и русскими; но помещик ведь легко может своих тамбовских или тульских мужичков пере-

везти в новые имения, за Кавказ. Между тем Петербург вскоре категорически запретит перевод крепостных-русских в Грузию, Армению, Азербайджан; Николай I находит, что тем самым будет унижена «господствующая нация»: внутри России можно иметь русских рабов, но на окраине — ценой...

ПРИКАЗАТЬ БЛАГОДЕНСТВИЕ

Ситуация, нами разбираемая, весьма поучительна. Кажется, самодержавие всеильно: по мановению императорской руки 80 тысяч казаков должны перейти в совершенно незнакомый край, начать жить, «как приказано» — изобильно, с пользой для империи.

«Прикажут — акушером буду!» — восклицал в патристическом порыве сверххлояльный литератор Нестор Кукольник.

Однако тут-то обнаруживается, что вековые сложившиеся отношения и структуры не подвластны даже самой деспотической власти. То, что неорганично, «несродно», просто выталкивается, не принимается.

Поэтому невозможно создать Ост-Индскую компанию в российских, кавказских условиях 1820—1830-х. Невозможно *приказать благоденствие* в 1840-х.

Позже царская администрация не раз убедится, сколь трудно или просто невозможно внедрить «понятия XIX века» в древний феодально-патриархальный быт; так, однажды властям пришлось в голову заменить в Грузии традиционных выборных сельских старост присланными полицейскими чиновниками. Однако вскоре открылось, что новые, современные, крепко апробированные в Москве и Петербурге полицейские принципы на Кавказе «не срабатывают»: крестьяне привыкли слушаться выборного старосту и не понимают, зачем нужен пристав со стороны, зачастую и языка местного не знающий... Самодержавие не могло допустить, чтобы полицейский механизм отказал, и пришлось вернуться к старинному способу — выборным старостам; неблагодарным же поселянам, никак не желавшим сменить свою патриархальность, было объявлено: «...уезды по дикости правов и низкой степени гражданственности жителей, не приготовившиеся еще принять общих пачал гражданского управления, переименовать в округа и вверить управление особым военным штаб-офицерам» [ЦГИА, ф. 1018, оп. 3, № 235, л. 27]. Иначе говоря, на горцев

махнули рукой; наверху будут военные власти, на местах — патриархальные.

«Отторжение» — как при пересадке чуждых органов.

Правивший после Паскевича генерал-губернатор Розен возражал даже против статистического описания Кавказа (дескать, европейскими методами нельзя суммировать местные обстоятельства: тут он, конечно, ошибался). Возражая, Розен, между прочим, бросил фразу: «К описанию сему можно бы приступить не ранее, как спустя лет тридцать [...], что было бы весьма полезно, если бы осуществился проект Грибоедова и Завилейского об учреждении в Закавказье компании. [...] Тогда были бы здесь Северо-Американские штаты, были бы свои негры, в особенности если бы правительство отдало им 120 тысяч десятин земли, как они предлагали» [Кол. политика, с. 245].

Розен, кажется, предлагает нарочитый парадокс, пугая собеседников: если бы осуществился грибоедовский проект, тогда Закавказье было бы столь перевернуто, что походило бы на рабовладельческие штаты, и только в этом случае уж, пожалуй, можно было бы кое-что переписать и сосчитать...

Суждения Розена, между прочим, вызвали недоумение И. Калиновского, чиновника министерства финансов (бывшего начальника Грузинской казенной экспедиции), который 16 марта 1833 г. докладывал члену Совета министерства И. М. Ореусу о «странном» скепсисе главнокомандующего: «Неоднократные расспросы Розена о том, где находится теперь проект компании, составленный Грибоедовым и Завилейским, и потом слова его, что описание края было бы полезно тогда, когда проект сей приведен был в действие, доказывает ясно, что в мнении его должно быть основание, по которому находит он отношение между сими двумя делами» [там же, с. 246].

Не с этими ли суждениями Розена связано его стремление раздобыть текст грибоедовского проекта и появление на свет «второй редакции» замечаний М. С. Жуковского, опубликованной О. П. Марковой?

Лев Толстой очень любил рассуждать о бессилии «всемогущего» государства перевернуть сложившийся естественный порядок (пример — Павел I, которого убили за такую попытку), так же как о напрасных надеждах утопистов облагодетельствовать человечество вопреки его воле.

«Нельзя освободить людей внешне более, чем они свободны изнутри» (фраза Герцена, неоднократно цитированная Л. Н. Толстым).

Размышляя о судьбе торговой компании 1831 г. и ее непроданных акциях, наблюдая, сколь невозможно даже для всемогущей власти переселить из России за Кавказ десятки тысяч людей, размышляя над всем этим, убеждаемся непреложно:

Грибоедов и Завилейский предлагали в 1828 г. утопию совершенно неосуществимую, во-первых, при тогдашнем уровне российского капитализма; во-вторых, при тогдашнем положении в Закавказье.

Возможно, Грибоедов сам уже чувствовал, что его идеи чем грандиознее, тем невозможнее: «Я не уверен, что выпутаюсь из всех дел, которые на мне лежат; многие другие исполнили бы их сто тысяч раз лучше» [Гр., т. III, с. 231, подл. на франц. яз.].

Он знал жизнь России дворянской, знал Россию народную, понимал Кавказ... Однако меньше всего представлял Россию купеческую, буржуазную. Ее еще не успел открыть Александр Николаевич Островский. Вспомним, что в литературе, истории часто толкуют про две Москвы — *Грибоедова, Островского...*

«Москву Островского» Грибоедов не знал.

Не мог все-таки вообразить автор «Горя от ума», что ни один московский купец не дрогнет, узнав про столь выгодную, казалось бы, Закавказскую компанию.

Буржуазия, буржуазность, третье сословие — все это было довольно чуждо высокой российской словесности XVIII — первой половины XIX в. Купец, торговец, предприниматель, инженер, другие типы, представляющие все разнообразие буржуазного мира, — в русской литературе их пока что едва замечают. (Автор благодарен В. П. Смилге за ряд важных соображений на эту тему.) Инженер Германн в «Пиковой даме» Пушкина, «приобретатель» Чичиков в «Мертвых душах», много позднее — Штольц в «Обломове»... К подобным людям великие мастера относятся весьма и весьма настороженно, даже если смутно ощущают, что за ними будущее. Пушкин при его гениальной исторической интуиции меньше всего, к примеру, ценит в любезном прадеде Абраме Петровиче Ганнибале его инженерные познания, успехи в должности генерал-инженера России; инженер — это нечто чуждое, инородное, «плебейское»...

Относительная небуржуазность, наверное, одна из самых приметных особенностей российской жизни. Особенность и притягательная (широчайший размах, нелюбовь к «немецкому скопидомству», презрение к лишениям), особенность и тягостная (социально-экономическая отсталость, неумение и нежелание считать, разумно сводить концы с концами, вынужденные героические усилия вместо спокойной рациональной работы).

Небуржуазность — когда верхи и народ резко противостоят друг другу и между ними почти нет «смягчающей рессоры» третьего сословия.

С небуржуазностью во многом связана особая «прозрачность» российского воздуха, когда жизнь низов отчетливо видна лучшим людям из высшего сословия, — и отсюда возможность, необходимость появления зоркой, глубокой литературы.

И отсюда же — от слишком ясного *воздуха*, сбивающего перспективу, — возможность необыкновенных утопий, которые при всех отличиях не будут принимать во внимание реальный уровень развития, неразвитость буржуазных отношений.

Через полвека после Грибоедова народники преувеличат российскую небуржуазность и замыслили вообще проскочить мимо капитализма.

За полвека до народников Грибоедов, наоборот, попытался проектом феодально-капиталистической монополии с привлечением российских купеческих капиталов эту буржуазность использовать, явно переоценивая ее зрелость.

Пройдет несколько десятилетий, прежде чем окрепший российский буржуа вкупе с местным и иностранным капиталом двинется за Кавказский хребет: «Экономическое завоевание Кавказа [...] совершилось гораздо позднее политического» [Ленин, с. 520].

Грибоедов не знал, не представлял некоторые важные грани российской жизни, за что подвергся 70 лет спустя критике острой, несправедливой, но притом талантливо улавливающей некоторую истину (которая, впрочем, тут же утапливается в пристрастии).

Приведем эти критические строки по исследованию современных литературоведов, изучавших отклики 1900-х годов на жизнь и творчество Грибоедова:

«В статье, написанной по поводу представления „Горя от ума“ в Кисловодском театре, Розанов, с обычным

для него лукаво-ироническим пафосом и парадоксальным ходом мысли, противопоставлял грибоедовскую идею „ума“ идее почвы, „земли“, „полной жизни“ [...] Комедия движется на паркете, — полагает Розанов, и ее беспримерно изящный словесный сгиб есть именно словесная кадриль, с чудным волшебством проходимая по навоощенному полу, и которая оборвется, не нужна, невозможна, как только вы уберете это условие паркета под нею. Розанову, влюбленному в органическую жизнь, прочные устои и традиции, которые уже стали ломаться в начале века под напором общественных потрясений, комедия Грибоедова представлялась в конечном счете неглубоким, ограниченным в своем значении произведением — „обучающим“, а не „просвещающим“, — сводилась лишь к безукоризненным „узорам пера“. Непонимание глубинных основ жизни, „общества в его историческом сложении“ сыграло, по мнению Розанова, трагическую роль и в судьбе самого Грибоедова: гибель писателя он объяснял тем, что Грибоедов „продолжал мыслить и действовать в Тегеране, как бы в Петербурге“, не считался с обычаями и нормами восточного бытового уклада и тем навлек на себя дикую расправу» [Долгополов, Лавров, с. 121].

В литературе встречаются фразы о «грибоедовской утопии» и в том смысле, что писатель-дипломат недооценивал косность самодержавия, вероятное противодействие Паскевича и Николая.

Думаем, что как раз своих начальников Грибоедов хорошо понимал; конечно, рисковал, предлагая слишком уж могучее «государство в государстве», по ведь правил же целым краем «проконсул» Ермолов — империя не проигрывала...

Грибоедов вообразил утопию — огромную, хорошо продуманную, интересную, совершенно неосуществимую. «Высокие мысли бродят и мчат далеко за обыкновенные пределы пошлых опытов».

Очень просто на исходе XX столетия, после полутора веков грибоедовского триумфа, оправдать, найти еще доводы за автора проекта и *против* его критиков, недоброжелателей.

Можно также и упрекнуть автора «Горя от ума», еще и еще раз порассуждать, что, если бы проект компании был принят, полились бы пот, слезы и кровь десятков тысяч мужиков российских, грузин, армян, азербайджанцев.

Однако стоит ли о том толковать, если проект вообще *не мог быть* осуществлен?

Те, кто «позже» Грибоедова на несколько поколений, должны помнить об избытке своего исторического возраста.

Мы пытаемся вмешаться в давние споры о Грибоедове, с чем-то соглашаясь, что-то отвергая.

В научной и художественной литературе встречается несколько «моделей» необыкновенной биографии Александра Сергеевича Грибоедова (каждая из них имеет вариации, порою довольно важные, и мы понимаем, что представляем основные точки зрения довольно упрощенно).

1. *Грибоедов-декабрист*: до самого конца на Кавказе и в Персии действовал в декабристском духе.

2. *Грибоедов-жертва*, едва ли не самоубийца: от своих отлепился, к чужим не пристал; после «Горя от ума» не удастся создать чего-либо столь же значительного, смысл бытия постепенно теряется.

3. *Грибоедов-экспериментатор*: сам на себе смело ставит опасный опыт — вступает в компромисс с самодержавием, «во имя дела... готов поступиться своим нравственным престижем в глазах окружающих».

О сходстве и различии Грибоедова с декабристами говорилось в этой работе не раз; теперь надо понять Грибоедова — «жертву» или «экспериментатора».

Как читатель легко мог заметить, автор данной работы не всегда соглашается с Тыняновым: в романе «Смерть Вазир-Мухтара» Грибоедов опережает время, в 1828—1829 гг. живет как бы по мерке 1830—1840-х, когда размежевание интеллигенции и власти уже определилось довольно ясно. Можно сказать, что Тынянов знает ответ задачи, которую Грибоедову не довелось решить («Блажен, кто праздник жизни рано оставил...»). Тынянов знает, чувствует, что, если бы Грибоедов не погиб в Тегеране, ему в следующие годы и десятилетия пришлось бы очень нелегко. Опять рискованное *что было бы...* Но по аналогии с многими другими судьбами можем вообразить вероятную биографию поэта, если бы он уцелел в Персии.

Либо — служба (посол, губернатор или что-нибудь в этом роде; никакой самостоятельной роли на Кавказе, конечно бы, не дали); служба, которую не хуже бы ис-

полнили обыкновенные, не столь гениальные николаевские чиповники (как это, например, видно по воспоминаниям и переписке преемника Грибоедова в Тегеране графа И. О. Симоича).

Либо — постепенная опала, ермоловская судьба. Лишний человек... «Правительство против них [...] Народ не с ними, или, по крайней мере, он совершенно чужой; если он и недоволен, то совсем не тем, чем они недовольны [...] Почва пропадала под ногами; по повеле в таком недоумении приходилось в самом деле идти на службу или сложить руки и сделаться *лишними, праздными*» [Герцен, т. XIV, с. 320].

Выручить Грибоедова в будущем могло бы только творчество, новое «Горе от ума», однако здесь мы от гипотез воздержимся. Повторим только, что Тынянов «сгустил» те облака, которые уже были, клубились возле Грибоедова, но еще не настолько проявились, чтобы погубить. Не было еще той осознанной внутренней трагедии поэта, какая обрисована в романе; Грибоедов на самом деле погиб как бы в ее прологе, первом действии (гармонию, сохраненную им до последнего часа, тонко почувствовал Пушкин, рассуждая о том на страницах «Путешествия в Арзрум»).

Тынянов *угадал, преувеличивая*, на что имел художественное право как автор романа, и поэтому он все же много ближе к истине, чем его оппоненты.

А. Лебедев сконструировал фантастическую модель, забывая известное научное правило, что путем достаточно сложного построения можно доказать что угодно, а потому следует сначала испытать более простые гипотезы. Идея «компромисса-эксперимента» — гипотеза искусственная, сложная и отрицаемая более простыми объяснениями. К тому же она не имеет исторической основы. Если «формула Тынянова» — это некоторый обгон времени, по обгон, вводящий в роман то, что действительно уже было, существовало при Грибоедове и только выявилось сильнее, резче после него, то Лебедев не в романе, а в сочинении куда более строгого жанра наделяет своего героя чертами, совершенно выпадающими из реальной истории. Какое значение имеет эксперимент («компромисс с властью»), если он не в «природе вещей»; если он не только после Грибоедова не повторится, но даже никем не будет замечен в общественной жизни последующих десятилетий? Самые умеренные по своим политическим воззрениям писатели 1830—1890-х

годов (мы говорим о таких крупных мастерах, как Тютчев, Фет, поздний Достоевский) никогда не мыслили себя в состоянии того компромисса с самодержавием, какой приписан Грибоедову в книге Лебедева (служба — это еще не идея; компромисс же — идея, признание).

Так для кого же экспериментировал Грибоедов? Или разговор о нем вообще никак не связан с реальным бытием писателя и является простой аллегорией? Но даже и в этом случае «ответ не сходится». Трудно, а по совети говоря, невозможно вообразить такую историческую ситуацию, где подвиг поэта, мыслителя заключается в компромиссе с «властью роковой». Либо общество более или менее паходится в согласии с правительством — и тогда действует с ним заодно, по убеждению; либо разлад, противостояние, борьба — тогда и пастоящий мастер в разладе с властью (даже если он субъективно заблуждается на свой счет). Накопец, существуют переходные периоды, когда одни идеи отмирают, другие еще не определились: общество выжидает, ищет ответа у лучших своих представителей — куда идти, к чему стремиться? Тот, кто в этих обстоятельствах идет на компромисс (в том духе, как «заподозрен» Грибоедов), ничего не предлагает современникам, которые на компромисс пойти *уже* не могут.

Еще раз скажем, что, по-нашему, субъективная трагедия Грибоедова была не столь сильна, как представил Тынянов в своем романе и как (совсем иначе) обрисовал Лебедев. Другое дело, что существовала объективная, нам, потомкам, наверное, более заметная трагедия грибоедовской жизни — роковая необходимость такому человеку, гению, творить и действовать в николаевское время...

Между роковыми обстоятельствами и тем, что чувствовал, осознавал сам Грибоедов, — дистанция, и немалая. Поверхностный паблюдатель может даже предположить, что горе здесь не от ума, что неловко столь замечательному мыслителю не видеть того, что, казалось бы, столь заметно.

Иллюзии. Грибоедовские иллюзии.

Он писал: «Мы молоды и верим в рай». Вероятно, крупный мастер вообще не может творить, не имея иллюзий, не веруя, хоть немного, в близкий рай; может быть, оттого и молоды, что верят в рай. Пушкин писал о гении «обыкновенно простодушном»...

Это — инстинкт, защита от «тьмы низких истин»; это — один из важных способов не отравить себя ненавистью, чистым отрицанием, поддержать огонь положительных мечтаний. «Иллюзии порой оказываются формой своеобразной консервации идеалов» — глубокая мысль, сформулированная в 1960-х годах [Лебедев. Чадаев, с. 138].

В стихах же о вере в рай Грибоедов рассказал и о том, что станет, если иллюзий не станет, «виденье исчезнет»:

Постой! и нет его! угасло! —
Обмануты, утомлены.
И что ж с тех пор? — Мы мудры стали,
Ногой отмерили пять стоп,
Соорудили темный гроб
И в нем живых себя заклали.

Премудрость! вот урок ее:
Чужих законов несть ярмо,
Свободу схоронить в могилу
И веру в собственную силу,
В отвагу, дружбу, честь, любовь!!!

* * *

Автор сдает последние архивные дела и нехотя прощается со старым Тифлисом, с числящимися по тифлисской губернии шестью городами и двумя местечками, с деревнями и селами числом 1540 и восемью немецкими колониями...

Прощайте, случайные отпечатки минувшего.

Копия полицейского наставления из Петербурга, чтобы «добрые, не опасаясь подлой клеветы, спали в объятиях покоя, а бездельники, соскуча трепетать, обращались на путь чести».

Дело о дозволении в Грузии кулачных боев.

«Доклад об абхазском народе, который, один из самых упорных, по сию пору сохраняет дикую независимость и склонен к сухопутным и морским разбоям...»

«Рапорт о гражданских местах, кои находятся, не исключая Тифлиса, в жалостном состоянии, как по наружности, так и в сущности... Расстройство же дел достигло такой степени, что в целом Закавказском крае нет ни одной гражданской тюрьмы».

«Дело о сооружении памятника покойному статскому советнику Грибоедову на горе св. Давида»,

«Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но зачем пережила тебя любовь моя?»

Воображаем рядом строки с могилы Абеяра: «Он один мог знать, кем он был».

Через «цветущие пустыни» (выражение Пушкина), над дорогами Грибоедова, где некогда было 107 станций, мы бездумно, быстро, наверное, слишком быстро переносимся из одного конца страны в другой.

Чтобы тут же снова отправиться в путь вслед за другим бессмертным путешественником.



¹ 26 февраля 1929 г. В. Б. Шкловский извещал Ю. Н. Тынянова. «Недавно в Тегеране умер старик, который еще знал Грибоедова [...] Он родственник убитого Ростамбея».

Автор признателен В. А. Каверину, познакомившему его с неопубликованными фрагментами переписки Ю. Н. Тынянова и В. Б. Шкловского.

² Влияние ермоловского журнала ощущается в официальном отчете В. Бороздны «Краткое описание путешествия российского императорского посольства в Персию в 1817 году». СПб., 1821, с. 70—71, 216 и др.

³ Немецкий ученый Адам Олеарий описал свое путешествие через Россию в Иран за 200 лет до Грибоедова.

⁴ Грибоедов и его современники по-разному писали название этого города: Тавриз, Таврис, Тебриз, Табриз.

⁵ Фрагменты воспоминаний о военных кампаниях разных лет вкраплены, между прочим, в «Библиографические заметки» И. П. Липранди, написанные в защиту кавказских трудов Дубровина, раскритикованных в 1871 г. журналом «Беседа» (см. [Заря, 1872, № 1, с. 39—52]).

⁶ Н. К. Пиксанов писал 25 февраля 1911 г. Е. Г. Вейденбауму: «Вы справедливо отрицаете легенду об уничтожении бумаг Грибоедовым: я тоже начинаю думать, что нечего было и уничтожать» [ИРГ, арх. Вейденбаума, № 709].

⁷ Дибич имел секретное предписание, дававшее ему право отстранить Ермолова в любой момент (очевидно, аналог указа, которым располагал и Паскевич), но не решился пустить в ход.

Липранди в уже цитированном дневниковом фрагменте сообщает, вероятно, фантастические подробности о том, что Дибич забыл «высочайшую инструкцию» в городе Павловске Воронежской губернии, после чего городничий переслал ее в Тифлис и Ермолов узнал о своей участи раньше Дибича (см. [ААН, ф. 100, оп. 1, № 350, л. 13]). Паскевич (в уже цитированных его «устных мемуарах»), в свою очередь, поносил Дибича, который, смещая Ермолова, сомневался в способностях нового главнокомандующего: начальник штаба будто бы доказывал царю, что «он один только может вести дела за Кавказом и что без него они не пойдут» [там же, № 347, л. 9]; сходной версии о Дибиче придерживались и некоторые соратники Ермолова (см. [РС, 1872, № 11, с. 486—487]).

⁸ Именно поэтому Паскевичу так важно было распространять сведения о своем благородном поведении по отношению к недругу: кроме не предъявленного Ермолову царского рескрипта о смещении с должности Паскевич в своем рассказе о событиях гордится другим поступком, явно пытаясь бросить тень на общеизвестное бескорыстие своего предшественника: «О беспорядке в делах и в особенности о расходовании сумм в корпусном штабе я не только не хотел доносить, но даже никогда не говорил о том ни государю императору, ни великому князю Михаилу Павловичу и выдал Ермолову во всем чистую квитанцию. Этим я спас его от следствия насчет сумм и, может быть, от суда, а он, возвратясь в Россию, начал говорить обо мне дурно и только по взятии Варшавы прекратил невыгодные обо мне толки, когда дела мои доказали так ясно неосновательность их» [ААН, ф. 100, оп. 1, № 347, л. 10 об.].

⁹ Речь идет о П. И. Катенине, авторе трагедии «Андромаха».

¹⁰ Это брат другого Обрескова, разжалованного за воровство, служившего солдатом на Кавказе и позже женившегося на Наталье Федоровне Ивановой, юношеской любви М. Ю. Лермонтова (об этом И. Л. Андроников написал свою известную «Загадку Н. Ф. И.»).

¹¹ К а д р ы — клетки, графы, таблицы.

¹² Этот документ был опубликован автором данной работы в журн. «Вопросы литературы» (1985, № 2).

¹³ «Записка» представляет собой шесть спитых двойных листов (24 страницы писарского текста, расположенного на правой половине, с большими полями, занимающими левую половину каждого листа). В конце писарского текста подписи Грибоедова и Завилейского, а также помета «г. Тифлис 7 сентября 1828 г.», причем цифра 7 в дате вписана позднее, теми же чернилами, что и подпись Грибоедова. Существование автографа, кажется, не стало достоянием науки, так как грибоедовская «Записка» во всех собраниях писателя публикуется по тексту «Русского вестника» (притом подлинный документ, как это видно по «листу использования», изучался рядом специалистов, ссылку см., например, [Шостакович, с. 275]). Подлинник «Записки» отличается от текста «Русского вестника» особенностями написания отдельных слов, разбивкой текстов, осуществляемой «просветами» между строками и т. п.

Кроме того, на полях имеются пометы и отчеркивания, лишь частично учтенные в публикации Мальшинского.

¹⁴ Рукопись на 57 листах кроме замечаний, прямо связанных с соответствующими буквенными пометами на полях вступительной «Записки» к проекту (от *a* до *i*), содержит еще ряд замечаний (помеченных латинскими и русскими литерами), относящихся к недошедшему тексту самого проекта. Полное научное издание грибоедовской «Записки» требует тщательного изучения замечаний: как фрагментов, опубликованных Мальшинским, так и другой их редакции (опубликованной О. П. Марковой).

¹⁵ Тексты пяти писем Грибоедова к П. А. Катенину (в том числе письмо с арабской строкой) были опубликованы в 1858 и 1860 г. Их предоставил издателям родственник писателя Михаил Катенин; дальнейшая судьба автографов неизвестна; лишь одно письмо Грибоедова к Катенину хранится ныне в Отделе рукописей Государственной Публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина; в конце XIX в. им обладал В. И. Пахомов, внучатый племянник Катенина.

¹⁶ Их видели перед самой Великой Отечественной войной в Эстонии, где жили и живут прямые потомки Фаддея Вепедиктовича. В 1941—1944 гг. в оккупированном Таллине кипами болгарских бумаг, говорят, долго растапливали печи в одном из домов (а в болгарском архиве, без сомнения, были тексты о Пушкине, Грибоедове, декабристах; возможно, и подлинные их материалы).

¹⁷ Вопрос о сознательной «подмене автора», о стремлении Тынянова понять жизненные планы, трагедию Грибоедова, присматриваясь к его отношениям с Булгариним, — все это вызвало несколько лет назад небольшую (устную) дискуссию, стимулированную автором данной работы. Резюме высказанных мнений насчет замены Катенина Булгариним таково:

Л. (историк): Тынянов поспеделся па память, не проверил — это бывает.

Ч. (филолог), С. (физик): Смешно даже подумать, что Тынянов мог *перепутать*: оп, можно сказать, панзусть знал грибоедовское последнее (увы, не слишком большое).

К тому же письмо с арабской строчкой, выделяющееся из других! Ведь, когда дело дошло до типографии, Юрию Николаевичу надо было отнести, показать, объяснить: «Вот эту строчку снимите факсимильно». Тут приходилось все время обращаться к собранию сочинений Грибоедова, регулярно просматривать письмо Катенину.

Вероятность тыняновской *ошибки* примерно такова как если б он написал: «Я помню чудное мгновенье... (Лермонтов)».

Филолог В. Тынянов все-таки забыл, потому что очень хотел забыть! Во всей переписке Грибоедова с Булгариным, как видно, не нашлось столь *подходящих* строк — и чтобы Восток в них был, и о дружбе, и о несчастье... Такие строки нашлись только в письме к Катенину. Тынянов, однажды это заметив, может быть, решил, что они уж очень *подходят*, после думал о них как о *художественном* выражении своей мысли: Катенин в романе не появляется, и, если бы под эпитафией стояло: «Грибоедов. Из письма к Катенину», выстрел был бы слабее во много раз. Зато как звучит — «к Булгарину!»... *Очень желаемое* незаметно, не в памяти, а в художественном мышлении автора, перешло в *действительное*. И вообще, отлпно зная, кому писано, Тынянов при «изготовлении» эпитафии об этом *знать не хотел*, а потому — *не знал, забыл*.

Автор (возражая филологу В.): После первой публикации романа Тынянов прожил более 15 лет. За это время «Смерть Вазир-Мухтара» переиздавалась шесть раз. Было время самому автору заметить ошибку (разные издания романа имеют вообще ряд отличий), но Тынянов *не считал* нужным заметить. Было время и у квалифицированных читателей обнаружить подмену Катенина Булгариным. В архиве Тынянова сохранилось письмо И. Ю. Крачковского от 27 января 1930 г., где востоковед благодарил Тынянова за присылку второго издания «Смерти Вазир-Мухтара» (сообщено автору Е. А. Тоддесом). К сожалению, из переписки Крачковского с Тыняновым больше пока ничего не обнаружилось, и мы вольны гадать, как автор «Вазир-Мухтара» обосновывал *свой* эпитафия; но Крачковский был, кажется, недоволен; в 1941 г. всезпающий академик собрал многочисленные обращения к аль-Мутанаббн позднейших авторов [Крачковский, т. II, с. 548—562]. Грибоедов, разумеется, упомянут, Леонид Леонов тоже, о Тынянове же — ни слова; Крачковского, по всей видимости, смутила тыняновская *перепредсговка* известного письма.

Крачковский *заметил*: было время и у других коллег обнаружить, написать, позвонить, может быть, упрекнуть Тынянова. У меня нет сомнений, что коллеги отозвались, да Юрий Николаевич все равно ничего в эпитафии не переменял бы, следуя законам не научным, а художественным (подробнее о дискуссии см.: Знание — сила. 1982, № 6, с. 25—26).

¹⁸ Некоторые пометы, связанные с первой редакцией, особенно сделанные карандашом (позже полустершиеся), требуют дополнительной экспертизы.

Часть II
ПУШКИН

Глава 5

В Арзрум

И где мне смерть пошлет судьбина?

Пушкин. 1829 г.

5

марта 1829 г. «отставной чиновник X класса» Пушкин берет подорожную до Тифлиса и 1 мая отправляется на Кавказ.

Кавказ, Восток его манят, притягивают постоянно, всегда. Тут даже не совсем применим смелый образ, придуманный Вяземским и некогда использованный М. А. Цявловским для заглавия одной из статей: «Тоска по чужбине у Александра Сергеевича Пушкина». Восток — не чужбина; не только прадед, Ганнибал, думал «о милой Африке своей», но и правнук воображал себя тоскующим «о сумрачной России... под небом Африки моей».

Среди 16 иностранных языков, которыми владел или интересовался Пушкин, не только европейские; восточные сюжеты, мотивы, реминисценции у Пушкина чрезвычайно многообразны, здесь еще сегодня просторно для первооткрывателей.

Пушкинский Кавказ 1829 г., столь отличный от первого, романтического Кавказа — 1820-го.

Между первым и вторым путешествием прошло девять лет. Что такое для Кавказа века? Но что такое для пушкинской жизни девять лет! Между «Кавказским пленником» и «Путешествием в Арзрум» — поло-

вина послелицейской биографии, «Борис Годунов», «Евгений Онегин», «Полтава», «Пророк»...

Сам Пушкин обращает внимание читателей на разницу и преемственность «двух Кавказов», когда в первой главе «Путешествия в Арзрум» мимоходом замечает: «В Ларсе [...] нашел я измаранный список *Кавказского пленника* и, признаюсь, перечел его с большим удовольствием. Все это слабо, молодо, неполно; но многое угадано и выражено верно» [П., т. VIII, с. 451; см. также: Сидяков, с. 166—167].

Что ж заставляет Пушкина сняться с родных мест и устремиться на Кавказ, к войне и чуме, хотя год назад, в 1828-м, ему вежливо запретили поездку, вернее, поставили условием зачисление... в штат Третьего отделения («разумеется, Пушкин поблагодарил и отказался от этой милости»,— сообщал приятель поэта Н. В. Путьята, см. [Эйдельман, с. 376]). Не разрешают и сейчас, в 1829-м: вослед «путешествующему по личной надобности» полетят жандармские предписания, и даже 19 лет спустя, когда Пушкина давно уже не будет на свете, царь гневно припомнит, что поэт «без моего позволения и ведома ускакал на Кавказ! К счастью, там было кому за ним присмотреть. Паскевич не охотник шутить» [РС, 1900, № 3, с. 574].

Пушкин мог бы тем оправдаться (но не стал), что в действующей армии находится его брат Лев; обилие же старых друзей поэта в Кавказском корпусе было для царя и Бенкендорфа основным мотивом для запрета: очень многие, от генерала Николая Раевского до разжалованного в рядовые Михаила Пущина, попали ведь на Кавказ за прямое или косвенное отношение к «14 декабря».

Кроме естественного желания повидаться с близкими поэта, конечно, влекло на юг и восток ощущение важности, значительности всего происходящего, живые противоречия времени — то, что Вяземский назовет «сшибкой антитез» (кстати, также захваченный летом 1829 г. «духом странствий», Вяземский написал эти слова в письме к Карамзиным от 9 июля 1829 г.; он сообщал там свои впечатления о краях, которые только что пересек Пушкин: «Мы проезжали степи, совершенно голые, где в целые сутки встречали только сарапчу, орлов, изредка калмыка на верблюде, или двух калмыков, скачущих на одной лошади») [ЦГАЛИ, ф. 248, оп. 2, № 21].

«Сшибка антитез», пересечение, столкновение эпох, цивилизаций — те столкновения, которые помогают лучше увидеть, понять «тайну века» и себя самих.

Подобные мысли и чувства были как бы завещаны Грибоедовым, о чем невозможно не задуматься, если Пушкин собирается в путь через месяц после тегеранской трагедии: известие о ней пришло в Петербург 22 марта 1829 г. [ЛН, т. 60, кн. 2, с. 490] — через 17 дней после того, как Пушкин «взял подорожную».

Сочувствующие современники опасались — не постигнет ли Пушкина судьба его великого предшественника; Пушкин же отвечал, что невозможна гибель на Кавказе в один год «двух Александров Сергеевичей».

Грибоедовские мотивы пушкинского путешествия — тема сложная и малоизученная...

ДАТЫ

У книги «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года» две даты рождения. Одна вынесена в заглавие: в 1829-м Пушкин вел «Путевые записки», с которых начинается история будущей книги. Другой же год выставлен на белой рукописи «Путешествия» — 1835-й¹.

По этой рукописи, без нескольких отрывков, которые Пушкин не считал даже возможным представить в цензуру, «Путешествие в Арзрум» и было напечатано в 1836 г. в первой книге пушкинского журнала «Современник». Пропущенные фрагменты появились в печати 20 лет спустя, в конце 1850-х — начале 1860-х годов (см. [П., VIII, с. 1065]).

Мы обращаемся к хронологии, опираясь во многих отношениях на недавнее исследование Я. Л. Левкович «Кавказский дневник Пушкина». Нам важно, когда именно Пушкин записал свои известнейшие воспоминания о Грибоедове, вошедшие в «Путешествие» (в 1829-м, сразу после смерти Грибоедова, или в 1835-м, незадолго до собственной гибели)? Кроме того (постараемся показать), пушкинский труд содержал довольно много «грибоедовских» страниц.

Диалог с погибшим автором «Горя от ума» пачинался с первых строк первой главы.

«...Из Москвы поехал я на Калугу, Белев и Орел и сделал таким образом 200 верст лишних; зато увидел Ермолова».

Встреча с Ермоловым, мы точно знаем, была записана Пушкиным по свежему впечатлению: беловой, с некоторыми поправками, текст находится в тетради «арзрумской» (в прошлом № 2382; ныне, по нумерации Пушкинского дома, — № 841) и сопровождается пометой «Георгиевск, 15 мая (1829 г.) [П., т. VIII, с. 1027].

О том же свидании поэт несколько дней спустя поведал Ф. И. Толстому (сохранив в письме некоторые обороты из «георгиевского отрывка»): «...Поехав на Орел, а не прямо на Воронеж, сделал я около 200 верст лишних, зато видел Ермолова. Хоть ты его не очень жалуешь, принужден я тебе сказать, что я нашел в нем разительное сходство с тобою не только в обороте мыслей и во мнениях, но даже и в чертах лица и в их выражении. Он был до крайности мил»; далее Пушкин, впрочем, снисходил к чувствам собеседника и прибавлял: «Видел Казбек и Терек, которые стоят Ермолова» [П., т. XIV, с. 46].

О Ермолове 1829 г. (в начале третьего года его опалы) пишет Пушкин 1829 г., чьи суждения, конечно, занимают важнейшее место среди непрекращающихся общественных толков о судьбе знаменитого генерала.

О давнем интересе великого поэта к Ермолову уже говорилось: «смирись, Кавказ,— идет Ермолов»; «Ермолов наполнил [Кавказ] своим именем и благотворным Гением» [П., т. XIII, с. 18]. Впрочем, уже тогда, задолго до 14 декабря, Пушкину возражали участники споров вокруг личности генерала; 27 сентября 1822 г. Вяземский в письме А. И. Тургеневу выражал педовольство «Кавказским пленником»: «Мне жаль, что Пушкин окровавил стихи своей повести. Что за герои Котляревский, Ермолов? Что тут хорошего, что он, *как черная зараза, губил, ничтожил племена?* От такой славы кровь стынет в жилах и волосы дыбом становятся. Если бы мы просвещали бы племена, то было бы что воспеть. Поэзия — не союзница палачей; политике они, может быть, нужны — и тогда суду истории решить, можно ли ее оправдывать или нет; но гимны поэта никогда не должны быть славословием резни» [ОА, т. II, с. 274—275].

Пушкин, как мы знаем, с годами судил деятелей все более исторично, уходя от односторонних восхвале-

ний или обвинений. Ермолов был для подобных рассуждений «объектом» интереснейшим; 18 мая 1827 г. (через несколько дней после отъезда прежнего главнокомандующего с Кавказа) поэт спрашивал брата Льва: «...Видел ли ты Ермолова, и каково вам после него?» [П., т. XIII, с. 330].

В 1829 г. Пушкин, сравнительно недавно сам выпущенный из ссылки, наносит визит знаменитому генералу, фактически сосланному и находящемуся в тяжелом, унижительном положении. В эту пору Паскевич, преемник и враг Ермолова, добивается успеха за успехом в войнах с Персией, Турцией, в то время как вчерашний герой, по словам его биографа М. П. Погодина, «в деревне обратился [...] к обыкновенным своим занятиям — читал книги о военном искусстве, и в особенности о любимом своем полководце Наполеоне. Утомительно долго тянулось для него время в тишине, в бездействии, среди полей, огородов, лесов и пустыни. А между тем Паскевич прошел вперед, взял Эрзерум, Таврис, Ахалцах, пропикнул далеко в Персию. А между тем Дибич вскоре перешел Балканы, занял Адрианополь. Что происходило в то время на душе Ермолова, то знает только он, то знал Суворов, в Кобрине читая итальянские газеты о победах молодого Бонапарте, то знал, разумеется больше всех, этот новый Прометей, прикованный к скале святой Елены» [Ермолов. Материалы, с. 391].

Тайный жандармский наблюдатель уверял свое начальство (по-видимому, хорошо зная, чего от него ждут), что «мрачный его [Ермолова] вид, изобличающий душевное беспокойство, явно противоречит хладнокровному тону, с коим он рассказывает приятность своей настоящей жизни, будто давно им желаемой» [Шторм, с. 145]; сам Ермолов в ту пору писал на Кавказ своему другу генералу Ховену: «Поклонитесь от меня тому малому числу людей, которые меня помнят, и еще меньшему числу тех, которых я помнить должен» [РС, 1876, № 10, с. 231].

При всем при том ермоловская легенда не слабела (как надеялся Николай I), а, наоборот, набирала новую силу.

Легенда напоминала о хороших, ермоловской выучки, солдатах, побеждавших на Кавказе; не забывала огромной фигуры, учености, стиля, остроумия пыне опального полководца, его свободной натуры.

Старые и новые шуточки Алексея Петровича продолжали ходить по стране.

О любимых полководцах Николая I, Иване Паскевиче и Иване Дибиче, будет сказано: «На двух ваньках далеко не уедешь» («ванька» — обычное наименование плохонького извозчика).

Узнав об учреждении корпуса жандармов в голубых мундирах, Ермолов говорит: «Теперь у каждого или голубой мундир, или голубая подкладка, или хотя голубая заплатка».

Про Николая I однажды скажет между делом: «Ведь можно было когда-нибудь ошибиться, нет, он уж всегда как раз попадал на неспособного человека, когда призывал его на какое бы то ни было место».

Ермоловская легенда пополнялась десятилетиями. В 1830—1840-х годах мемуаристы продолжали находить ермоловские черты во многих офицерах, служивших на Кавказе, в тех, кто «три раза коптужен и ни разу не сконфужен».

Вот характерная запись генерала Филипсона, наблюдавшего порядок, заведенный старым ермоловцем, генералом Вельяминовым: «Поражала самостоятельность и самоуважение ротных и батальонных командиров, разумная сметливость и незадерганность солдат в кавказских войсках. Дисциплина была строга и, конечно, отзывалась общей дикостью того времени» [РА, 1883, № 5, с. 196—197].

Почти через 30 лет после отставки Ермолова его друг и ученик Н. Н. Муравьев (генерал Муравьев-Карский) пишет своему прежнему начальнику: «В углу двора обширного и нынешнего дворца, в коем сегодня ночью, стоит уединенная скромная землянка ваша, как укоризна нынешнему времени. [...] В землянку вашу послал бы [генералов] учиться, но академия эта выше их понятий. [...] Здесь все покорны, и покорность эта не приводит их к изучению и исполнению своих обязанностей, а только к исполнению того, что прикажут» [ЦГИА, ф. 1101, оп. 1, № 596].

Репутация. Она не дает покоя Николаю I, и, чтобы скомпрометировать Ермолова, царь в 1830-х годах... повысит его (разумеется, формально): посадит в Государственный совет для ничегонеделания — лишь бы не привлекал внимания отставкой, опалой.

Еще через несколько лет, в 1847 г., официальному историку Н. Г. Устрялову будет в его книге «Истори-

ческое обозрение царствования Николая I» запрещено вспоминать о каких-либо заслугах Ермолова.

В рукописи Устрялова сначала было о кавказских войнах: «Но там был Ермолов, недоступный страху, он умел вселить мужество в каждого солдата, и русский штык остановил врага на первом шагу».

Эти слова Николай I зачеркнул и собственноручно вписал: «В таких обстоятельствах генерал Ермолов донес императору, что он не чувствует в себе силы начальствовать войсками в подобное время, и просил присылки доверенного лица».

Прочитав книгу, Ермолов 17 сентября 1847 г. отвечал письмом, возражая Устрялову, хотя, конечно, хорошо знал, кто является «соавтором» историка: «Вы изволили меня изобразить в чертах, совершенно не свойственных ни личному моему характеру, ни поприщу пройденному мною на службе... хотя, впрочем, должен я, не желая подозревать другой причины, предположить, что в изложении вы искали соблюсти добросовестность... Вам, милостивый государь, неизвестно, но я, зная хорошо обстоятельства, войну с персиянами не мог встретить без основательной надежды на успех и чувствовать в себе недостаток способности, когда во многих из подчиненных мне находил их достаточными, чтобы поражать персиян».

Не оскорбленное самолюбие, но признательное доверие, которого я был удостоен покойным императором до конца его царствования, и уважение к памяти обо мне прежних моих сослуживцев вызвали меня заметить вам, милостивый государь, эту непозволительную ошибку» (письмо Ермолова см. [ИС, кн. 2, с. 155]; сводку материалов об этом эпизоде см. [ИС, кн. 3, с. 140—144]).

Письмо Ермолова Устрялову вскоре разошлось по России в сотнях списков. Посылая (8 января 1848 г.) копию Н. Н. Муравьеву, Ермолов сообщал: «Я распустил его в Петербурге во множестве. Было прочитано, и следствия можно угадывать. Министром Уваровым запрещено профессору Устрялову мне отвечать. Говорят, будто бы *самим* поправлено было сочинение. Не знаю, за что на меня сердятся, я никого не трогаю! Неужели запрещено возражать автору?» [ЦГВИА, ф. 169, оп. 1, № 1, л. 41].

У многих грамотных людей имелся также рукописный текст басни «Конь», которую долгое время приписывали И. А. Крылову (в настоящее время специали-

сты пришли к выводу об авторстве С. Маслова, хотя сам Ермолов не возражал, когда называли Крылова (см. [Ермолов Алдр., с. 125 и сл.]).

Читатели басни хорошо понимали, что за *наездники* («лихой» и «плохой») и что за конь представлены в стихах...²

Некоторые из приведенных примеров общественно-го отношения к Ермолову хронологически близки ко времени пушкинского посещения; другие, пусть и более поздние, обобщают давнюю социальную репутацию генерала.

Визит, нанесенный Пушкиным Ермолову по пути в армию Паскевича (более того, пришлось сделать крюк в 200 верст!), был поступком, по духу вольным, оппозиционным, близким к тому, что в январе 1825 г. сделал Пущин, навестивший друга-поэта в его «опальном доме». Ермолов ценил подобную смелость и сам много лет спустя одним из первых отправится обнять декабриста Михаила Фонвизина, любимого сослуживца, отбывшего в Сибири около 30 лет каторги и ссылки (поступок Ермолова был тем значительнее, что ведь Фонвизин вернулся раньше других декабристов, еще в царствование Николая I).

«УВИДЕЛ ЕРМОЛОВА...»

Пушкинская запись, посвященная Ермолову, позволяет высветить и некоторые другие любопытные обстоятельства:

«...увидел Ермолова. Он живет в Орле, близ коего находится его деревня. Я приехал к нему в восемь часов утра и не застал его дома. Извозчик мой сказал мне, что Ермолов ни у кого не бывает, кроме как у отца своего, простого набожного старика, что он не принимает одних только городских чиновников, а что всякому другому доступ свободен. Через час я снова к нему приехал. Ермолов принял меня с обыкновенной своей любезностью. С первого взгляда я не нашел в нем ни малейшего сходства с его портретами, писанными обыкновенно профилем. Лицо круглое, огненные, серые глаза, седые волосы дыбом. Голова тигра на Геркулесовом торсе. Улыбка неприятная, потому что неестественна. Когда же он задумывается и хмурится, то он становится прекрасен и разительно напоминает поэтический портрет, писанный Довом. Он был в зеленом черкес-

ском чекмене. На стенах его кабинета висели шапки и кинжалы, памятники его владычества на Кавказе. Он, по-видимому, нетерпеливо сносит свое бездействие» [П., т. VIII, с. 445].

К этим строкам мы имеем неплохой «комментарий» самого Ермолова и его друзей, описывающих примерно в то же время, что и Пушкин, ту же обстановку.

Поэт отыскал Ермолова в деревянном доме с мезонином (он существовал еще в конце XIX столетия; см. [Ермолов Алдр., с. 111]), доме, о котором генерал писал 27 сентября 1827 г. Р. И. Ховену: «Старик мой строит себе маленький домик близ церкви и жилища архиепископа, с которым он дружен, и там намерен он окончить дни свои» [РС, 1876, № 10, с. 231].

Всего пять лет разделяют визит Пушкина и приезд П. Х. Граббе, давнего сослуживца и первого адъютанта Ермолова (декабриста, члена Союза Благодетельства). До того Граббе не встречался со своим прежним командиром 19 лет, но постоянно следил за его успехами и неудачами: «На возвратном пути из Москвы заехал я к Алексею Петровичу в деревню. [...] Все, что излетало из уст его, стекало с быстрого, резкого пера его, повторялось и списывалось во всех концах России. Никто в России в то время не обращал на себя такого общего и сильного внимания. Редкому из людей достался от него в удел такой дар поражать, как массы, так и отдельного всякого, наружным видом и силою слова. Преданность, которую он нам внушал, была беспредельна». В 1834 г. Граббе в орловской деревне находит «старика белого как лунь, огромная голова, покрытая густою сединою, выросла в широкие плечи. Лицо здоровое, несколько огрубевшее, маленькие глаза, серые, блистали в глубоких впадинах, и огромная, навсегда утвердившаяся морщина спустилась с сильного чела над всем протяжением торчащих седых его бровей. Тип русского гениального старика; нечего бояться такой старости³. [...] Кабинет без малейшего украшения, по большой стол, ничем не покрытый, и несколько стульев простого белого дерева, везде книги и карты, разбросанные в беспорядке; горшочки с клеем, картонная бумага и лопаточки; его любимое занятие — переплетать книги и наклеивать карты. Сам он был одет в синий кафтан толстого сукна, застегнутый на крючки» [Граббе, с. 17—19].

Разумеется, с давним другом Граббе Ермолов более

откровенно толковал о своем вынужденном бездействии, нежели с Пушкиным; однако и с поэтом эти мотивы были затронуты: Пушкин, без сомнения, вызвал у Ермолова симпатию, доверие. Вскоре генерал напишет Денису Давыдову: «Был у меня Пушкин. Я, в первый раз видя его, и, как можешь себе вообразить, смотрел на него с живейшим любопытством. В первый раз не знакомятся коротко, но какая власть высокого таланта! Я нашел в себе чувство, кроме невольного уважения. Ему также, я полагаю, необыкновенным показался простой прием, к каковым жизнь в столице его верно не приучила». Это ермоловское письмо, в подлиннике к нам не дошедшее, Денис Давыдов процитировал в своем письме к Вяземскому от 30 декабря 1829 г. [СН, XXII, с. 38—39]. В том же послании Давыдов еще раз цитирует Ермолова: «Хваля сочинения Пушкина, он говорит: „Вот это поэзия! Это не стихи нашего знакомого Грибоедова, от жевания которых скулы болят. К счастью моему, Пушкин, как кажется, не написал ни одного экзаметра — род стихов, который, может быть, и хорош, но в мой рот не умещается“» (Давыдов признается, что этому «очень смеялся, будучи сам противник экзаметров»).

Четверть века спустя, в конце 1854 г., свою встречу с престарелым Ермоловым опишет П. И. Бартенев: «Я завел разговор про наших поэтов и мало-помалу довел до Пушкина. Я весь был внимание, когда зашла о нем речь.

„Конечно, беседа его была замечательна? Очень, очень, очень!“ — отвечал с воодушевлением Алексей Петрович. Он виделся с ним в Орле вскоре после своей отставки. Пушкин сам отыскал его: „Я принял его со всем должным ему уважением“. О предмете своих разговоров с ним Ермолов не говорил. [...] Больше они не виделись» [Ермолов. Материалы, с. 412]. Ермолов, возможно, забыл, что виделся еще раз с Пушкиным и его молодой женой в декабре 1831 г. (см. [РА, 1906, IX, с. 40]).

Погодину генерал также категорически отказался сообщить явно известные ему подробности. Возможно, это связано с тем, что Ермолову к 1850-м годам уже был известен ненапечатанный, по существовавший в списках текст Пушкина об орловской встрече 1829 г.; запись эта была достаточно откровенна и «щекотлива», чтобы еще делать к ней какие-либо дополнения (не за-

будем, что Паскевич, Николай I и другие «заинтересованные лица» в ту пору еще здравствовали). Впервые отрывок из разговора Пушкина с Ермоловым был опубликован Е. И. Якушкиным в московском журнале «Библиографические записки» (1859, № 5, стб. 140—141). Генерал, надо думать, дал на то согласие. Полный же текст напечатали Герцен и Огарев в VI книге «Полярной звезды», увидевшей свет в Лондоне в марте 1861 г., буквально за несколько дней до кончины Ермолова (11/23 апреля). Два года спустя «Беседа с Ермоловым» была наконец полностью обнародована в России [РА, 1863, стб. 860—862].

Итак, Ермолов имел основание не распространяться о беседе с Пушкиным. Тем важнее, уникальнее пушкинская версия того свидания.

О ПАСКЕВИЧЕ

«Несколько раз принимался он говорить о Паскевиче и всегда язвительно; говоря о легкости его побед, он сравнивал его с Навином, перед которым стены падали от трубного звука, и называл графа Эриванского графом Ерихонским. „Пускай нападет он,— говорил Ермолов,— на пашу не умного, не искусного, но только упрямого, например, на пашу, начальствовавшего в Шумле,— и Паскевич пропал“. Я передал Ермолову слова гр. Толстого, что Паскевич так хорошо действовал в персидскую кампанию, что умному человеку осталось бы только действовать похуже, чтоб отличиться от него. Ермолов засмеялся, но не согласился. „Можно было бы сберечь людей и издержки“,— сказал он» [П., т. VIII, с. 445]⁴.

С большей или меньшей степенью вероятия имеем право «подслушать» некоторые мысли и обороты той беседы, обращаясь к позднейшим разговорам Ермолова на сходные темы. «Что значит подобная война *нашему воеводе* Паскевичу,— иронизировал Ермолов по поводу венгерской кампании 1849 г.,— когда в самом раю давал он баталии. Кто другой со времен христианства дрался у источников Тигра и Ефрата».

Дело, однако, не в отдельных фразах: оба собеседника обсуждают острую реплику графа Федора Толстого⁵ насчет отличия Паскевича «от умного человека». Возникает мотив, позже не раз в завуалированном виде повторенный в «Путешествии в Арзрум»: Паскевичу

повезло; он действовал авантюрно, рискованно, и его счастье, что турки и персы не воспользовались ошибками (см. [Тынянов II, с. 200—205]). В то же время преемник Ермолова умеет раздуть даже небольшие успехи — фраза о графе Ерихонском содержала немало яду. Позже современники писали об удивлении Николая I (посетившего Кавказ в 1837 г.) при виде сравнительно небольших стен, окружавших Эривань (в то время как, по реляциям Паскевича, в Петербурге считали эту крепость куда более мощной и взятие ее — подвигом куда более трудным).

Как видим, в этой части беседы Пушкин и Ермолов сообща иронизируют насчет военных талантов Паскевича (см. [Сидяков, с. 164—165]). Это, разумеется, косвенно задевало и тех, кто создавал репутацию новому главнокомандующему, в частности Грибоедова; появление в пушкинском рассказе, через несколько строк, имени автора «Горя от ума», конечно, не случайно.

Так же как переход от обсуждения нынешних войн к более широким проблемам российской истории.

«ЗАПИСКИ»

«Думаю, что он пишет или хочет писать свои записки. Он недоволен Историей Карамзина; он желал бы, чтобы пламенное перо изобразило переход русского народа из ничтожества к славе и могуществу. О записках кн. Курбского говорил он *con amore* *. Немцам досталось. „Лет через пятьдесят,— сказал он,— подумают, что в нынешнем походе была вспомогательная прусская или австрийская армия, предводительствовавшая такими-то немецкими генералами“. Я пробыл у него часа два» [П., т. VIII, с. 445—446].

Здесь едва ли не за каждым словом сокрыто очень многое: Пушкин хотя и описывает встречу с Ермоловым без всякой надежды ее вскорости опубликовать, по соблюдает осторожность, предвидя возможность рукописного, бесцензурного распространения текста.

Сомневаться в том, что Пушкин к 1829 г. уже знал о «Записках» Ермолова, не приходится.

Ермолов давно их писал: первая редакция его воспоминаний о 1812 г. была создана еще в 1818—1824 гг.

* С любовью (итал.).

(см. [Тартаковский, с. 250]); мы уже говорили о широком хождении в списках отдельных разделов «Кавказских мемуаров», в частности дневника («журнала») о посещении Персии в 1817 г. В пушкиноведческой литературе, кажется, не учитывалась и очень интересная публикация «Персидского дневника», осуществленная совсем незадолго до встречи 1829 г.

В журнале «Отечественные записки», издававшемся в 1820-х годах П. П. Свиньиным, как известно, публиковались разнообразные исторические материалы и документы; многие из них (например, записки Храповицкого, Сегюра и др.) относились к событиям и лицам, которыми Пушкин постоянно интересовался. Знакомство поэта со Свиньиным и его журналом — факт, не вызывающий сомнений и подкрепленный многими данными. Поэтому мы вправе рассматривать в кругу историко-географических источников, помогавших Пушкину готовиться к восточному путешествию, ермоловские материалы, напечатанные в нескольких номерах журнала.

20 сентября 1827 г. последовало цензурное разрешение на публикацию «первой выписки из журнала Российского посольства в Персию 1817 года» (см. [ОЗ, ч. 32, кн. 92, с. 415—450]); 20 декабря 1827 г. цензор С. С. Анастасевич разрешил «вторую, третью и четвертую выписки из журнала русского посольства в Персии 1817 года» (см. [ОЗ, ч. 33, кн. 93—95, с. 107—145, 221—268 и 395—442]).

С декабря 1827 по март 1828 г. «Отечественные записки», таким образом, напечатали извлечения из важнейшего документа, относящегося к восточной политике России. Во вступительной заметке к публикации сообщалось: «Любопытная статья сия получена издателем от одного знаменитого литератора нашего, всегда готового содействовать распространению просвещения и наделявшего неоднократно „Отечественные записки“ весьма полезными статьями, при следующих весьма замечательных строках: „Тогда как орлы наши летят в сердце Персии [...], тогда как взоры всех обращены на театр их побед и славы, для всякого россиянина, вероятно, будет занимательно познакомиться поближе с сею страной и людьми, там действующими; а потому препровождаю к вам несколько отрывков из журнала путешествия российского посольства 1817 года, веденного, как вы сами усмотрите, с большой на-

блюдательностию, острою и знанием сердца человеческого» [ОЗ, ч. 32, кн. 92, с. 415—416].

Затрудняясь пока определить имя «знаменитого литератора» (подписавшегося литерой К.), отметим в конце приведенного отрывка полужамаскированный комплимент автору «журнала», т. е. Ермолову. Подобная публикация была достаточно смелой, если иметь в виду опалу полководца; ее, безусловно, успел прочесть Грибоедов; она знакомила Пушкина с Ермоловым — автором «Записок».

Обнародование воспоминаний Ермолова относится к 1860-м годам; публикация же 1827—1828 гг. замечательна тем, что автор дневника нигде не назван. Достаточно сопоставить подлинный текст «персидского журнала» и публикацию Свиньина, чтобы понять, сколь тщательно редактор «Отечественных записок» заменяет первое лицо рассказчика на третье (вместо «я осматривал», «я сказал» печаталось «посол осматривал», «мы сказали» и т. п.). Смягчен также ряд острых мест, где Ермолов столь резко бичует персидскую тиранию, что его критика приобретает уже более общее значение. Тем не менее и «адаптированный» текст 1827—1828 гг. сохранял немало строк, где резко проявлялись своеобразная личность автора, его особенный стиль и смелые взгляды. Так, характеризуя персидские «верхи», безымянный автор (т. е. Ермолов) рассуждает: «Надлежало бы, чтоб люди придворные во всей Азии составляли одну нацию особенную; ибо тогда, как народы между собою не только больших сходств в нравах, ниже легчайшего подобия в свойствах не имеют, при Дворе они везде одипаковы» [ОЗ, ч. 33, с. 122].

Несколько позже автор восклицает: «Где нет понятия о чести, там, конечно, остается искать одних выгод» [там же, с. 139—140].

Типично ермоловская ирония — при характеристике одного из виднейших персидских сановников: «В злодейское Али-Магмед-хана правление неоднократно подвергался он казни и в школе его изучился видеть и делать беззаконие равнодушно» [там же, с. 228].

В контексте недавнего российского междоусобицы неожиданно актуальными являлись строки, описывающие захват власти нынешним шахом Фетх-Али: «Шах имел хороших лошадей, оставалось только уметь приехать скоро. [...] Здесь не всегда нужны права более основательные» [там же, с. 251—252].

«Посол» подробно описывает на страницах «Отечественных записок», как в Персии вышестоящие обирают нижестоящих, «и так доходит до самого простого народа, которому, если и остается кусок железа, но и тот безжалостная судьба сковывает в цепи рабства, а редко в острый меч защищения» [там же, с. 268].

Последний раздел ермоловского журнала (где описываются аудиенция у шаха, отношения с вельможами, наконец, гарем сардаря) потребовал от издателя особого искусства при маскировке слишком уж выразительного ермоловского «я»; в частности, уже упоминавшаяся сцена, где Ермолов поражал персов своим родством с Чингисханом, сохранена лишь в той степени, чтобы читатель знал, какое можно иметь «великое на народ влияние», если «потомок Чингисхана начальствует непобедимым российским войском» [там же, с. 426—427]. Сохранена также и выразительная реплика «посла»: «Я не думаю, чтобы вовсе не ограниченное самовластие могло быть привлекательно, и не слыхивал, чтобы оно было залогом выгод народов» [там же, с. 411].

Новейшие исследования советских историков обнаружили, что мы прежде недооценивали размеры и значение исторических публикаций, постоянно осуществлявшихся в периодических изданиях первой трети XIX в. (см. [Афгани]).

Меж тем эти публикации являются фоном, своеобразной «питательной средой», обогащавшей и стимулировавшей историческое мышление Пушкина и его современников.

Поскольку в мае 1829 г. Пушкин фиксирует свой разговор с Ермоловым о «Записках», нам небезразлично, что важная часть этих записок недавно публиковалась в довольно заметном периодическом издании. Напрашивается также мысль, что публикаторы не могли бы обнародовать персидский журнал Ермолова без согласия самого генерала; о контактах П. Свиньина с семьей Ермолова довольно красноречиво говорит то обстоятельство, что сразу после окончания последнего отрывка из «Журнала 1817 года» в «Отечественных записках» печатался материал «о прощании и последнем заседании в Орловском тюремном комитете преосвященного Гавриила» [ОЗ, ч. 35, с. 443—448]; при этом сообщалось, что текст получен «от Петра Алексеевича Ермолова из Орла от 25 июля 1827 года». Очевидно, отец

Ермолова (о дружбе которого с орловским архиереем Гавриилом уже говорилось выше) был в достаточно доверительных отношениях со Свиньиным, и гипотеза о подобном же отношении Ермолова-сына, конечно же, весьма правдоподобна.

Возвратившись снова к фразе Пушкина, что Ермолов «пишет или хочет писать свои записки», мы видим, как поэт маскирует свои познания насчет уже завершенных или пишущихся мемуаров; возможно, соблюдает обещание не говорить лишнего, ибо это может привести к новым преследованиям Ермолова...

Та же сдержанность заметна и в известном пушкинском обращении к Ермолову четыре года спустя, в апреле 1833 г.: «Собирая памятники отечественной истории, напрасно ожидал я, чтобы вышло наконец описание Ваших закавказских подвигов. До сих пор поход Наполеона затемняет и заглушает все — и только некоторые военные люди знают, что в то же самое время происходило на Востоке.

Обращаюсь к Вашему высокопревосходительству с просьбою о деле для меня важном. Знаю, что Вы неохотно решитесь ее исполнить. Но Ваша слава принадлежит России, и Вы не вправе ее утаивать. Если в праздные часы занялись Вы славными воспоминаниями и составили записки о своих войнах, то прошу Вас удостоить меня чести быть Вашим издателем. Если ж Ваше равнодушие не допустило Вас сие исполнить, то я прошу Вас дозволить мне быть Вашим историком, даровать мне краткие необходимейшие сведения, и etc.» [П., т. XV, с. 58].

Набрасывая это послание, Пушкин пробовал, заменяя разные обращения к генералу: «Долго не решался я обратиться... с просьбой о деле для меня важном»; «боясь беспокоить Вас в Вашем уединении»; «знаю, что Вы неохотно решитесь ее [просьбу] исполнить» (см. [там же, с. 221]).

Речь идет, как можно заметить, о совершенно определенной части воспоминаний Ермолова, посвященной событиям на Востоке (хотя Ермолов включал в свои «Записки» также историю своего участия в наполеоновских войнах).

Мы не имеем точной уверенности, что Пушкин послал свое письмо, не знаем, отвечал ли Ермолов... Так или иначе, поэт не стал издателем записок о закавказских походах (хотя, по-видимому, имел в виду преце-

дент — публикацию персидского журнала в «Отечественных записках»).

Скорее всего генерал считал несвоевременным обнародование новых фрагментов воспоминаний: и много лет спустя, после смерти Ермолова, заграничная публикация «Записок» вызвала бурную реакцию родственников.

Итак, в 1820—1830-х годах Ермолов уже пишет «Записки», Пушкин о том знает, но делает вид, что не знает.

О том, что Ермолов немало поведал поэту о своих мемуарных замыслах, косвенно свидетельствуют и следующие затем строки, внешне как будто касающиеся другого материала: недовольство Ермолова Карамзиным, интерес к запискам Курбского — все это любопытная параллель к тому, что полтора года назад, 16 сентября 1827 г., записал за Пушкиным в своем дневнике Алексей Николаевич Вульф: «Играя на биллиарде, сказал Пушкин: „Удивляюсь, как мог Карамзин написать так сухо первые части своей „Истории“, говоря об Игоре, Святославе. Это героический период нашей истории. Я непременно напишу историю Петра I, а Александрову — пером Курбского“. И добавил: „Непременно должно описывать современные происшествия, чтобы могли на нас ссылаться. Теперь уже можно писать и царствование Николая и об 14-м декабря“» [Пушк. Восп., т. I, с. 416].

Ермолов, судя по краткой записи Пушкина, говорил примерно то же (возможно, соглашаясь с мыслями, высказанными поэтом); оба толкуют о сходных исторических и политических обстоятельствах; оба пахотятся под впечатлением от чтения недавно опубликованных «Записок» Курбского (только Пушкин думает описать «пером Курбского» антипатичного ему Александра I, Ермолов же, конечно, видит себя «Курбским» по отношению к Николаю).

Генерал, как и Пушкин, понимает значение *современных мемуаров* для будущего историка (точно так же как для Карамзина — летописей и других документов минувшего). Впрочем, Карамзин для Ермолова «слишком объективен». Генерал мечтает о пере пламенном и вместе с тем правдивом.

Позже обнаружили любопытные подробности этого обсуждения. Денис Давыдов пересказывает слова Пушкина: «Читая его [Карамзина] труд, я был поражен тем детским невинным удивлением, с каким он описывает казни, совершенные Иоанном Грозным, как будто

для государей это не есть дело весьма обыкновенное» [Давыдов, с. 487].

Еще подробнее пересказывал Пушкина Н. П. Ермолов (эти строки были обнаружены в архиве Г. П. Штурмом): «Когда Алексей Петрович Ермолов жил в отставке в Орле, Пушкин был у него три раза [...] Между прочим, говоря о Карамзине, он сказал: „Меня удивляет его добродушие и простосердечие: говоря о зверствах Иоанна Грозного, он так ужасается, так удивляется, как будто такие дела и поныне не составляют самого обыкновенного занятия наших царей“» [Штурм, с. 147].

Пушкин с годами все менее принимал пламенную, односторонне пристрастную историческую концепцию; иронизировал над Орловым, который «требовал романа в истории — ново и смело!» В записке «О народном воспитании» поэт выступал против «опасной декламации», противопоставляя ей «хладнокровный» анализ духа народа и считая в данном случае образцом Карамзина (см. [П., т. XI, с. 316]).

Объективность, хладнокровие — вот что Ермолов, очевидно, считал недостатком историографа; Пушкин же, наоборот, полагал, что нужно быть еще объективнее; даже в самых жестоких царских деяниях находить не столько мораль, сколько закон истории, «природу вещей».

Генерал был недоволен Карамзиным, с одной стороны, Пушкин критиковал его — с другой, и парадоксальным образом они могли кое в чем согласиться.

Итак, разговор касался механизма истории, политики, того, что Ермолов прекрасно знал на собственном опыте (вспомним грибоедовский упрек в «деспотизме» и ответ генерала: «Изведай сначала прелесть власти, а потом осуждай»). Любопытно, что, владея «макиавеллическими» тайнами политики, Ермолов тем не менее отказывается от философского беспристрастия и толкует о неравнодушной, пламенной истории, страстях Курбского и т. п.

В связи с «курбскими» оценками нынешнего царствования генерал, видимо, и обратился к любимой своей теме о придворном и военном влиянии немцев (заметим, что он толкует с Пушкиным об их роли именно «в нынешнем походе», т. е. обсуждается опять же история Кавказской войны).

Далее следуют последние строки «ермоловского отрывка».

Ермолову «было досадно, что не помнил моего полного имени. Он извинялся комплиментами. Разговор несколько раз касался литературы. О стихах Грибоедова говорит он, что от их чтения — скулы болят. О правительстве и политике не было ни слова» [П., т. VIII, с. 446].

На этом пушкинский рассказ о встрече резко обрывается. Последняя фраза, конечно, специально для того написана, чтобы понимать ее в обратном смысле.

Рассуждения опального генерала Пушкин оставляет нарочито почти без всяких комментариев и возражений, и отсюда возникает впечатление полного единомыслия обоих собеседников (хотя мы отметили, что Ермолов, например, идеализировал Александра I, тогда как Пушкин хотел быть Курбским, описывая этого монарха; отношение же Пушкина к Николаю I в 1829 г., конечно, более позитивное, чем у Ермолова).

Читатель волен угадывать, что мог ответить Пушкин Ермолову на выпад против грибоедовских стихов («скулы болят» — зевота одолевает; как помним, Ермолов повторил это сравнение, описывая Денису Давыдову свою встречу с Пушкиным). Смешно и нелепо утверждать, будто Пушкин в своем путевом дневнике воспользовался случаем, чтобы рассказать, как Ермолов говорил ему комплименты, а недавно погибшего Грибоедова ругал; но все же для образованного круга той поры, для тех, кто прочтет «путевой дневник» поэта (см. [Левкович]), одна ермоловская фраза о Грибоедове — это знак, напоминая о недавней, серьезнейшей размолвке, как видно не погашенной и трагической гибелью автора «Горя от ума».

Ермолов в эту пору и после дурно отзываясь о стихах Грибоедова, хотя они уже вошли в культуру, язык... А ведь у генерала (по воспоминаниям А. В. Фигнера, относящимся к началу 1850-х годов) «была склонность к поэзии [...], он с особенным удовольствием слушает хорошие стихи. К Пушкину питал восторженные чувства» [Ермолов Алдр., с. 121].

Посмеявшись над стихами, Ермолов, вероятно, не сказал о погибшем чего-либо достойного пушкинской записи. Спустя же четверть века, 24 декабря 1854 г., Бартенев услышал следующие слова генерала: «Поэты суть гордость нации. С каким сожалением он [Ермолов] выразился о ранней смерти Лермонтова: „Уж я бы не

спустил этому [Мартынову]. Если бы я был на Кавказе, я бы спровадил его; там есть такие дела, что можно послать, да, вынув часы, считать, через сколько времени посланного не будет в живых. И было бы законным порядком. Уж у меня бы не отделался. Можно *позволить убить* всякого человека, будь он вельможа или знатный, таких завтра будет много, а этих людей не скоро дождешься» [РА, 1863, с. 440—441].

Имени Грибоедова в этой записи нет: подразумеваются Пушкин, Лермонтов.

Создатель «Горя от ума» объективно присутствует, однако, в этих строках против желания Ермолова...

Сам же генерал еще при жизни Грибоедова, мы помним, ехидно отзывался о «двоедушии» своего бывшего подчиненного (в связи с его женитьбой); 20 января 1828 г. Ермолов из Орла писал Ховену: «Видел награду Грибоедова до заключения мира, следовательно, за дела военные» [РС, 1876, № 10, с. 223]. Смысл ермоловской усмешки здесь в том, что дипломату Грибоедову награды положены лишь по выполнении главного дела, после заключения мира; если же его поощряют до решения дела, выходит, что он прямой участник военных операций... Поскольку же всем известно, что Грибоедов военным не является, вывод из рассуждения Ермолова прост: тут проявилось особое, выходящее за рамки «правил» благоволение Паскевича...

Возвратившись к ермоловскому отрывку «Путешествия в Арзрум», пока ограничимся замечанием о несомненной полемичности первого эпизода первой главы.

Даже если бы Пушкин совсем не упомянул здесь имени Грибоедова, все равно для осведомленной публики поэт высказал свое отношение к противостоянию *Ермолов—Паскевич*, причем отношение, полярное грибоедовскому.

Ю. Н. Тынянов в научном разборе пушкинского «Путешествия в Арзрум» проанализировал полузамаскированный, иронический взгляд на Паскевича, как бы «выработанный» в разговорах с Ф. Толстым, Ермоловым, а позже, на Кавказе, с В. Д. Вольховским, Н. Н. Раевским и другими осведомленными друзьями⁶. Этот взгляд сохраняется до конца пушкинского повествования (см. [Тынянов II, с. 200—201]).

Несколько лет назад Г. П. Макогоненко опубликовал статью «Каков был замысел „Путешествия в Арзрум“?», где полемизирует с тыняновской версией и сомневается в том, что Пушкин «высмеивал Паскевича» (см.: Нева. 1980, № 6). Можно согласиться с ученым, что этот сюжет несколько сложнее, чем его представил Тынянов, что Пушкин как бы «навязывал» Паскевичу положительную роль (в частности, скорбь о погибшем Бурцове и др.). Однако в целом, полагаем, соображения Тынянова сохраняют свою силу: намеки Пушкина на опасное продвижение русских армий в глубь Турции напоминали о чрезмерном, авантюрном риске стратегии Паскевича; к тому же Г. П. Макогоненко игнорирует «ермоловскую сцену», открывающую пушкинский труд и сразу придающую ему совершенно определенную направленность не в пользу Паскевича и его людей (вспомним насмешки над «графом Ерихонским»); наконец, нелюбовь самого Паскевича к Пушкину, его обида также являются доводом, что новый командующий кое-что почувствовал...

Как известно, преемник Ермолова сердился на Пушкина за то, что «лира долго отказывалась бряцать во славу подвигов оружия... и так померкнула заря достопамятных событий персидской и турецкой войны»; узнав о гибели поэта, Паскевич отозвался, что «человек он был дурной» (см. [Пушкин. Путеводитель, с. 297—298], статья о Паскевиче и Пушкине написана Ю. Н. Тыняновым).

Паскевич постоянно искал летописца своих подвигов, и, не найдя такового в Пушкине (заметим, что о «дурном человеке» было сказано после появления в «Современнике» «Путешествия в Арзрум»), генерал получил пужного ему панегириста в лице Якова Николаевича Толстого; последний, некогда близкий к декабристским кругам, затем сделался ренегатом и агентом Третьего отделения за границей; во время последнего свидания Я. Толстого с некогда близким ему Пушкиным, за несколько дней до гибели поэта, Толстой, очевидно, поднес поэту свой труд о Паскевиче, который и сохранился в библиотеке Пушкина: *Essai biographique et historique sur Feld-Maréchal prince de Varsovie comte Paskevitch d'Erivan*. P., 1835 (см.: Пушкин и его современники. Вып. IX—X. СПб., 1910, с. 350).

Итак, в «Путешествии» Ермолов и Паскевич противопоставлены довольно отчетливо.

Тынянов, однако, совсем не касается того обстоятельства, что, «отрицая» Паскевича, Пушкин, в сущности, возражает Грибоедову. Повторим, что в 1829 г. соединение имен только что погибшего Грибоедова и удачливого Паскевича было еще, так сказать, на слуху у современников; позже этот мотив станет более смутным, его в немалой степени сотрет историческая, человеческая память, все сильнее отделявшая гениального драматурга от родственника-генерала. Однако же сейчас нас занимает не реакция современников на пушкинский труд (для этого нужно постоянно представлять, как, когда, в какой степени они могли с ним ознакомиться); нас занимает пушкинская мысль «в чистом виде». Во время кратких петербургских встреч в 1828 г. между двумя поэтами мог, конечно, произойти обмен мнениями насчет Ермолова и Паскевича. Но и без того, не зная, конечно, многих подробностей, Пушкин представлял общий характер взаимоотношений Грибоедова с его бывшим и нынешним начальниками, так же как от Грибоедова, разумеется, не укрылись признаки общественного сочувствия Ермолову.

В пушкинском «Путешествии» мы легко находим определенную полемику с позицией Грибоедова; достаточно сопоставить иронические пушкинские «комплименты» Паскевичу и, например, стремление Грибоедова за два месяца до гибели «побыстрее переслать Паскевичу хвалебный панегирик Булгарина» (см. [Гр., т. III, с. 239]).

Полемику, продолженную и одновременно снятую авторским отступлением о Грибоедове при встрече с его гробом...

Эти знаменитые строки находятся в следующей (после «ермоловской»), второй главе «Путешествия в Арзрум».

Ермоловские и грибоедовские страницы, можно сказать, зеркальны. Они примерно равны по величине, писаны в одном быстром, разговорно-описательном ритме.

Тут, однако, мы встречаемся с очень сложными, отчасти загадочными проблемами. В Георгиевске Пушкин, как уже говорилось, записал и даже перебелил рассказ о Ермолове 15 мая 1829 г., он тогда не знал, не мог знать, что через месяц, 11 июня, встретится на дороге с гробом Грибоедова. «Путевые записки», которые Пушкин вел по пути в Арзрум, сохранились и недавно заново

во подробно изучены (см. [Левкович, с. 3—26]). «Мы видели,— пишет исследователь,— что начиная с 15 мая до начала августа поэт вел „ежедневные записки“, то есть мы имеем все основания говорить о „кавказском дневнике“ Пушкина» [там же, с. 15]. О составе «путевых записок» мы можем судить и по «восточным стихам», что родились или были задуманы в 1829-м, а также по тем прозаическим отрывкам, которые Пушкин опубликовал вскоре после возвращения из путешествия.

Кавказский дневник весьма богат, однако в нем (если не считать иронической реплики Ермолова) ни разу не встречается имя Грибоедова, в то время как упоминаются другие стихотворцы: такова встреча с персидским поэтом Фазил-ханом (описание ее Пушкин публикует в феврале 1830 г. в «Литературной газете»; подробнее см. [Белкин II]). В «Северных цветах» (цензурное разрешение 2 декабря 1829 г.) публикуются пушкинские стихи, связанные с образом великого поэта средневековой Персии,— «Из Гафиза»; в финале четвертой главы «Путешествия в Арзрум» возникает иронически-сниженный образ восточного поэта: «Выходя из... палатки, увидел я молодого человека полунагого, в бараньей шапке, с дубиною в руке и с мехом (outré) за плечами. Он кричал во все горло. Мне сказали, что это был брат мой, дервиш, пришедший приветствовать победителей. Его насилу отогнали» [П., т. VIII, с. 476].

Наконец, в пушкинском «Путешествии» появляется даже вымышленный турецкий стихотворец Амин-оглу, которому русский поэт приписывает собственные стихи «Стамбул гяуры нынче славят...» (о них речь пойдет чуть позже).

Много поэтов, но нет Грибоедова.

Два профильных портрета Грибоедова Пушкин набросал в своей так называемой «полтавской тетради» еще до известия о катастрофе в Тегеране (см. [Керцелли, с. 67—85]). Д. И. Белкин считает, что Пушкин оставил намерение обратиться в стихах к Фазил-хану после встречи с останками Грибоедова [Белкин II, с. 182—184]. И тем не менее мы не находим следов прямого пушкинского отклика на событие, случившееся 11 июня 1829 г. на Семеновском перевале: о встрече с гробом Грибоедова не сохранилось никаких упоминаний ни в переписке поэта, ни в кавказских стихотворениях, ни в «путевых записках» 1829 г., ни даже в подробном плане-оглавлении этих записок, набросанном 18 июля 1829 г.

(хотя там есть и «поэт персидский», и «принц персидский»; см. [П., т. VIII, с. 1046]).

Пройдет шесть лет, и в окончательном тексте «Путешествия в Арзрум» (1835 г.), там, где впервые мы встречаемся с грибоедовским эпизодом, Пушкин напишет сначала, что гроб везли «четыре вола», потом переделает: «два вола». Стало быть, запись делалась по памяти, через определенное, скорее всего длительное время.

Еще более любопытны подробности географического характера. Рассказ о встрече с гробом Грибоедова начинается со слов: «Я стал подыматься на Безобдал, гору, отделяющую Грузию от древней Армении [...] на высоком берегу реки увидел против себя крепость Гергеры. [...] Я переехал через реку. Два вола, впряженные в арбу, подымались по крутой дороге...»

Затем идет известное отступление Пушкина, посвященное памяти погибшего поэта; после же окончания грибоедовского отрывка следует: «В Гергерях встретил я Бутурлина, который, как и я, ехал в армию» [П., т. VIII, с. 462].

Еще в конце XIX столетия известный знаток Кавказа указал на ошибку Пушкина: «Через Безобдал перевалил он не до Гергер, а после выезда из этого укрепления» [Вейденбаум, с. 54]. Соответственно точной хронологической канвой пушкинского путешествия в этом краю являются следующие даты: «10 июня. Выезд из Тифлиса. 11 июня. Волчьи ворота. Гергеры. Встреча с телом Грибоедова. Перевал через Безобдальский хребет. Перники. Ночлег в Гумрах» [там же, с. 63]. Гумры, Гергеры упоминаются и в плане-оглавлении пушкинского путешествия; географическая же перестановка при описании встречи с Грибоедовым — еще одно свидетельство того, что этот эпизод был записан значительно позже и сначала никак не отразился в путевых записках.

Главным же доводом в пользу позднейшего рождения на свет грибоедовского отрывка является само его содержание, которое мы далее проанализируем столь же «медленно», как и строки, посвященные Ермолову в первой главе «Путешествия в Арзрум». Пока только повторим, что событие, встреча с гробом Грибоедова, и его литературное воплощение, по всей видимости, разделены шестью годами — огромным сроком для краткой пушкинской биографии.

Между 1829 и 1835 годами поэт возвратился с Кав-

каза, пережил три вдохновенные болдинские осени, завершил или задумал десятки сочинений в стихах и прозе, женился, переехал в столицу, познал горечь разнообразных унижений и уже имел самые дурные предчувствия, которые сбудутся в скором будущем...

Сегодняшние читатели «Путешествия в Арзрум» воспринимают разные эпизоды, например встречу с Ермоловым, воспоминание о Грибоедове, как единое, неразделимое целое. Они действительно соединились, повинаясь воле гениального автора; однако нам безразлично, как, когда, при каких обстоятельствах рождались те или иные фрагменты еще не завершённой книги.

Присмотревшись к чередованию текста о Ермолове (и Грибоедове, от стихов которого «скулы болят») в первой главе, а затем о Грибоедове, его личности и гибели — во второй главе, мы теперь легко находим их взаимную связь...

Впрочем, никто не может поручиться, что рукопись, в основном создававшаяся в 1835 г., если бы не маскировалась от цензуры, то обязательно включила бы ермоловский эпизод: в окончательном тексте он лишь намечен, но формально отсутствует, и, как знать, не переменял ли бы Пушкин кое-что или даже многое в нем под влиянием опыта прошедших шести лет? Вспомним по этому случаю важный вопрос, поставленный Тыняновым: «Можно ли в окончательный текст произведения, написанного в 1835 году, вносить произвольные, случайные дополнения по черновым записям 1829 года, когда замысел „Путешествия“ еще никак не был оформлен?» [Тынянов II, с. 198].

Не углубляясь в эту очень трудную, а может быть и неразрешимую, проблему, заметим только, что понадобилось шесть лет, чтобы Пушкин почувствовал естественную, органическую потребность дополнить полускрытую полемику ермоловского эпизода новыми мотивами.



Глава 6

К Грибоедову

Стамбул заснул перед бодой..
Пушкин



1830-х годах Пушкина и Грибоедова, конечно, постоянно сближает Восток, интерес к Востоку. Ощущение значительности всего происходящего в 1826—1829 гг., которое властно повзало сначала Грибоедова, а потом Пушкина в дальнюю кавказскую дорогу, — все это сохранялось и обдумывалось в последующие годы.

Неоднократно отмечались многочисленные параллели «путевых записок», «Путешествия в Арзрум», с одной стороны, и «Путешествия Онегина» на Кавказ в VIII (позже — IX) главе пушкинской поэмы — с другой:

Вдали — кавказские громады:
К ним путь открыт. Пробылась брапь
За их естественную грапь
Через их опасные преграды;
Брега Арагвы и Куры
Узрели русские шатры..

О пушкинском интересе к кавказским делам и людям свидетельствуют любопытные, еще мало исследованные замыслы повести «Кавказские воды». Одна из самых острых *грибоедовских проблем*, занимавших Пушкина, — столкновение и сложное взаимопроникновение европейской и азиатской цивилизаций. Не углубляясь слишком в этот интереснейший сюжет (в последние годы не раз затронутый исследователями), остановимся лишь на одном стихотворении, которое Пушкин включил в окончательный текст «Путешествия в Арзрум»:

«Между Арзрумом и Константинополем существует соперничество, как между Казанью и Москвою. Вот на-

чало сатирической поэмы, сочиненной янычаром Амин-ом-оглу».

Затем читатели «Путешествия» знакомятся с прекрасным переводом сочинения Амин-оглу. Качество сочинения тем более замечательно, что Амин-оглу никогда не существовал, стихи же о сонном Стамбуле и пагорном Арзруме хотя и были, вероятно, задуманы в июле 1829 г., но завершены за тысячи верст от гаремов, фонтанов, янычар: Болдино, 17 октября 1830 г. В дальнейшем мы будем говорить о *раннем* тексте этого стихотворения, который лишь частично был включен Пушкиным в состав «Путешествия в Арзрум». Перед глазами, в памяти поэта, очевидно, теснились образы, картины одна ужаснее другой, и мы вольны гадать, отчего так волновало его событие, случившееся в Турецкой империи четыре года назад, когда янычары, султанская гвардия пытались свергнуть султана Махмуда II, по подверглись свирепым карам...

Стамбул гяуры цыпче славят,
А завтра ковапой цытой,
Как змия спящего, раздавят
И прочь пойдут — и так оставят.
Стамбул заснул перед бедой.

Стамбул отрекся от пророка;
В нем правду древнего Востока
Лукавый Запад омрачил —
Стамбул для сладостей порока
Мольбе в сабле измепил.
Стамбул отвык от поту битвы
И пьет вино в часы молитвы.

Там веры чистый луч потух:
Там жены по базару ходят,
На перекрестки шлют старух,
А те мужчин в харемы вводят,
И спит подкупленный евпух.

Но не таков Арзрум пагорный,
Многодорожный наш Арзрум:
Не сним мы в роскоши позорной,
Не черпем чашей пенокорной
В вине разврат, огонь и шум.

Постимся мы: струею трезвой
Однн фонтаны нас поят;
Толпой пейстовой и резвой
Джигиты наши в бой летят
Мы к женам, как орлы, ревшвы,
Харемы наши молчаливы,
Цепрницаемы стоят.

Алла велик!

К нам из Стамбула
Пришел гонимый янычар.
Тогда нас буря долу гнула,
И пал неслыханный удар.
От Рущука до старой Смирны,
От Трапезунда до Тульчи,
Скликай псов на праздник жирный,
Толпой ходили палачи;

Треща в объятиях пожаров,
Валились дома янычаров;
Окровавленные зубцы
Везде торчали; угли тлели;
На кольях, скорчась, мертвецы
Оцепенелые чернели.
Алла велик. Тогда султан
Был духом гнева обуян.

Исследователи не раз писали о «во многих отношениях загадочном стихотворении» [Благой, т. I, с. 522], удивлялись «странной потребности рассказать русской публике» о ряде событий турецкой истории. В свое время делались попытки сопоставить взгляд Пушкина на бунт янычар с борьбой Петра против стрельцов и оппозиционного боярства [Благой, т. II, с. 195]; в одном из недавних исследований справедливо подчеркивается особая объективность Пушкина при изображении им турецкой действительности, на которую поэт смотрит не только глазами европейца, но также «изнутри» (см. [Белкин III, с. 123—124]). Сравнительный анализ показал, что стихотворение Пушкина основано на обширных познаниях поэта, его основательном знакомстве с многообразными материалами, публиковавшимися в русской и заграничной печати о турецких событиях 1826 г. [там же, с. 124—129]. Поражает, между прочим, проникновение Пушкина в тонкие фактические, идеологические подробности сложной ситуации, создавшейся в Турции: достаточно сопоставить строки Пушкина с позднейшим авторитетным трудом немецкого исследователя, чтобы убедиться, что речь идет о реальных последствиях подавления мятежных янычар в Стамбуле: «Из провинции пришли известия, что уничтожение тамошних янычарских орд [полков] совершилось почти без сопротивления. Только в Эрзеруме и Алеппо нужно было прибегнуть к некоторым казням. Головы осужденных сопровождали эти увещания, чтобы быть выставленными перед сералем для позора» [Д. Розен, с. 20].

Пушкин в стихах верно передает сочувствие турец-

кого народа к старине, уничтожаемой в 1826 г., смешанное с невероятным страхом. «Неумолимая строгость так застрашала народ, — пишет Розен, — что бесспорно сильно распространенное предпочтение старых порядков не отваживалось более обнаруживаться явно. [...] Сверх того, от неудовольствия старой янычарской партии, сильной еще в провинциальных городах, во всей земле господствовало какое-то уныние, выгодное для русских, но вредное для турок» [там же, с. 22, 81].

Перечисляя арзрумские добродетели, Пушкин сначала написал (но потом зачеркнул) четверостишие, начинавшееся словами: «В нас ум владеет плотью дикой...» Изображение казней в черновой рукописи еще более отталкивающее — в Стамбул со всех сторон везли «мешки ушей»...

Уже не раз говорилось, что нелепо искать в каждом полете пушкинской поэтической фантазии некий скрытый смысл, прямо связанный с его биографией или с политической жизнью России. Стихи вряд ли были бы написаны, если б поэт за год до Болдина не видел Арзрум, Восток. Но, конечно, наивно заключать, что в стихах просто «путевые картинки» или запись услышанного... Мы вправе задуматься, почему именно противопоставление Стамбула Арзруму и подробности казни янычар привлекли внимание поэта. Некоторые пушкинисты находят связь между «восточным стихотворением» и только что написанной «Моей родословной». Честные, храбрые, дряхлеющие роды оттеснены «новой знатью» — порочными временщиками; мятежи кончаются худо (сравнение соперничества Стамбула с Арзрумом и Москвы с Казанью нарочито неточное: не с Казанью, а с Петербургом!).

Разумеется, бунт янычар против своего самодержавия совсем не то, что бунт на Сенатской площади, но с виду события действительно похожие! Часть армии пытается взять власть, затем поражение и тяжкие кары... Турецкий бунт произошел 15 июня 1826 г., в те дни, когда завершался процесс над российскими мятежниками. Пушкин по пути в Арзрум встречался с разжалованными и сосланными в армию декабристами; весьма вероятны разговоры о столь разных бунтах и столь похожих расправах. *Милость к падшим* — эта мысль также не оставляет поэта до последних дней. Несколько раз он пытается ввести этот мотив в стихотворение: «гонимого впусти», «спаси гонимых»... Возможно, Пушкин от-

бросил недававшуюся строку, но нельзя исключать маскировки, осторожности, того, что, видимо, заставило его спустя несколько лет подарить все это стихотворение «бессмертному Амину-оглу»...

Вторжение Запада в сложившийся уклад древнего народа — столь же важная проблема для России, сколь и для мусульманского Востока. Пушкин умеет взглянуть на Кавказ, Турцию и со стороны победителей, и глазами побежденных; сопоставляет разные формы исторической истины, изучает возможность или невозможность их соединения.

Подобный взгляд великого поэта-историка, отличающийся объективностью, высоким историзмом, в сущности, полемичен по отношению ко многим европейским путешественникам, политикам, мемуаристам, в частности к Ермолову.

Если сопоставить «Путешествие в Арзрум» с ермоловским «Журналом посольства в Персию», легко обнаруживаются многие сходные темы (например, иронические зарисовки гарема, восточного войска). И все же Ермолов постоянно смотрит на Персию «со своей стороны»: в его суждениях прорывается то грозный колонизатор, то европейски просвещенный человек, не принимающий восточного уклада, то ненавистник деспотизма, смело порицающий в персидских порядках то, что отвергает и у себя дома; однако почти нигде нет попытки взглянуть «персидскими глазами», попытаться оценить ту цивилизацию изнутри, по ее давним, тысячелетним законам...

Куда ближе к пушкинскому взгляду представляется особое, ироничное воззрение Грибоедова, который (как уже упоминалось выше) признавался в конце 1825 г., что его занимает «борьба горной и лесной свободы с барабанным просвещением, действия копгревов; будем вешать и прощать и плюем на историю».

В последней фразе ясно высвечивается мысль, что историю, в частности «горную и лесную свободу», надо понять!

Вечный конфликт между неумолимой новизной и правом старины на существование, между естественным и привнесённым извне. Пушкин трактует великую историческую, философскую проблему как поэт, художник, публицист; Грибоедов, о многом рассуждая сходно, в то же время пытается решать древние вопросы и как политик, государственный деятель, «как Ермолов».

Эпистолярные строки о «барабанном просвещении», по видимому, имеют параллель с некоторыми мотивами трагедии «Грузинская ночь», где в патриархальный, сложившийся, но притом жестокий, страшный древний быт вторгается извне юный русский офицер, и последствия конфликта неясны, неведомы...

Сверх того, кроме художественных размышлений о Западе—Востоке Грибоедов вводит в «дискуссию» свой удивляющий, утопический проект Российской — Закавказской компании, пытается направить историю по своим начертаниям...

Снова и снова заметим, что проблема Востока была и русской проблемой XVIII—XIX вв.: Европа на Восток идет, в Россию уже пришла. Когда «Арзрум нагорный» осторожно, замаскированно сопоставляется с Москвой, самое время вспомнить, что Москва — «знак» Грибоедова, и диалог двух русских гениев уже касается и российского будущего...

В ту самую пору, когда Пушкин писал о соперничестве российских столиц (в «Медном всаднике» и многих других сочинениях), он в одной из работ (при жизни не доведенной до печати) прямо пишет об отмирании той Москвы, которую представлял Грибоедов, впрочем признавая появление новой, умной, талаптливой московской молодежи: «„Горе от ума“ есть уже картина обветшавшая, печальный анахронизм. Вы в Москве уже не найдете ни Фамусова, который *всякому, ты знаешь, рад* — и князю Петру Ильичу, и французика из Бордо, и Загорецкому, и Скалозубу, и Чацкому; ни Татьяны Юрьевны, которая

Балы дает нельзя богачо
От рождества и до поста,
А летом праздники на даче.

Хлестова — в могиле; Репетилов — в деревне. Бедная Москва!..» [П., т. XI, с. 241].

В сложном конгломерате ориентальных и российских судеб у Пушкина постоянно мерцает тема *14 декабря* как одна из существенных попыток решить великие вопросы. И снова Грибоедов, его круг занимают мысль, воображение поэта. В планах повести «Русский Пелам» (1835) несколько раз обыгрывается ситуация, близкая по именам и подробностям к дуэли 1817 г., где принял участие Грибоедов; в разделе же «характеры» перечисляется ряд фамилий, известных в столичном обще-

стве, литературной, политической жизни декабристского времени: «Кн. Шаховской, Ежова, Истомина, Грибоедов, Завадовский. Дом Всеволожских. Котляревский. Мордвинов, его общество. Хрущов. Общество *умных* (Илья Долгоруков, Сергей Трубецкой, Никита Муравьев etc.)» [П., т. VIII, с. 974].

Современный исследователь обратил внимание на то, что «Роман о Пеламе начат не ранее конца октября 1834 г. и оставлен не позднее апреля 1835 г. В апреле же Пушкин принимается за «„Путешествие в Арзрум“, отказываясь от завершения „Пелама“, но сохраняет в новом произведении две темы — Грибоедова и декабристов» [Мещеряков II, с. 213].

Мы коснулись двух «грибоедовских мотивов», обдуманых Пушкиным между 1829-м и 1835-м: Восток и Запад, декабристы. Третий момент, возможно повлиявший на введение грибоедовского отрывка в «Путешествие», — осложнение пушкинского отношения к Ермолову.

Интерес к нему и в 1829 г. не был для поэта культом: многими исследователями замечено нарочитое сравнение Ермолова не со львом (что было бы, естественно, самым лестным), но с тигром, зверем по «культурной шкале» менее благородным (см. [Фейпберг, с. 378—379]).

Мелькают в «Путешествии» и строки о любезном Пушкину создателе «Тифлиссских ведомостей» Санковском: «Санковский рассказывал мне много любопытного о здешнем крае, о князе Цицианове, об А. П. Ермолове и проч. Санковский любит Грузию и предвидит для нее блестящую будущность» [П., т. VIII, с. 457].

Мы не знаем, но догадываемся, что молодой издатель говорил о Ермолове не только лестное: опальный генерал не имел той веры в будущность Грузии, какая была у Санковского; современный исследователь справедливо находит, что многие размышления поэта о печальном преобладании на Кавказе мер усмирительных над экономическими, культурными — все это скрытый упрек Ермолову: «Если девять лет назад тень опасности правилась „мечтательному воображению“ поэта, то теперь „песпосная жара“, медленность перехода — все вызывает раздражение. „Благословенный гений Ермолова“ не принес плодов, и Пушкин продолжает свои размышления о черкесах, пачатые девять лет назад. Не оружие, а просвещение, культура и „христианские мис-

сионеры“ — вот что может благоприятствовать сближению горских народов и России» [Левкович, с. 17].

Скептические нотки не могут уравновесить большого интереса и сочувствия Пушкина к отставленному Ермолову; однако со временем критическая ирония как будто усиливается. В дневниковой записи поэта от 2 июня 1834 г. (т. е. через пять лет после первой встречи с Ермоловым и за год до завершения «Путешествия») мы находим следующие строки о генерале П. Д. Киселеве: «Много говорили об его правлении в Валахии. Он, может, самый замечательный из наших государственных людей, не исключая Ермолова, великого шарлатана» [П., т. XII, с. 330].

Как объяснить этот текст? Принято толкование, будто поэта возмущало хитрое двоедушие генерала (вспомним — «улыбка неприятная, потому что неестественна»). Действительно, некоторые соратники и начальники (например, Константин Павлович) писали, что Ермолов «с обманцем», «продаст и выкупит»; однако то была давняя репутация, причина же реплики Пушкина, по-видимому, в другом.

Даже близкие люди осуждали генерала за один поступок, который он совершил в декабре 1831 г.: согласился на царское предложение стать членом Государственного совета и лишь в 1839 г., невзирая на неудовольствие царя, попросил об увольнении (см. [Ермолов Алдр. с. 115—117]). Денис Давыдов, в любви и сочувствии которого к Ермолову сомневаться не приходится, кузен генерала, который почти не находил у него ошибок во время управления Кавказом, видел единственную слабость опального в том, что он не сумел отказаться от царской «милости»: «Ермолов, вполне обманутый государем, для которого предстояла возможность употребить с пользою его дарования, вновь надел мундир: это было со стороны Ермолова непростительною ошибкою, сильно потрясшею огромную популярность...» [Давыдов, с. 512].

По всей видимости, Пушкин усмотрел противоречие между прежней независимой позицией генерала и новой его ролью, заподозрил и здесь некоторое «обманство». Теперь, в 1830-х годах, Пушкин и Ермолов жили в одном городе, Петербурге, и каждый играл «чужую роль»: один — камер-юнкер, другой — член Государственного совета. Новых встреч и бесед, кроме эпизодических, уже не было (не считая цитированной пушкин-

ской просьбы прислать «Записки»). То обстоятельство, что Ермолов тяготился своим положением, на заседаниях отмалчивался, старался их не посещать, мечтал об отставке, которую в конце концов и получил в 1839 г., — все это Пушкин и его круг могли в 1834—1835 гг. еще не осознать. Позже другой замечательный знаток людей и обстоятельств заметит, что «прозаическому, осеннему царствованию Николая не нужно было таких людей [...] эти люди вообще неловки, громко говорят, шумят, иногда возражают, судят вкривь и вкось; они, правда, готовы всегда лить свою кровь на поле сражения и служат до конца дней своих верой и правдой; но войны внешней тогда не предвиделось, а для внутренней они не способны. Говорят, что граф Бенкендорф, входя к государю — а ходил он к нему раз пять в день, — всякий раз бледнел — вот какие люди нужны были повому государю. Ему нужны были агенты, а не помощники, исполнители, а не советники, вестовые, а не воины. Он никогда не мог придумать, что сделать из умнейшего всех русских генералов — Ермолова, и оставил его в праздности доживать век в Москве» [Герцен, т. VI, с. 303]; любопытно, что автор этих строк (написанных в начале 1850-х годов) сомневался, к какой категории людей — прежним или «новейшим» — отнести Паскевича. Говоря о «стариках», Герцен писал: «Долею к этим людям принадлежит Паскевич. [...] Я говорю: долею, потому что он был совершенно неизвестен до турецкой кампании 1828 года. Паскевич, один из дюжинных полковников 1812 года, вызван на сцену не Александром, но Николаем. Тем не менее Паскевич не дикий исполнитель царской воли; насколько он может, настолько он отводит бездушную, ненасытную месть Николаю» [там же, с. 417].

Пушкин, несколько пересматривая свой взгляд на Ермолова, также, видимо, смягчал и прежние воззрения на Паскевича; не соглашаясь с мнением Г. П. Макогоненко, будто в окончательном тексте «Путешествия в Арзрум» Паскевич вообще представлен как положительный герой, признаем, что взгляд поэта (по сравнению с непосредственным впечатлением 1829 г.) становится более многомерным, историчным.

Наконец, последний существенный мотив для «грибоедовского разговора».

Одним из тех, кто обвинял Пушкина в недооценке побед Паскевича, был тот журналист, кто всячески рекламировал свою близость к Грибоедову, — Булгарин.

Как известно, его «Северная пчела» еще 22 марта 1830 г. отозвалась на публикацию первого отрывка из пушкинских «путевых записок» («Военно-Грузинская дорога»). «Итак, надежды наши исчезли! — восклицал Булгарин. — Мы думали, что автор „Руслана и Людмилы“ устремился на Кавказ, чтобы напитаться высокими чувствами поэзии, обогатиться новыми впечатлениями и в сладких песнях передать потомству великие подвиги русских современных героев. Мы думали, что великие события на Востоке, удивившие мир и стяжавшие России уважение всех просвещенных народов, возбудят гения наших поэтов, — и мы ошиблись».

Пушкин не раз — и в подготовительных текстах к «Медному всаднику», и в «Домике в Коломне», и в черновиках цитированного предисловия к «Путешествию в Арзрум» — начинал отвечать на булгаринский донос, но сдерживался, опасаясь, между прочим, что Булгарину будет придано большее значение, нежели он имеет.

Одновременно с нападками на Пушкина Булгарин, как уже отмечалось, напечатал и несколько раз перепечатал свои воспоминания о Грибоедове; вообще непрерывно — к случаю и без повода — он вспоминал о своей близости к погибшему поэту. Незадолго до завершения «Путешествия в Арзрум» Булгарин опубликовал «Памятные записки титулярного советника Чухина», где, между прочим, довольно прозрачно обрисовал Грибоедова под именем «Александра Сергеевича Световидова». Современный исследователь интересно проанализировал некоторые элементы пушкинской полемики с Булгаринным из-за Грибоедова (см. [Фесенко, с. 108—109]); следует, наверное, подчеркнуть, что Булгарин, в сущности, постоянно противопоставляет «отрицательному» Пушкину «положительного» Грибоедова: автор «Горя от ума» — прямой участник закавказских событий, проводник тех «великих дел», о которых Пушкин, как видно, не желает петь...

Пушкину вообще в течение его жизни не раз противопоставляли других великих мастеров как доказательство того, что можно соединять высокий дар с «благовоспитанностью», «лояльностью» и т. п. Не раз ему в пример поставят Карамзина, не ссорившегося с царями; другой «положительный образец» — Гёте, который умел не только ладить со своим монархом, но и возглавлял правительство. Наконец, назойливая булгаринская хвала Грибоедову.

В этих условиях важной, насущной задачей было отделить великого мастера от примазывающихся, от тех, кого Пушкин числил по литературному «вшивому рынку»...

Таким образом, к 1835 г. грибоедовская тема была подготовлена для Пушкина «со многих сторон» — и художественной логикой новых сочинений, и публицистическими воспоминаниями, и размышлениями поэта о самом себе, своем будущем и будущем страны. В 1835 г. и был, очевидно, впервые написан грибоедовский эпизод «Путешествия в Арзрум», которого не было ни в путевых записках, ни в других, более ранних набросках: слишком много в нем прямых реминисценций с тогдашним положением и взглядами Пушкина — достаточно не торопясь перечитать этот текст, включенный во вторую главу «Путешествия».

«Я ПОЗНАКОМИЛСЯ С ГРИБОЕДОВЫМ...»

«Я познакомился с Грибоедовым в 1817 году. Его меланхолический характер, его озлобленный ум, его добродушие, самые слабости и пороки, неизбежные спутники человечества, — все в нем было необыкновенно привлекательно. Рожденный с честолюбием, равным его дарованиям, долго был он опутан сетями мелочных нужд и неизвестности. Способности человека государственного оставались без употребления; талант поэта был не признан; даже его холодная и блестящая храбрость оставалась некоторое время в подозрении. Несколько друзей знали ему цену и видели улыбку недоверчивости, эту глупую, несносную улыбку, когда случалось им говорить о нем как о человеке необыкновенном. Люди верят только славе и не понимают, что между ими может находиться какой-нибудь Наполеон, не предводительствовавший ни одною егерскою ротою, или другой Декарт, не напечатавший ни одной строчки в Московском Телеграфе. Впрочем, уважение наше к славе происходит, может быть, от самолюбия: в состав славы входит ведь и наш голос» [П., т. VIII, с. 461].

Строки теплые, сочувственные, позволяющие считать, что сам автор (который как раз не был обделен славою с юных лет) принадлежал к людям, угадавшим необыкновенность Грибоедова, почти еще не имевшего литературной, общественной известности. Иное дело, что Пушкин и Грибоедов принадлежали к разным литера-

турным группировкам; что их заочные отношения были непросты; что Пушкин многое критиковал в «Горе от ума»; в 1835 г. все это — уже давняя история, не столь важная, как вопрос о судьбе поэта вообще...

В первых же строках грибоедовского фрагмента «Пушкин явно полемизировал с Булгаричем [...], например, Булгарич заканчивает свое рассуждение о необыкновенных способностях Световидова: „Он был рожден быть Бонапартом или Магометом“. У Пушкина: „Люди верят только славе и не понимают, что между ими может находиться какой-нибудь Наполеон [...] или другой Декарт“» [Фесенко, с. 109]. Добавим к этому, что именно Булгарич — обыватель, человек толпы, признающий только славу; будущего редактора «Северной пчелы», между прочим, даже не было в Петербурге, когда Грибоедов совершал первые шаги на литературном и общественном поприще; он сближается с Грибоедовым, который уже привез в столицу «Горе от ума».

Речь идет о начале 1820-х годов; однако особая печаль, разлитая в этих и следующих строках, заставляет видеть в тексте сопоставление двух поэтических судеб. Характер, слог размышлений о Грибоедове является эхом пушкинских настроений незадолго до собственной смерти. В 1829 г. поэт, путешествуя в Арзрум, был еще куда более оптимистичен, хотя налицо уже первые признаки новых затруднений («Полтава», завершенная в 1828 г., — первое сочинение поэта, не имевшее ожидаемого успеха). Различные строки грибоедовского фрагмента находят параллель в ряде пушкинских стихотворений 1830-х годов. Обличение толпы, педоверчивой улыбки, «глупой, песносной улыбки» мы находим в стихах «Услышишь суд глупца и смех толпы холодной...» (1830 г.); в «Путешествии в Арзрум»: «Люди верят только славе...»; в стихотворении «Полководец» (1835 г.):

О люди! жалкий род, достойный слез и смеха!
Жрецы минутного, поклонники успеха...

С Барклаем удивительно сопрягается и фраза Пушкина о педоверии к «холодной и блестящей храбрости» Грибоедова.

Наконец, слова про «сеть мелочных нужд» — это, можно сказать, автобиографическая характеристика Пушкина, в чьих письмах после женитьбы множество подробностей про обременительные мелочные нужды.

Здесь также удивительно предвосхищаются строки Лермонтова:

Не вынесла душа поэта
Позора мелочных обид...

Возвратившись к тексту грибоедовского отрывка во второй главе «Путешествия», мы, разумеется, обязаны припомнить «встречу с Ермоловым», которая представлена в том же сочинении немного раньше, в начале главы первой. Оба отрывка, конечно, взаимосвязаны.

«НЕКОТОРЫЕ ОБЛАКА»

Ермолов отозвался о стихах Грибоедова иронически. Пушкин не возразил, но во второй главе пишет о «таланте поэта» и горячо осуждает кого-то (мы догадываемся, что и Ермолова) за «улыбку недоверчивости».

Успехи Паскевича, период Паскевича на Кавказе критически оценены в беседе с Ермоловым; но в грибоедовском отрывке говорится о государственных дарованиях Грибоедова, развернувшихся именно при Паскевиче. Тут едва ли не каждая фраза — теневой ответ Ермолову, который, мы ведь знаем, находил, что автор «Горя от ума», как и Державин, «не способен к делу».

«Способности человека государственного оставались без употребления», но Пушкин хорошо знает, что это при Ермолове Грибоедов изнемогал от досуга...

Пушкин, споря, умеет, однако, и согласиться; вообще он один из великих мастеров особого жанра, который удобно именовать «спор—согласие».

Это особенно хорошо видно в следующих известных строках: «Жизнь Грибоедова была затемнена некоторыми облаками: следствие пылких страстей и могучих обстоятельств. Он почувствовал необходимость расчистить единожды павсегда со своею молодостию и круто поворотить свою жизнь. Он простился с Петербургом и с праздною рассеянностью, уехал в Грузию, где пробыл восемь лет в уединенных, неусыпных занятиях. Возвращение его в Москву в 1824 году было переворотом в его судьбе и началом непрерывных успехов. Его рукописная комедия „Горе от ума“ произвела неописанное действие и вдруг поставила его наряду с первыми нашими поэтами. Несколько времени потом совершенное знание того края, где начиналась война, открыло ему новое поприще; он назначен был посланником. Приехав в Гру-

зию, женился он на той, которую любил... Не знаю ничего завиднее последних годов бурной его жизни. Самая смерть, постигшая его посреди смелого неровного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего томительного. Она была мгновенна и прекрасна» [П., т. VIII, с. 461—462].

Скрытый диалог с Ермоловым продолжается. Генерал давал Грибоедову «досуги», не видел от него пользы — Пушкин пишет об «уединенных, неусыпных занятиях» в Грузии...

Современные изыскания убеждают, что Пушкин вполне мог быть знаком с грибоедовским проектом переустройства Кавказа (см. [Фесенко, с. 111—112]). О проекте знали многие собеседники Пушкина; между прочим, среди принимавших поэта в Тифлисе был Завилейский; осведомлен был и П. С. Санковский, издатель «Тифлисских ведомостей», приславший Пушкину свою газету.

Во всяком случае, в «Путешествии» мелькают отклики Пушкина на некоторые сюжеты, которые Грибоедов затрагивал в 1828-м, в своем вступлении к проекту. Так, например, строки о «диких племенах» («Влияние роскоши может благоприятствовать их укрощению: самовар был бы важным нововведением»), о грузинах («их умственные способности ожидают большей образованности»). Впрочем, подобные мысли были у многих, «у всех»; за тысячи верст от Кавказа, в сибирской ссылке, декабрист Лунин вскоре оценит результаты войны с Персией и Турцией: «...в этой земле надо не только покорять, но и организовать. Система же, принятая для достижения последней цели, кажется недостаточной» [Лунин, с. 15].¹

Однако вернемся снова к «поминкам по Грибоедову» во второй главе «Путешествия в Арзрум».

В общем тоне сочувственного надгробного слова выделяются строки о жизни Грибоедова, затемненной «некоторыми облаками». Пушкин не объясняет, что за облака, — образованному читателю, современнику это было, по-видимому, понятно; большинство комментаторов считают, что речь идет все о той же злополучной дуэли 1817 г., когда даже храбрость Грибоедова «оставалась в подозрении». Однако продолжение фразы — о «нылких страстях и могучих обстоятельствах» — явно не уместится в том биографическом эпизоде (тем более что о 1817 г. уже сказано в предыдущем абзаце).

Такие люди, как декабристы, Вяземский, Денис Давыдов, наконец, Ермолов, в этих строках, без сомнения, угадывали страсти, обстоятельства *последних лет*; речь идет о тайных обществах, декабристской репутации Грибоедова, чудесном избавлении от крепости и Сибири, о честолюбивом стремлении к реализации своих государственных способностей.

В пушкинской формуле — «облака... страсти... обстоятельства», — полагаем, подразумеваются и разрыв Грибоедова с Ермоловым, и служба в канцелярии Паскевича...

Едва ли не каждая пушкинская строка имеет важный подтекст. Приглядимся к словам: «Самая смерть [...] была мгновенна и прекрасна».

Пушкин, без сомнения, хорошо знал подробности сражения в Тегеране с наседающей толпой и мученической гибели русской миссии... Всего за страницу перед тем он сообщал, что во время последней встречи Грибоедов «был печален и имел странные предчувствия»; что «он погиб под кинжалами персиян, жертвой невежества и вероломства». Не странно ли, что смерть предчувствованная, результат невежества и вероломства, что такая смерть «мгновенна и прекрасна»? Не была ли она выходом, по мнению Пушкина, из каких-то тяжких обстоятельств?

И вдруг мы находим любопытную параллель этим строкам в московских разговорах 1829 г., сохранных блестящей актерской памятью М. С. Щепкина (в передаче двух других знаменитых актеров, И. В. Самарина и В. Н. Давыдова): «Когда в Москву пришло известие о смерти Грибоедова, по Москве стали передавать из уст в уста, что Грибоедов мог спастись, но что, давно обуреваемый болезненным самолюбием и не умея создать ничего равного гениальному „Горю“, давно мечтал о смерти и будто бы сам бросился в толпу мятежников и погиб, нисколько не сопротивляясь». И Щепкин, кончая рассказ, всегда добавлял: «Недаром Пушкин назвал его смерть прекрасной! Для человека — ужасно! Для великого художника — прекрасно!..» [Щепкин, т. II, с. 398].

Вот каковы были толки в *грибоедовской Москве*, и не только там; вот какие мысли вьются возле пушкинского фрагмента. Дело не в том, согласен или не согласен Пушкин, что у Грибоедова будто бы творчество не шло и оттого он радовался гибели.

В 1835—1836 гг., создавая грибоедовский отрывок, Пушкин думал о себе, о своей судьбе и сопоставлял ее с грибоедовской. Глубокий биографический подтекст получают слова о женитьбе «на той, которую любил», о завидных последних годах бурной жизни. Здесь — сожаление о своих бурно прошедших годах и сегодняшнем тягостном петербургском плене. Грибоедов умел расчесться, начать новую жизнь, покинуть столицу — Пушкин не может.

И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная...

Накопец, предчувствие собственной скорой гибели — и страшный гимн грибоедовской смерти (посреди «смелого первоного боя», «ничего ужасного, ничего томительного», «мгновенна и прекрасна»). Эти слова, представленные читателям за год до последней пушкинской дуэли, выдают потаенные мечтания поэта:

Есть упоение в бою.
И бездны мрачной на краю...

Но вот — последние строки, открытый финал грибоедовского отрывка из «Путешествия в Арзрум»: «Как жаль, что Грибоедов не оставил своих записок!»

Вспомним, что было сказано о Ермолове: «Думаю, что он пишет или хочет писать свои записки».

«КАК ЖАЛЬ...»

«Как жаль, что Грибоедов не оставил своих записок! Написать его биографию было бы делом его друзей; по замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны...» [П., т. VIII, с. 462].

Последние слова — о причинах гибели Грибоедова. И не только Грибоедова. «Друзья» вроде Булгарина, правда, написали свои записки, но Пушкин этого как бы не замечает: «Написать его биографию было бы делом его друзей...» (см. [Фесенко, с. 109]).

«Мы ленивы и нелюбопытны», поэтому невнимательны, бездушны к таланту, высокому честолюбию, гению; оттого, в сущности, и способствуем гибели Грибоедова и Пушкина...

Прощаясь с Грибоедовым, автор «Путешествия в Арзрум» подводит собственные итоги.

Время поэтов-министров, послов, историографов, государственных людей — это время проходит.

Грибоедов и Пушкин начинали в эпоху усердную, любопытную; ныне же «мы ленивы и нелюбопытны». Пришло время, на которое пожалуется отнюдь не декабрист, но человек «старого покроя», Денис Давыдов: «Налагать оковы на даровитые личности и тем затруднять им возможность выдвинуться из среды невежественной посредственности — это верх бессмыслия.

Грустно думать, что к этому стремится правительство, не понимающее истинных требований века [...]. Не дай боже убедиться нам на опыте, что не в одной механической формалистике заключается закон всякого успеха. Это страшное зло не уступит, конечно, по своим последствиям татарскому игу! Мне, уже состарившемуся в старых, но несравненно более светлых понятиях, не удастся увидеть эпоху возрождения России. Горе ей, если к тому времени, когда деятельность умных и сведущих людей будет ей наиболее необходима, наше правительство будет окружено лишь толпою неспособных и упорных в своем невежестве людей» [Давыдов, с. 466].

Даровитейший генерал Ермолов становится лишним человеком; Пушкина и Грибоедова пытаются таковыми сделать, им приходится жизнью доказывать невозможность подобной попытки.

Грибоедов, один из самых «умных и сведущих», не успел еще раз уподобиться Ермолову, своему старому начальнику и «двойнику»:

Блажен, кто пал, как юноша Ахилл,
Прекрасный, мощный, смелый, величавый,
В середине поприща побед и славы..



ПРИМЕЧАНИЯ

¹ 11 апреля 1835 г. беловая рукопись представлена Николаю I [Левкович, с. 5]; автограф пушкинского предисловия сопровождается датой 16 сентября, а цензурное разрешение — 28 сентября 1835 г. [П., т. VIII, с. 1064].

² У ездока, наездника лихого,

Был Конь,

Какого

И в табунах степных не редкость поискать...

Какая статья!

И рост, и красота, и сила!

Так щедро всем его природа наградила...

Как он прекрасен был с наездником в боях!

Как смело в пропасть шел и выносил в горах.

Но, с смертью ездока, достался Конь другому

Наезднику, да на беду — плохому.

Тот приказал его в конюшню свести

И там, на привязи, давать и пить, и есть;

А за усердие, за службу удалую

Век не снимать с него уздечку золотую...

Вот годы целые без дела Конь стоит,

Хозяин на него любит, глядит,

А сесть боится,

Чтобы не свалиться.

И стал паш Конь в легах,

Потух огонь в его глазах,

И спал он с тела:

И как вскормленному в боях

Не похудеть без дела.

Ковя всем жаль: и конюхи плохие,

Да и наездники лихие

Между собою говорят:

«Ну кто б Копю такому был не рад,

Кабы другому он достался?»

В том и хозяин сознавался,

Да для него вот та беда,

Что Конь в возу не ходит никогда.

И вправду: есть Кони, уж от природы

Такой породы,

Скорей его убьешь,

Чем запряжешь.

³ Впечатление, которое производили огромный рост и необыкновенная внешность Ермолова, было обычно столь сильным, что в 1831 г., представляясь царнице, генерал «несколько минут не подходил к руке, опасаясь исполинской наружностью испугать вдруг слабонервную царицу, и уже после, как она привыкла к его виду, он приблизился к ней смелее» [Ермолов. Материалы, с. 487—488].

⁴ П. И. Бартепов (РА, 1863, стб. 860—862) сопровождал пушкинский текст двумя «смягчающими» списками. Во-первых, о том, что интерес к Ермолову не мешал поэту «ценить и уважать Паскевича. Выражения *Ерихонский*. *Ерихонцы* почему-то у нас употребляются в насмешку. В оде Державина на Счастье говорится про подьячих:

В те дни, как всюду, Ерихонцы
Не сеют, но лишь жнут червонцы...»

Второе бартеневское примечание касалось «пристрастности» Ермолова к Грибоедову.

⁵ Напомним, что Пушкин именно Ф. Толстому одному из первых поведал о своей встрече с Ермоловым («Я нашел в нем разительное сходство с тобою»). Нельзя согласиться с мнением И. К. Ениколопова, будто Пушкин подразумевал влиятельного царедворца графа Петра Толстого. Последний осуществлял надзор за поэтом и вряд ли пускался бы с ним в откровенность (см. [Ениколопов, с. 41]).

⁶ Н. Н. Муравьев писал о том, как Вольховский исправлял просчеты Паскевича [РА, 1893, III, с. 347—348]; это привело к зависти и враждебности Паскевича (см. [Шадури II; ИРГ, арх. Вейденбаума — «Вольховский»]).

Часть III
ОДОЕВСКИЙ

Глава 7

Где он, где друг?

Едва расцветший век...

Грибоедов

Летом 1837 г. по сибирскому тракту — с востока на запад, «из Азии в Европу» — двигалась под охраною партия из семи декабристов. Путь же их лежал в «другую Азию», на Кавказ (Александр Сергеевич Пушкин, бывало, подписывал конверт: «Его благородию Льву Сергеевичу Пушкину в Азию», и письмо находило младшего брата, служившего в Кавказском корпусе).

Ехал тем летом на запад и юг Николай Лорер, бывший член Южного общества, арестованный 29-летним майором, а теперь определенный в 41-летние рядовые.

Ехал Михаил Нарышкин, несколько младший член Южного общества, арестованный 28-летним рядовой-полковник (друзья, оставшиеся в Сибири, поздравляли с «омоложением» и предсказывали превращение в «юнкера», а там, глядишь, и в «недоросля»).

Переводятся на Кавказ также 36-летний Михаил Назимов (бывший гвардии штабс-капитан), Черкасов, Розен, прежде поручики. Жена Нарышкина, жена и дети Розена в ту же пору вернутся в родные края и уж там будут дожидаться своих солдат. Никто не проводит и не ждет Владимира Лихарева: в другой жизни бле-

стоящий 22-летний подпоручик имел жену, в Сибири узнал о рождении сына; теперь же 34-летний солдат давно знает, что жена вышла за другого. Пройдет еще несколько лет, и в известном сражении у речки Валерик горская пуля поразит Лихарева во время жаркого спора с Лермонтовым о Канте и Гегеле. В вещах убитого нашли портрет бывшей жены, «рисованный Изабе в Париже» [Лорер, с. 266—267].

Наконец, седьмой солдат. Александр Иванович Одоевский, бывший конногвардейский корнет, бывший князь — Рюрикович (впрочем, лишившись титула, Рюриковичем быть не перестает!).

35-летний кузен Грибоедова, автор декабристского «Ответа» Пушкину, герой будущих стихов Лермонтова. Человек необыкновенный.

ПОЭТ

Поэт — со всеми неровностями, взлетами и спадами, с характером, столь трудно определяемым, что специалисты, которые свою задачу видят именно в том, чтобы *определять*, много спорят и — огорчаются.

«Случайный декабрист», «христианский идеалист», — писали до революции академики Пыпин, Котляревский, Сакулин. «Порочная методология», — обличали прежних академиков некоторые современные исследователи, уверенные, что старой школой «явно преувеличиваются созерцательность жизненной позиции Одоевского, религиозные элементы его мироощущения».

Творчество и еще более личность этого человека очень важны для нашего рассказа и требуют экскурсов в прошлое, из 1837 года в 1820-е...

Как сейчас увидим, Александра Одоевского будут постоянно сопровождать легенды — иногда имеющие реальную основу, порою фантастические. Не всякая личность их стимулирует, «притягивает», но Одоевский, вероятно, был для того создан. Почти все необыкновенные, «одоевские» истории относятся к событиям начиная с 14 декабря 1825-го. Лишь одна, впрочем для нас интереснейшая, связана с более ранними датами.

Речь идет о необыкновенных чувствах Александра Грибоедова к своему дальнему родственнику (Одоевский был двоюродным братом — по материнской линии — Е. А. Грибоедовой, жены Паскевича и кузины

Грибоедова по отцовской линии) к теще, которого он совсем не знал в детстве, юности (Одоевский младше то ли на семь, то ли на 12 лет): познакомились в 1823-м, общались несколько месяцев, весной 1825-го навсегда расстались. Как мало и как много!

В грибоедовских письмах находим:

10 июня 1825 г. (другому дальнему родственнику, Владимиру Одоевскому, кузену Александра Одоевского): «Брат Александр мой питомец», «дитя, мною выбранное, — l'enfant de mon choix».

9 сентября 1825 г. (Бегичеву): «Александр Одоевский будет в Москве; поручаю его твоему дружескому расположению, как самого себя. Помнишь ли ты меня, каков я был до отъезда в Персию, таков он совершенно. Плюс множество прекрасных качеств, которых я никогда не имел» [Гр., т. III, с. 179].

Через три дня, 12 сентября, тому же Бегичеву: «Представь себе, что со мною повторилась та ипохондрия, которая выгнала меня из Грузии, но теперь в такой усиленной степени, как еще никогда не бывало. Одоевскому я не пишу об этом; он меня страстно любит, и пуще моего будет несчастлив, коли узнает» [там же, с. 181].

Три года спустя Грибоедов обращается к «другу и брату» Одоевскому, давно уже попавшему в Сибирь: «Ты верно теперь тот же мой кроткий, умный и прекрасный Александр, каким был в Стрельно и в Коломне в доме Погодина. Помнишь, мой друг, во время наводнения, как ты плыл и тонул, чтобы добраться до меня и меня спасти» [там же, с. 208].

Грибоедов открывает список замечательных людей, *зачарованных* Александром Одоевским. Не столько стихотворцем (они, хоть и ценили в нем поэтический дар, да сами лучше умели), сколько личностью...

Грибоедов *первый* — запомним это.

«Кроткий, умный, прекрасный» Одоевский — «совершенно таков», как Грибоедов перед 1818 г. (дата вынужденного отъезда в Персию), — плюс множество качеств, которых Грибоедов «никогда не имел».

Милый идеал Грибоедова: как бы получше рассмотреть, познакомиться? Бумаг, достоверных рассказов, особенно о времени до восстания и ареста, чрезвычайно мало — и тем ценнее уцелевшие «крохи».

Владимир Федорович Одоевский, родственник обоих — и Грибоедова, и «несчастливого Александра», — в будущем известный писатель, издатель, философ, музыкант, сказочник: сохранившиеся и опубликованные письма «брата Александра» к «брату Владимиру» за 1821—1825 гг. — любопытнейшие исторические и еще в большей степени человеческие документы.

Старинные послания позволяют среди веселой болтовни по пустякам разглядеть симпатичнейшие черты грибоедовского любимца.

Переписка начинается с лета 1821 г., когда 18-летний юнкер Александр со своим Конногвардейским полком странствует по Белоруссии и Смоленщине; царь в ту пору вывел гвардию «проветриться», чтобы таким образом вытравить укоренившееся вольнодумство.

Владимир Одоевский (он на несколько месяцев моложе), как видно, похвалил стихи Александра; в ответ «друг и брат» получает шутовское письмо (от 31 августа 1821 г.), автор которого «не может решиться писать что-нибудь недостойного великого, знаменитого, славного, единственного, чрезвычайного, сверхъестественного моего пиитического таланта! Я гений — и пишу единственно для потомства, для славы — ты по тому самому редко и получаешь письма от меня! Ты еще так молод, ты еще так мало упражнялся в словесности» [Одоевский, Кубасов, с. 256].

2 октября 1821 г. из городишка Велиж: «Я весел — по совсем другой причине, нежели мой Жан-Жак [Руссо] бывал веселым. Он радовался свободе, а я — певоле. [...] Я люблю побеждать себя, люблю покоряться, ибо знаю, что испытания ожидают меня в жизни сей, испытания, которые вечно будут требовать еще большего напряжения моего духа, нежели все, что пи случилось со мной до сих пор.

Ах! — я забыл в эту минуту, что я лишен мамеьки и что я еще наслаждаюсь жизнью — конечно, уже это одно испытание доказывает некоторую твердость или расслабление моего воображения, которое не в силах представить мне всего моего злосчастия. Я слаб, слабее, нежели слабый младенец, и потому кажусь твердым. Я перепес все — от слабости» [там же, с. 258].

Знал ли Александр Одоевский, еще не декабрист, не заговорщик, мальчик, недавно потерявший мамеьку, какие испытания сам себе пророчит? Знал ли действительно силу своей слабости?

Кажется, знать не мог, случайно и полушутя угадывал... Впрочем, кто их, поэтов, милых юношей, разберет?

Кстати, в следующем письме (15 октября) Александр уж извиняется за «вздор», «сумасшествие» предыдущего послания и отправляет кузену стихи (которые мы позже припомним, когда черед дойдет до тяжелых испытаний):

За мотыльком бежит дитя вослед,
А я душой парю за призраком волшебным,
Но вдруг существенность жезлом враждебным
Разрушила мечты — и я уж не поэт [там же, с. 260].

Затем «Александр, Саша» повидался с очень любимым (как видно из писем) отцом и, вернувшись в полк, делится с «Володей, Вольдемаром» своей тоскою (письмо от 3 февраля 1822 г.): «Человек в радости, в счастье любит отличиться, но в горе охотно сравнивает себя с другими. Тогда сотоварищество ему приятно».

Но вот в переписке двух юношей возникает новая тема: Владимир влюбился и посвящает кузена в тайну. 3 марта 1822 г. (из Суража) тот отвечает в своем духе: «В мои лета (то есть будучи годом старше осьмнадцатилетнего ветреного Володи) обдумываешь все, что ни делаешь: понимаешь ли? Я сии слова не сказал папеньке о твоей Дульципее». В следующих письмах продолжаютсь добродушные насмешки над Владимиром, который хуеет из-за любви: «Вольно тебе быть умом и сердцем в желтом доме».

3 июня 1822 г. — послание из Великих Лук, куда Александр перебрался после долгого житья в Белоруссии: «Другой воздух! Другая жизнь в моих жилах! Я в отечестве! Я в России! Лица русские. [...] Русские девушки нас не избегают, как балованные униатки. Я отягощен полнотою жизни! Я пламенею восторгом!»

С января 1823 г. гвардейский корнет Одоевский уже в Петербурге и сообщает брату в Москву столичные новости.

23 января 1823 г.: «Служба... Редко-редко бывает перо в руках у меня: тяжелый палаш заменяет его, и с тех пор, как я в Петербурге, едва ли обидел я одно гусиное крыло — и то ради папеньки и ради тебя, мерзавец»; побывав на заседании Российской академии, Александр восхищен тем, как Карамзин читал главы о Годунове: «Изображение, может быть, краспоречи-

вейшее во всей нашей словесности. Потом Гнедич *прокричал* экзаметры Жуковского и свинцовые александровские стихи Воейкова; Шаховской *пропел* две сцены из своей комедии *Аристофана...*»

Владимир Одоевский сообщает Александру в столице о своем увлечении немецкой философией; в ответ, 2 марта 1823 г., следует признание, что мудрые рассуждения плохо понятны «едва просвещенному корнету лейб-гвардии Конного полка»; точнее — корнет «не видел ни зги, но приятно было, ничего не понимая, смотреть на буквы, начертанные пером твоим. [...] Впрочем (из того, что я понял) я заметил, что ты не только философ на словах, но и на самом деле; ибо первое правило человеческой премудрости — *быть счастливым, довольствуясь малым*».

Смысл шутки в признании Владимира, что он доволен одними лишь словами Шеллинга, даже не постигая их смысла...

Между тем в эту пору уж появляется из Персии Грибоедов и сходится с Владимиром, а особенно с Александром Одоевскими.

«Кротким, умным, прекрасным» рисуют Сашу и его письма этой поры к кузену; 23 декабря 1823 г. он оплакивает смерть сослуживца: «Грустно иметь друзей!! [...] Радость — мгновенна, но горесть возбуждает одно воспоминание за другим: я певольпо вспоминаю все, что я потерял в этой жизни — я вспоминаю ту, которая была для меня матерью, наставником, другом, божеством моим. Я лишился ее, когда сердце уже могло вполне чувствовать ее потерю. [...] Будь меня счастливее!»

Опять пророчество, высокое умение грустить. В ту пору мужскую добродетелью считалось не только воздержание от слез, но и способность плакать (иначе подозревали «черствое сердце»). Молодые люди вроде Одоевского, с одной стороны, созревали рано, к 20 годам были офицерами, деятелями, знали языки, имели более или менее богатое прошлое; с другой стороны — тяга к сентиментальности, умение сказать или написать «ах!»; культ не только силы, но и «слабости»...

Последние письма брата к брату серьезнее: приближаются роковые события; Владимир Одоевский вместе с Кюхельбекером затевает альманах «Мнемозина», и Александр распространяет «билеты» (т. е. подписку), а также грозитя «прислать десяток од, столько же

посланий, пять или шесть элегий и начало двух поэм» (письмо от 24 января 1824 г.). Здесь мы с трудом сегодня отделяем шутку от правды: действительно, Александр Одоевский сочинял немало, но почти все вскоре пропало... Может быть, под грибоедовским воздействием он все чаще и глубже задумывается; советует кузнецу не «журнальнуться» (т. е. не увлекаться полемикой с другими журналами), а 10 октября 1824 г. с известной обидой реагирует на поучения Владимира, который, кажется, упрекнул брата за недостаточную серьезность:

«Ты попал в болото и лежишь под целым росом немилосердно квакающих лягушек. Эй, брат! приучишься квакать»; Александр призывает к самостоятельному мышлению, самоуглублению (и очень хочется в следующих строках угадать «грибоедовское начало»): «Истинно возвышенная душа, то есть творческая, сама себя удовлетворяющая, а потому всегда независимая, даруется свыше благословением. Такая душа превращает и чужое в личное свое достояние: ибо архетип всего прекрасного лежит в ее глубине. Внешняя сила становится для нас одною только случайною причиною. Она везде берет свою собственность. Возвышенный ум за нею следует, но как завоеватель! Для него нужны труды высокие и поприще благородное! Иначе все, что он ни присвоит, будет казаться пристройкою лачужек к великолепному храму. В сей вышней сфере пельзя брать взаим; и никогда почти невозможно постигать размышлением то, что постигается чувством. [...] Ты еще ничего не достиг, ты едва ли еще на пути. [...] Житейская потеря унесла с собою лучшую часть моих чувств и мыслей. Шагаю себе, может быть, лягу, и сам не знаю как; и вместе с тем в некоторые мгновения наслаждаюсь истинно возвышенною жизнью, всегда независимою и которая кипит во мне, как полная чаша Оденова меду. Она не льется через край ни для тебя, ни для света; ты еще ни капли не отведывал. Чем же ты меня так перещеголял? Внутренним бытием? Ты моего не знаешь. Печатным бытием? Я его презираю. Ты перещеголял меня самолюбием, верь. Кто дал тебе право без исповеди ругать меня?»

Документ этот очень «в духе века»: немного смутный, восхваляющий чувства перед разумом, и в то же время серьезный, достойный; замечательна мысль, что если внешняя сила ведет за собою настоящего, возвы-

шенного человека, то он следует за нею «как завоеватель»!

Пути братьев как будто расходятся. Один приближается к Сенатской площади, другой пойдет иначе. Грибоедов, наверное, был прав, когда убеждал Владимира Одоевского (через несколько месяцев после только что цитированного сердитого письма Александра): «Он же тебя более по мне знает, из моих описаний, вы слишком были молоды, когда вместе живали или виделись, и не могли составить себе решительного мнения друг о друге» [Гр., т. III, с. 175].

Из двух Одоевских Грибоедов явно предпочитает Александра, кажется совершенно не представляя мягкого, мечтательного юношу завтрашним мятежником...

Сохранился поразительный черновик письма Грибоедова уже к Одоевскому-каторжнику (1828 г.): «Я оставил тебя прежде твоей экзальтации в 1825 г. [...] Кто тебя завлек в эту гибель!! [Зачеркнуто: «В этот сумасбродный заговор! кто тебя погубил!!»] Ты был хотя моложе, но основательнее прочих. Не тебе бы к ним примешаться, а им у тебя ума и доброты сердца позаимствовать. Судьба иначе определила, довольно об этом» [Гр., т. III, с. 208, 348].

Многое в этих строках, вероятно, объясняется царской почтовой цензурой, распечатывающей все письма к осужденному; но все же здесь наверняка и доля истинных грибоедовских чувств.

Не нужно искать в этих строках измену, отречение от старых друзей: Грибоедов уверен, что каждый должен идти своим путем; что удел, на который сознательно, неумолимо обрекли себя Рылеев, Пестель, Бестужев, неестествен для такой натуры, как Александр Одоевский. В часы отчаяния за погибающего друга Грибоедов, кажется, забывает, недооценивает совершенно особое, нерасторжимое сродство декабризма и поэзии; и об этом нужно сказать хоть немного, прежде чем наше повествование продолжится в Сибири и на Кавказе.

ДЕКАБРИЗМ-ПОЭЗИЯ

После того как декабристы были приговорены, их следственным делам надлежало отправиться в секретный архив; но перед тем из всех документов было

приказано изъять «возмутительные стихотворения». Там же, где это было невозможно (на обороте листа со стихами помещались важные показания), поэтические строчки густо вымараны, и только в наши дни их удалось прочесть с помощью специальных технических средств.

Стихи уничтожались, чтобы даже чиновники, допущенные к секретному делопроизводству, при случае не скопировали, не выучили наизусть, не распространили легко запоминающиеся строки, призывавшие к борьбе с самовластием и крепостничеством.

В «Донесении Следственной комиссии», официальном документе, изданном после окончания процесса 1825—1826 гг., существенно искажались цели и принципы декабристского движения, но все же довольно точно указывались главные события десятилетней истории тайных обществ: образование декабристских союзов, важнейшие совещания, программные документы, ход восстания в Петербурге и на юге. При этом, однако, всячески обходилась другая хронологическая цепочка, очень важная для истории первого революционного движения в России.

Эту хронику можно приблизительно представить следующим образом:

1817 г.— пушкинская ода «Вольность».

1818 г.— пушкинский ноэль («Ура! В Россию скачет...»), эпиграмма на Карамзина («В его истории изящность, простота...»), послание «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы...»).

1819 г.— пушкинская «Деревня», эпиграмма на Аракчеева («В столице он капрал...»), эпиграмма на Стурдзу («Холоп венчанного солдата...»).

Около 1820 г.— «Отечество наше страдает...» Катенина.

1820 г.— «К временщику» Рыльева, пушкинская эпиграмма на Аракчеева («Всей России притеснитель...»).

1821 г.— «Кипжал» Пушкина.

1822 г.— «Послание цензору» Пушкина, «К друзьям», «Певец в темнице» Раевского.

1822—1824 гг.— агитационные песни Рыльева и А. Бестужева.

1825 г.— «Гражданин» Рыльева, элегии Языкова («Свободы гордой вдохновенье!..» и «Еще молчит гроза народа...»).

«Горе от ума» Грибоедова.

1824—1825 гг.— «Подблюдные песни» А. Бестужева.

1825 г.— «Вакхическая песнь» Пушкина, «Исповедь Наливайки» Рылеева, «На смерть Чернова» Кюхельбекера.

1826 г.— пушкинский «Пророк», последние стихи Рылеева («Тюрьма мне в честь, не в укоризну...»), «Не вы ль убранство наших дней...» Языкова.

В начале 1827 г.— пушкинское «Во глубине сибирских руд...»

Через год — «Наш ответ» Одоевского.

Эта летопись представляет события декабристской истории, сопоставимые с конституционными проектами, революционными катехизисами, боевыми планами, уставами (впрочем, именно устав тайного Союза благоденствия советовал заговорщикам распространять мнение, «что сила и прелесть творений не состоит в созвучии слов, ни в высокопарности мыслей, ни в непонятности изложения, но в живости писаний, в приличии выражений, а более всего в непритворном изложении чувств высоких и к добру увлекающих; что описание предмета или изложение чувства, не возбуждающего, но ослабляющего высокие помышления, как бы оно прелестно ни было, всегда недостойно дара поэзии» [Оксман. Декабристы, с. 98].

Всего, по подсчетам М. К. Азадовского, литературным творчеством занимались более ста декабристов [ЛН, т. 59, кн. I, с. 776—777].

При всем общественном значении прогрессивной поэзии последующих десятилетий никогда, ни на одном этапе российского освободительного движения стихотворения, оды, баллады, поэмы, сатиры, эпиграммы не играли такой исключительной роли, как в декабристское время. Декабристской молодежи постоянно «не хватало» *своих* стихов, и их регулярно заимствовали у поэтов других направлений; многие сочинения авторов, никогда не числивших себя по тайному обществу, — от Гнедича до Жуковского — объективно, порою даже против воли сочинителей, служили делу вольности.

Плотное стиховое обрамление заговора, естественно, было не раз оценено современниками. Еще в 1816 г. декабрист М. С. Лунин (согласно воспоминаниям И. Оже) утверждал, что «стихи — большие мошенники; проза гораздо лучше выражает все идеи, кото-

рые составляют поэзию жизни. [...] В рифмованные строчки хотят заковать мысль в угоду придуманным правилам и в ущерб смыслу. [...] Наполеон побеждал и писал прозой; мы же, к несчастью, любим стихи. [...] Стихи годятся как забава для народа, находящегося в младенчестве. У нас, русских, поэт играет еще большую роль: нам нужны образы, картины; Франция уже не довольствуется созерцанием, она рассуждает» [РА, 1877, № 3, с. 521].

Лунин верно отмечает, что революционные события во Франции куда более, чем в России, были связаны с прозой, художественной публицистикой Вольтера, Руссо, Дидро. Притом, однако, декабрист, возражавший против стиховой «забавы», сам был сильно привержен русской, французской, польской поэзии (и вдобавок выше прозы ставил музыку); среди декабристов, сочинявших стихи,— Николай Тургенев, который притом рассуждает (в 1819 г.) о неудовлетворительности русской литературы, так как «поэзия и вообще изящная литература не может наполнить души нашей, открытой для впечатлений важных, решительных». Еще несколько лет спустя сходные строки выходят из-под пушкинского пера: «...просвещение века требует пищи для размышления, умы не могут довольствоваться одними играми гармонии и воображения, но ученость, политика и философия еще по-русски не изъяснились; метафизического языка у нас вовсе не существует. Проза наша так еще мало обработана, что даже в простой переписке мы принуждены *создавать* обороты для изъяснения понятий самых обыкновенных...» [П., т. XI, с. 34].

Пушкин, «сетующий» на слишком большую роль поэзии в России,— случай знаменательный! Важно при этом, что названа и одна из главных причин подобного явления: в XVIII — начале XIX в. российское просвещение, национальное самосознание, бурно развивающаяся общественная мысль легче и быстрее находили способ оптимального самовыражения в поэзии. После петровских реформ именно в сфере стиха происходили главнейшие литературные события: Тредиаковский, Кантемир, Ломоносов, Сумароков, Державин, Крылов, молодые поэты конца XVIII — начала XIX столетия, и в их числе Жуковский, Батюшков, наконец, Пушкин, создали и, можно сказать, освоили русский поэтический язык, приноровленный к новым понятиям

и потребностям. Другие литературные жанры, мучительно ломая застарелые рамки, также добились немало (достаточно вспомнить драматургию Фонвизина, прозу Радищева!), однако «революция в прозе» требовала больше времени, перелом шел медленно и определился только в 1790—1820-х годах «Письмами русского путешественника», «Историей государства Российского» и другими сочинениями Карамзина. Позже, перечисляя то, что «наша словесность с гордостью может выставить перед Европою», Пушкин назвал несколько произведений поэтических, из прозы же только «Историю» Карамзина.

Таким образом, в декабристскую эпоху молодые офицеры, вступавшие в тайные общества, а также сочувствующий им круг, «предпочитали» поэзию точно так же, как в середине и второй половине XIX в., при всем политическом значении тогдашней поэзии, особенно Некрасова, в формировании общественного сознания первенствовали проза и публицистика (Белинский, Герцен, Чернышевский, Писарев, Тургенев, Гончаров, Щедрин, Толстой, Достоевский).

Поэтические склонности и поступки декабристской молодежи стимулировало ожидание «вольности святой», которое поэт сравнит с любовным порывом; стремление к подвигу, самоотречению постоянно создавало поэтическую атмосферу, поэтический мир в самом широком смысле. Поэзия как форма литературы — стихи Рылеева, Кюхельбекера, Одоевского, Катенина и других декабристов-стихотворцев — была одним из замечательных проявлений новой нравственности, восторженных, героических, жертвенных мотивов, характерных для всего движения. («Все они красавцы, все они таланты, все они поэты», — определит декабристское поколение Б. Ш. Окуджава.)

В трудах советских филологов глубоко и доказательно проанализированы связь романтической литературы и романтического поведения, естественный и постоянный переход поэзии в жизнь, жизни в поэзию (см. [Лотман. Пушкин]).

И в чеканных, взволнованных формулах декабристских программ, и в словах, произнесенных на Сенатской площади, и в эмоциональных ответах на следствии порою трудно разделить прозу, публицистику, разговор — и поэзию (хотя участники событий, авторы удивительных слов и строк, очевидно, не размышляли об

их жанровой принадлежности). То было «высокое витийство», то были деятели — «витийством резким знамениты...»

Рылеев перед восстанием, все больше понимая его плохую подготовленность, произносит возвышенное: «А все-таки надо...»

Пестель в своих показаниях говорит едва ли не ритмической прозой: «...имеет каждый век свою отличительную черту. Нынешний ознаменовывается революционными мыслями. От одного конца Европы до другого видно везде одно и то же, от Португалии до России [...] То же самое зрелище представляет и вся Америка. Дух преобразования заставляет, так сказать, везде умы клочкотать» [ВД, т. IV, с. 105].

Поэтичны даже сами названия декабристских объединений и обществ: *Священная артель*, *Союз спасения*, *Союз благоденствия*, *Общество соединенных славян...*

Подобно тому как декабристская проза легко «поэтизируется», некоторые особенно яркие стихотворные строки легко отделялись от больших стихотворений, становясь самостоятельными формулами, афоризмами:

О Дельвиг, Дельвиг! Что награда
И дел высоких и стихов?

Лицейские, ермоловцы, поэты,
Товарищи! Вас подлинно ли нет?

Рылеев умер как злодей!
О, вспомни о нем, Россия...

Декабристы мечтали, действовали, даже погибали, не расставаясь, органически срастаясь с поэзией.

«АХ, КАК СЛАВНО...»

«Я увидел его [Одоевского] действия, будучи в Сенате, откуда хотя и не слышно было разговоров, но видно было, как он декламировал» (показания декабриста Горожанского).

13 и 14 декабря 1825 г. Одоевский *декламировал*, восклицал — и это восклицание сделалось знаменитым, попало в официальные документы, одних восхитив, других возмущив, третьих растрогав.

«Мы умрем! Ах, как славно мы умрем!» — кричал коногвардейский корнет, и, действительно ведь,

«славно умерли». Не себе одному, многим пророчил юный князь: сам как раз остался в живых, но роковые слова уж вымолвил, самому себе — «мене, текел, фарес».

Пророчество поэта!

Отныне жизнь Одоевского — это вереница поступков, фраз легендарных, необычных, странных...

На площади Одоевский — «безумный заговорщик» (слова Николая I), на следствии же — падет духом. В журнале заседания Следственного комитета 16 февраля 1826 г. записано: «Допрашивали:

3) *Князя Одоевского*, который просил позволение предстать пред Комитетом для сделания важного открытия. Ничего нового не показал, а назвал несколько более лиц, нежели в первых допросах, но все уже известные, кроме конной гвардии офицера *Лужина*, которого в виду еще не имели. Оказывает величайшее раскаяние, столь сильно на него подействовавшее, что он кажется поврежден в уме. *Положили*: показание сие взять к сведению, а о *Лужине* прежде выправиться, ибо на одно слово *Одоевского* положиться нельзя» [ВД, т. XVI, с. 104]. Лужин «уцелел», сделал карьеру.

Придя в себя, заключенный начинает сочинять: «Из гроба пел я воскресенье...»

Но мысль моя — едва живая —
Течет, в себе не отражая
Великих мира перемен;
Все прежний мир она объемлет
И за оградой душных стен —
Востока узница — не впемлет
Восторгам западных племен.

Перестукивание заключенных по системе, изобретенной Михаилом Бестужевым (алфавит делится на несколько групп, каждая буква имеет в группе определенный номер), — эта система не могла быть применена к Одоевскому: поэт, образованный, просвещенный, — и не знает русского алфавита! Но, может, оттого легче и находил неожиданные слова и сочетания, от — как бы сказать — недостаточной грамотности? Нет, скорее от нерастраченного удивления перед родным языком.

1 февраля 1827 г. Одоевского отправляют с Нарышкиным и двумя Беляевыми из Петербурга в Сибирь. Больше Невы он никогда не увидит.

Легенда: проезжая возле дома Кочубея, освещенно-

го, бального, вчерашний князь, гвардеец будто бы сочинил стихи «Бал»:

...Весь огромный зал
Был полон остовов... Четами
Сплетясь, толпясь, друг друга мча,
Обнявшись желтыми костями,
Кружась, по полу стуча,
Они зал быстро облетали.
Лиц прелесть, станов красота —
С костей их — все покровы спали.
Одно осталось: их уста,
Как прежде, все еще смеялись;
Но одинаков был у всех
Широких уст безгласный смех.
Глаза мои в толпе терялись,
Я никого не видел в ней:
Все были сходны, все смешались...
Плясало сборище костей.

СИБИРЬ

Когда некоторые декабристы говорили, что Пушкин прожил бы дольше, если бы попал в 1825-м в тюрьму, а потом в Сибирь, Иван Пущин, как никто знавший друга-поэта, возражал: «Положительно, сибирская жизнь, та, на которую впоследствии мы были обречены в течение тридцати лет, если б и не вовсе иссушила его могучий талант, то далеко не дала бы ему возможности достичь того развития, которое, к несчастью, и в другой сфере жизни несвоевременно было прервано» [Пущин, с. 87].

Грибоедов лучше всех понимал «своего Сашу» — оттого больше других беспокоился, воображал, что значит для такого нежного, экзальтированного юноши сибирское заточение.

В бумагах Грибоедова сохранилось стихотворение к А. О., восьмистишие-молитва.

Я дружбу пел... Когда струнам касался,
Твой гений над головой моей парил,
В стихах моих, в душе тебя любил
И призывал, и о тебе терзался!..
О, мой творец! Едва расцветший век
Ужели ты безжалостно пресек?
Допустишь ли, чтобы его могила
Живого от любви моей сокрыла?.. [Гр., т. I, с. 18]

Пушкин напишет о прекрасной женщине — «гений чистой красоты...»; для Грибоедова — дух, образ, гений друга «над головой моей парил...»

Автор «Горя» — великий поэт; Одоевский для него необыкновенно важен, велик не литературным дарованием, другим: «Каков я был до отъезда в Персию... плюс множество прекрасных качеств, которых я никогда не имел» [Гр., т. III, с. 179].

Второе, лучшее «я» Грибоедова — с ним, в нем постоянно:

В стихах моих, в душе тебя любил...

Об Одоевском — как об уже умершем: «век... безжалостно пресек», «его могила».

Предчувствие вечной разлуки, которая может быть ускорена гибелью одного из них. Государственного преступника Одоевского или государственного деятеля Грибоедова.

Кто раньше?

На вершине успехов, по пути в *последний* Тегерап:

«Александр наш что должен обо мне думать! [...]

Александр мне в эту минуту душу раздирает. Сейчас пишу к Паскевичу; коли он и теперь ему не поможет, провались все его отличия, слава и гром побед, все это не стоит избавления от гибели одного несчастного, и кого!!! Боже мой! пути твои неисследимы» [Гр., т. III, с. 237].

Действительно, в тот же день, 3 декабря 1828 г. (за 57 дней до гибели), Грибоедов из Тебриза отправляет длинное послание начальнику, родственнику и «благодетелю» Паскевичу. После официальной части — последний грибоедовский «крик за Сашу»: «Главное: Благодетель мой бесценный. Теперь без дальних предисловий, просто бросаюсь к вам в ноги и, если бы с вами был вместе, сделал бы это и осыпал бы руки ваши слезами. вспомните о ночи в Тюркманчае перед моим отъездом. Помогите, выручите несчастного Александра Одоевского. вспомните, на какую высокую степень поставил вас Господь Бог. Конечно, вы это заслужили, но кто вам дал способы для таких заслуг? Тот самый, для которого избавление одного несчастного от гибели гораздо важнее грома побед, штурмов и всей нашей человеческой тревоги. Дочь ваша едва вышла из колыбели, уже государь почтил ее самым внимательным отличием, Федю тоже, гляди, сделают камер-юнкером. Может ли вам государь отказать в помиловании двоюродного брата вашей жены, когда двадцатилетний преступник уже довольно понес страданий за свою вину,

вам близкий родственник, а вы первая пынче опора царя и отечества. Сделайте это добро единственное, и оно вам зачтется у Бога неизгладимыми чертами небесной его милости и покрова. У его престола нет Дибичей и Чернышевых, которые бы могли затмить цену высокого, христианского, благочестивого подвига. Я видал, как вы усердно Богу молитесь, тысячу раз видал, как вы добро делаете. Граф Иван Федорович, не пренебрегите этими строками. Спасите страдальца» [Гр., т. III, с. 242].

Все силы души и пера автора самой лучшей русской комедии здесь пущены в ход: не случайно названы царские приближенные Дибич и Чернышев, которых Паскевич не любит; Одоевский, 26-летний, назван 20-летним — таким, совсем юным запомнил его Грибоедов. И главное — предчувствие, опасение, что если Сашеньку не вызволить, то непременно пропадет.

Грибоедов — «меланхолический характер, озлобленный ум» (Пушкин) — и вдруг такие слова!

Обостренные чувства одного поэта накануне собственной гибели — в отношении другого, любимого.

Александр Сергеевич не дождался своего Сашу — отправился через Кавказ умирать, пока Одоевский находился (по собственным его словам) «под небом гранитным, в каторжных норах...»

Тегеранскую судьбу Грибоедова Одоевский оплакал в Чите — и первые строки тех стихов нельзя забыть, хоть раз прочитав:

Где он? Кого о нем спросить?
Где дух? Где прах?.. В краю далеком!

Медленно проходит Александр Одоевский свое сибирское десятилетие: каторга в Чите, Петровском Заводе, затем ссылка...

И снова цепь поступков, слов необычных, поэтических, трагических.

В каземате читает друзьям курс русской словесности «от похода Игоря до 1825 года», читает основательно, вдохновенно и... по чистой тетради (которую, очевидно, держал перед собою для пущей солидности).

Получал много денег от отца — и щедр необычайно, даже по меркам бескорыстной декабристской каторжной «артели».

В 1828-м от имени всех товарищей, как главный поэт декабристской каторги, сочиняет «Наш ответ» на

пушкинское послание «Во глубине сибирских руд». Текст записан, выучен товарищами, сам же Александр Иванович почти не оставил нам собственноручных стихотворных страниц: привычки не имел, да и к чему?

Итак, отчаяние на грани безумия; покаяние 1826 г. как будто позади.

Пророчество —

Из искры возгорится пламя...

Ожидание свободы, которая

... нагрянет на царей
И радостно вздохнут народы.

Друзья восхищаются, не могут его не любить.

Вот эпитеты, определения, принадлежавшие разным приятелям, собеседникам, современникам.

«Одоевский — ангельской доброты. Пиит и учен; знает почти все главные европейские языки. [...] Несмотря на богатство, он всегда в нужде, ибо со всеми делится до последнего».

«Всегда беспечный, всегда довольный и веселый [...] он легко переносил свою участь; быв самым приятным собеседником, заставлял он много смеяться друг-их».

«В голосе его была такая искренность и звучность, что можно было заслушаться».

«Дар особой любви к людям».

«Чистая любовь к людям».

«Христианин без ханжества, любящий страдание...»

«Страстно любил он родину, народ и свободу...»

«Может быть, даже он любил свое страдание в христианском духе, в преданности общему делу».

Добрые слова друзей, впрочем, не всегда им легко давались...

ИЗ СИБИРИ

В конце 1832 г. каторжный срок Одоевского кончился, его переводят на поселение в Еланское близ Иркутска, в то время как большинство товарищей еще остаются в Петровском Заводе. По всей видимости, в Еланском было тоскливо, одиноко, и Одоевский тут же начинает совершать поступки «в особенном роде».

Генерал-губернатор Восточной Сибири Лавинский, паходясь в Петербурге, извещал Бенкендорфа: «При

отбытии моем из Восточной Сибири в столицу государственный преступник Александр Одоевский вручил мне для доставления к родственнику его, тайному советнику Ланскому собственноручную свою записку, заключающую, между прочим, желание его, Одоевского, разделить единовременно некоторую сумму товарищам его участи, содержавшимся вместе с ним в Петровском Заводе, выпущенным на поселение и по бедности своей нуждавшимся в пособии»; для этой цели Одоевский просил прислать три тысячи рублей, а впредь ежегодно — по шести тысяч рублей (хотя официально разрешалось получать не более тысячи). 3 мая 1833 г. Бенкендорф отвечал, что «имел счастье докладывать о том государю императору; но на удовлетворение помянутого желания Одоевского высочайшего соизволения не последовало» [ГАИО, ф. 24, оп. 3, к. 7, № 137].

Хроника заметных поступков Александра Ивановича на поселении довольно причудлива.

Апрель 1833 г. Одоевский обращается к царю, наверное, с единственным в своем роде прошением:

«Всемиловитейший государь! Не опыт семилетних страданий и не желание облегчить участь мою побудило меня прибегнуть к великодушию Вашего Величества: я чувствую, я убежден сердечно и умственно, что вполне заслужил кару, определенную законом, и с должным терпением переношу свой жребий; по чем более убеждаюсь в вине моей, тем сильнее тяготеем падо мною имя преступника. Спизоидите, великий государь, на просьбу мою, внушенную мне раскаянием, и единым всемогущим словом Вашего Императорского Величества даруйте мне возможность утешить скорбного и печального отца, усладить преклонные лета его и приять, при его разлуке с сим миром, его прощальный взор и последнее отеческое целование. Сердечная преданность августейшей особе Вашей и непоколебимая верность к престолу будут отныне направлять все стези моей жизни; и саму жизнь, все силы, сколько осталось их от возрастающего грудного изнеможения, все способности ума и сердца посвящу я на оправдание слов моих и той высочайшей милости, которой просить осмеливаюсь» [Одоевский. Кубасов, с. 291].

Генерал-губернатор Лавинский поддержал прошение и 8 апреля 1833 г. писал Бенкендорфу: «По долгу родства с Одоевским и по совершенной известности мне всех чувств и помышлений его, смею удостоверить

с своей стороны, что раскаяние его есть самое искреннейшее, не подлежащее ни малейшему сомнению, и что недуг, о котором он упоминает, действителен и, может быть, при непрерывных душевных страданиях скоро истощил бы последние силы его, ежели б не подкрепляло оных надежда на милосердие и благость государя императора» [там же, с. 80].

Нелегко потомкам, столь высоко ценящим декабристов, читать эти строки. Подобных прошений, откровенных, «поэтических», никто из сибирских узников не писал. Товарищи Одоевского не скрывали своего недовольствия. Недавно было опубликовано письмо декабриста Ф. Б. Вольфа к М. А. и Н. Д. Фонвизиним: «Мы видели Адуев [Одоевского]. Он, кажется, прал ногами то, за что несколько лет тому назад жертвовал жизнью. Мы расстались дружелюбно, но, кажется, недовольными друг другом. Душа его горяча только в стихах, а людей он почитает куклами, с которыми играет, как ему и им хочется. Это его откровенное изъяснение. С такими чувствами немного наслаждений в жизни — горе не любить никого и ничего» [В сердцах Отечества..., с. 281].

Декабристы сердились на *Сашеньку*, но и тогда и после — прощали.

Во-первых, многое в письме всего лишь форма, обычная при обращении к царю.

Во-вторых, было ясно, что письмо инспирировал генерал-губернатор, родственник Одоевского, а возможно, продиктовал некоторые места.

В-третьих, Одоевский и в самом деле бывал нездоров, да к тому же пал духом.

В-четвертых, — и этому особенно сочувствовали товарищи по ссылке — с юных лет, после смерти матери, Александра Одоевского связывали необыкновенно пежные отношения с отцом, отставным генералом Иваном Сергеевичем Одоевским. Хотя после ареста сына генерал женился вторично и стал отцом нескольких сводных братьев и сестер Александра Ивановича, он неизменно тосковал по своему первенце, в письмах умолял покаянием ускорить возвращение. Из частично сохранившейся переписки отца и сына видно также, что Александр очень много читает, обдумывает, защищает свою мягкую, первую личность религией от верной гибели в Сибири; «между прочим, Иван Сергеевич сообщает племяннику, старинному корреспонденту Саши,

Владимиру Федоровичу Одоевскому: „Мой Александр спрашивает о Вас в каждом письме, которое мне пишет“» [ПБ, ф. 539, оп. 2, № 827, письмо от 18 мая 1832 г.].

Мы перечислили несколько мотивов для «снисхождения» к Одоевскому, которыми, очевидно, руководствовались декабристы. Но был еще один, может быть главный: они в нем видели *первого* своего поэта.

Позже в записках Лорера, Розена и других декабристов мы найдем часто повторяющуюся мысль о том, что только Одоевский мог понять их мир, дух восстания и ссылки.

Мало кто был столь суров к нестойким друзьям, как декабрист Лунии, однажды назвавший события 14 декабря «избиением младенцев». Однако именно он, как никто другой, понимал разницу минутного и общего, субъективного и объективного. «Это личности сильные и славные...— писал он о декабристах.— Не следует смешивать их с честолюбиями, стремлениями, порывами, политическими течениями (это благородные, но мгновенные порывы. Они кровью своей скрепили дело свободы), бурлящими на поверхности общества...» [Лунии, с. 216].

Меж тем Одоевский продолжал жить и страдать на поселении; его отчаянное прошение осталось без ответа, хотя, по всей видимости, в конце концов сыграло свою роль.

1834 год. Поскольку Бенкендорф и царь приказывали докладывать о любом, даже ничтожном хозяйственном действии ссыльных декабристов, гражданский губернатор Иркутска Цейдлер подробно сообщает, что «государственный преступник Одоевский... сторговал за 400 руб. у крестьянина Герасима Куркутова дом, состоящий из двух деревянных изб... При доме амбар, небольшая конюшня с завознею, хлев и баня старого строения»; через несколько месяцев Петербург извещался о желании Одоевского «построить новые баню, амбар, ворота, забор и другие принадлежности, для чего при существующей дороговизне на все потребности нужно ему не менее двух тысяч рублей, и что родные его всегда готовы удовлетворить всем его нуждам, если только дозволено будет просить их об этом»; Цейдлер добавлял: «Я, с своей стороны, полагаю, что такое удовлетворение Одоевского может упрочить к хорошему сельскому хозяйству» ([ГАИО, ф. 24, оп. 3,

к. 4, № 65, л. 57—60]; частично см. [Одоевский. Кубасов, с. 84]).

Одоевский, однако, явно не имел склонности к «хорошему сельскому хозяйству» и продолжал метаться в своем просторном еланском доме «с амбаром и завопею». Отец, убедившись, что сына не освободят, начал ходатайствовать о переводе его из Восточной Сибири в Западную, т. е. в два-три раза ближе к столицам. Просьба о переводе именно в городок Ишим объяснялась, по-видимому, давней службой в этих местах генерала Одоевского.

9 января 1835 г. Новый иркутский генерал-губернатор С. Б. Броневский получил запрос Бенкендорфа, «заслуживает ли уважения означенная просьба князя Одоевского, который основал оную на слабое здоровье его сына и вредном на оное влиянии климата». Броневский отвечал уклончиво: «Не могу подтвердить показание отца Одоевского [...], ибо климат вообще в Иркутской округе, где Одоевский находится, не имеет особой суровости и не вреден для здоровья. [...] В проезд мой по губернии чрез то место, где живет Одоевский, я нашел его в весьма хорошем по наружности здоровье и он на оное не жаловался» ([ГАИО, ф. 24, оп. 3, к. 9, № 206]; см. также [Одоевский. Кубасов, с. 85]).

После того еще целый год томлений и терзаний, попыток переместиться на запад — поближе к родным, поближе к смерти...

Весна 1836 г. Положение Одоевского едва ли не ухудшается: 28 марта Бенкендорф извещает военного министра Чернышева о результатах перлюстрирования писем Одоевского; начальство напугано «участием, несовместимым с должностью», которое оказывают «государственному преступнику» два важных восточносибирских чиновника: плац-адъютант Петровского Завода Клей и Цейдлер, недавний иркутский гражданский губернатор, к этому времени управляющий губернским комиссариатством [Кодан, с. 136—138].

23 мая 1836 г. генерал-губернатор Броневский пишет в Петербург объяснение, которое высшая власть может истолковать и в пользу и против Одоевского: «Цейдлер очень короток, по давнему ли знакомству или по чему другому, с отцом государственного преступника Одоевского, отставным генерал-майором князем Одоевским, жительствующим близ губернского города

Владимира. Это замечается из писем Одоевского, переходящих через мой досмотр, из коих видно, что действительный статский советник Цейдлер, проезжая прошлой зимой из Иркутска через город Владимир, имел свидание с князем Одоевским». Броневский знает, что в гостях у Одоевского-отца был также Протопопов, бывший директор Тельминской казенной суконной фабрики, на которой одно время содержался Одоевский-сын:

«Отец [...] в изъявлении благодарности за покровительство его сыну, к коему он в переписке своей оказывает всегда чрезвычайную нежность, чествовал Протопопова „на славу“ — так выражается князь в письме от апреля месяца к сыну». Далее Броневский пишет дипломатично: «Если Протопопов отважился взять и передать князю Одоевскому письма от сына, в противность запрещения, то это еще ни к чему не ведет; ибо отец не позволит любимому сыну, которого в продолжение десятилетнего заточения он беспрестанно осыпал упреками за ужасное падение, сокрушившее старца, имевшего в нем единственную подпору; да и преступник Одоевский, по примечаниям моим, преисполнен раскаяния, негодования на самого себя; спокойствие и веселый нрав его выражают ясно, что голова его не отягощена черными думами. Но если надворный советник Протопопов имел дерзновение развозить письма к другим лицам от сосланных в Сибирь государственных преступников, то необходимо обратить на него внимание» [ЦГВИА, ф. 1, оп. 1, т. 4, № 10866, л. 4—5].

Документ любопытен во многих отношениях: он показывает, сколь велико было влияние Одоевского в иркутских «верхах», позволяет представить характер переписки отца с сыном; наконец, даже сквозь секретные канцелярские формы проступают живые, веселые черты Александра Одоевского.

В результате этой переписки Цейдлера и Клея «сослали» из Сибири в европейскую часть России. Одоевского же — по удивительному совпадению именно в тот день, 23 мая 1836 г., когда Броневский рапортовал из Иркутска, — в Петербурге решают перевести в давно желанный Ишим.

Возможно, в столице также хотели изолировать «государственного преступника» от уже привычного, дружественного окружения; однако решающая причина подобной милости объяснена в письме Одоевского-отца

В. Ф. Одоевскому от 16 декабря 1836 г.: «Я прошу сообщить повесть об этом дозволении Лизе Паскевич, так как именно ее муж приблизил ко мне Вашего кузена» [ПБ, ф. 539, оп. 2, № 827, л. 14, франц. яз].

Елизавета Паскевич — двоюродная сестра Одоевского и Грибоедова; не прошло и восьми лет с того дня, как Грибоедов писал ее мужу: «Главное... Помогите, выручите несчастного Александра Одоевского. Вспомните, на какую высокую степень поставил вас Господь Бог» (записку Паскевича, переданную царю в мае 1836 г., см. [Одоевский. Кубасов, с. 90]).

20 июля 1836 г. «государственный преступник» Александр Одоевский навсегда покидает Восточную Сибирь и в сопровождении урядника Федора Южакова отправляется в распоряжение западносибирского генерал-губернатора; на всякий случай тому сообщаются и приметы нового поднадзорного: «Рост 2 аршина 8 вершков, лицом бел, волосы на голове темно-русые, глаза карие, нос продолговат... Греко-российской веры; мастерства не знает, холост» [ГАИО, ф. 24, оп. 3, к. 9, № 206, л. 13, 9].

Сибирские концы далеки, путь от Иркутска до Ишима занимает почти месяц: 16 августа Александр Одоевский доставлен на место.

29 июля 1836 г. генерал Одоевский посылает радостное известие в Петербург Владимиру Одоевскому: «Верно Вы знаете [...], что Саша мой подвинут ко мне — он будет в Ишиме, тут, где я стоял с полком моего имени назад тому 36 лет. По первому снегу поеду с терпением, я надеюсь его там видеть непременно. Не правда ли, что страшно будет его там именно мне его видеть, обнять и прижать его к сердцу после 10-летней убийственной отлучки? [...] Вы вообразить себе можете радость мою, получа сие известие приятное от друга единого моего, которая по письму моему к князю просила и хлопотала за меня и Сашу»; речь, понятно, идет о кузине Е. А. Паскевич.

Далее следуют строки, с которых, как мы сейчас понимаем, уже начинается следующее географическое перемещение Александра Одоевского: «Саша мой Вам кланяется, с последним его письмом, от апреля 30, прислал он прелестную мне Елению, покажите ее князю Петру Вяземскому, скажите мне и Ваше мнение, прошу Вас — вот с нее копия, в которой, может, и есть ошибки, что прошу поправить; ибо тороплюсь не упу-

стить почту — и читать ее мне некогда» [ПБ, ф. 539, оп. 2, № 827, л. 11—12].

Элегию Одоевского мы знаем, стихи горькие и покаянные:

Меня чужбины вихрь умчал
И бросил на девятый вал
Мой челн, скользивший без кормила.

Очнулся я в степи глухой,
Где мне не кровною рукой,
Но вьюгой вырыта могила.
С тех пор, займется ли заря,
Молю я солнышко-царя
И напу светлую царицу:
Меня, о солнце, воскреся,
И дай мне на святой Руси
Увидеть хоть одну девицу!

Вполне вероятно, что Элегию передали наследнику во время его путешествия в Западную Сибирь (см. [Одоевский. Кубасов, с. 92]); есть легенда, что царь и Бенкендорф были растроганы. Так или иначе — стихи создавали возможности для новых «интриг»... И. С. Одоевский в ряде писем интересуется откликом, который строфы сына вызвали в Петербурге; 16 декабря 1836 г. благодарит В. Ф. Одоевского за «прекрасное письмо» от 16 октября: «Вы доказали свой интерес и участие в положении Вашего бедного кузена»; особую благодарность И. С. Одоевский выражает «доброму и милому князю Вяземскому, который всегда выказывал мне столько дружбы...» Одоевский-отец падеется на счастливые последствия от присылки таких стихов; он только что потерял четырехлетнего ребенка от второго брака и пишет В. Ф. Одоевскому: «Как Вы счастливы, добрый друг, не имея детей, Вы не испытали горя, подобного моему: не считая старшего, я потерял в жизни шесть детей»; и тем больше радости и надежды на встречу в Ишиме с Александром: «Теперь он приблизился с шести до двух тысяч верст» [ПБ, ф. 539, оп. 2, № 827, л. 13—14, франц. яз.]. Через две недели, 30 декабря 1836 г., И. С. Одоевский снова пишет Владимиру Федоровичу: «Прошу сказать почтенному и столь благотворительному князю Петру Андреевичу Вяземскому, что вышеписанное письмо с Елегией послано так, как он научил меня, через брата княгини Вашей — попросите его, чтоб он умолил Ивана Павловича пайти такую минуту, удобную, чтоб мне в просьбе моей не

отказали»; при этом генерал просит сообщить при случае «мнение Ваших поэтов относительно Элегии Александра» [там же, л. 15—16].

Как видим, Вяземский и Владимир Одоевский учат отца, как ему действовать, показывают письма каким-то важным, влиятельным лицам (может быть, Иван Павлович — описка, вместо: Иван Федорович, т. е. Паскевич).

Меж тем — это последние месяцы жизни Пушкина; Вяземский и В. Ф. Одоевский в ту пору ближайшие его сотрудники и друзья, в Элегии же Одоевского удивительная переключка с пушкинским «Арионом»: Пушкин тоже повествует о «челне», который опрокинут «вихрем», поэт чудом уцелел; но «погиб и кормщик, и пловец». Одоевский же как бы ведет рассказ от имени погибшего:

Мея чужбины вихрь умчал
И бросил на девятый вал
Мой челн, скользивший без кормила...

Мы отнюдь не настаиваем, что Пушкин познакомился с Элегией, хотя это очень возможно. Только подчеркиваем, что накануне гибели величайшего поэта именно в его кругу делались попытки спасения первого поэта каторги; попытки, фатально приближавшие его гибель.

Отец мечтал, конечно, не о Кавказе: 6 января 1837 г. ходатайствовал о перемещении сына во Владимирскую губернию, родовое имение. Однако *сверху* отвечали: «Нельзя, уже отказано Ивашеву» (см. [Одоевский. Кубасов, с. 91—92]). Запрет возвратиться декабристу Ивашеву и его семье создавал «прецедент». Через два года в Сибири умрет жена Ивашева, через три года — он сам; для Одоевского же оставался еще не использованный «кавказский шанс».

Вскоре из Петербурга и Владимира в Ишим передали, что пора подавать *новую просьбу*.

18 мая 1837 г. Одоевский пишет на имя Бенкендорфа в своем обычном духе: «Сиятельнейший граф! Я осмелюсь обратиться к высокому предстательству вашего сиятельства. Всемиловитейший государь даровал мне десятилетие по тяжких, заслуженных мною наказаний, по здравых размышлений, закаливших меня в беспредельной преданности его императорскому величеству. Теперь после стольких лет одинокой, мыслен-

пой жизни могу ли я сам постигнуть безумие, минутно навеянное на мою тогда неопытную и слишком юную душу? Нет, я желал бы отмыть всею моею кровью пятно преступления, лежащее на моем имени. Умоляю вас, сиятельнейший граф, испросить высочайшую милость — испросить мне место в рядах Кавказского корпуса. [...] Еще раз убедительнейше умоляю вас, сиятельнейший граф! Государь после стольких милостей и при вашем за меня всевеликодушном предстательстве не откажет мне в счастье положить жизнь за него под сенью его победоносных знамен» [Одоевский. Кубасов, с. 330—331].

Снова покаяние, в котором явственно слышится повторение старинных грибоедовских слов: «Я оставил тебя прежде твоей экзальтации... Она была мгновенна».

Не пройдем и мимо нового пророчества, нового варианта «Ах, как славно мы умрем!»: счастье «положить жизнь»...

На письме Одоевского царь начертал резолюцию: «Рядовым в Кавказский корпус. 20 июня».

«В КРАЮ ДАЛЕКОМ»

Поминая Грибоедова, Одоевский мысленно следует за ним; далекий край — это и Кавказ, где лучший друг сложил голову, это и страна духа, праха, откуда никогда не возвращаются.

Одоевского притягивают оба далеких края, и вот к обоим путь открыт.

На Кавказе, продержавшись несколько лет под пулями и лихорадкой, можно опять, лет в 40—45, получить первый офицерский чин, выйти в отставку и уехать — не в столицу, конечно, но хотя бы в имение, к родственникам и под надзор.

Давно, с 1829 г., просится на Кавказ Владимир Лихарев. Ходатайствует семья — мать, Пелагея Лихарева, вместе с нею «жена его и малолетний сын» (жена оставит декабриста позже). Сначала отказали: Лихарева только переводят из глухого села Кондинского в городок Курган. Дважды, 3 июня 1837 г. и 30 июня 1839-го, жена министра финансов Екатерина Захаровна Канкринина просит перевести на Кавказ ее брата-декабриста Артамона Муравьева. Ей отвечено, что «Его величество не может еще распространить на него всемилостивейшего прощения» [ЦГВИА, ф. 1, оп. 1, № 11502].

Тогда же царю передают просьбу одной из влиятельнейших придворных дам, княгини Волконской (бумага передана через посредство ее сына, одного из крупных сановников, князя Н. Г. Репнина-Волконского): престарелая женщина умоляет «вывезти из Сибири» ее сына Сергея Григорьевича Волконского.

Нельзя!

10 июля 1838 г. прославленный герой Кавказских войн генерал-лейтенант Раевский (сын знаменитого полководца 1812 г., брат Марии Раевской-Волконской) отправляет царю просьбу, где старается быть столь откровенным, что, пожалуй, поступается правилами чести: «Ваше Императорское Величество! Отдаленный службою и войною, я лишился последнего утешения видеть кончину отца моего. Последнее завещание его было препоручить мне участь сестры моей. Без заблуждения и любви, она пожертвовала собою святым узам супружества. Верноподданный, я не прошу за Волконского, он сего недостоин; частное лицо, я не прошу за него, он погубил сестру мою. Но поселением Волконского на восточных берегах Черного моря Вы приблизите сестру мою к ее семейству, к родственной могиле. Моя жизнь Вам посвящена, государь, удвойте мои силы Вашим милосердием: дочь и внуки покойного Раевского — поселяне в Сибири!»

Через два с половиной месяца — ответ (28 сентября 1838 г.): «Высочайше повелено оставить эту просьбу впредь до времени»; Раевский через год напомнил, военный министр Чернышев положил резолюцию: «Не считаю нужным вновь докладывать» [ЦГВИА, ф. 1, оп. 1, № 12091].

Царь отказал, хотя просьбу поддерживал старинный друг и сослуживец Волконского граф Воронцов. Действительно, бывшего боевого генерала, князя — в рядовые: слишком *соблазнительно* и для тех солдат, что его помнят, и для тех офицеров, которым «только бы досталось в генералы».

Не пустили Волконского; не пустили другого бывшего генерала — Михаила Фонвизина. Одновременно отказали в Кавказе и осужденному декабристу совсем другого «чина и положения» — Мозалевскому: прапорщик Черниговского полка, посланный Сергеем Муравьевым-Апостолом, чтобы взбунтовать Киев, он, конечно же, встретит на Кавказе своих прежних солдат; ведь туда отправлена большая часть старого Черни-

говского полка. Бывший офицер и его бывшие солдаты с оружием в руках: этого никак нельзя допустить!

Мозалевский остается в Сибири, где вскоре умрет от болезней и тоски...

Тут пора отметить, что на войну и выслугу просились далеко не все декабристы.

В 1837 г. (как раз в то время, когда Одоевский и его друзья собираются на Кавказ) наверх идут просьбы двух несчастных жещин. Анастасия Якушкина по-французски умоляет наследника (будущего Александра II): «Разлученная с моим мужем в возрасте 18 лет, я не могла разделить его изгнание, обремененная двумя детьми, чей возраст требовал материнской заботы. О монсеньер, Вы, кому назначено судьбою быть утешителем несчастных, будьте и нашим утешителем [...] Не отвергайте просьбы женщины, несчастной матери»; Якушкина просит перевести мужа на гражданскую службу «в Киев или какие-нибудь другие южные губернии».

К этой просьбе присоединилась Екатерина Федоровна Муравьева: «Я имею двух сыновей, которые после всех потерь составляли некогда единственное мое счастье, они в Сибири более уже десяти лет, а ныне поселены в Иркутской губернии»; холатайствуя за сыновей, Никиту и Александра Муравьевых, мать умоляет «по расстроенному здоровью старшего (Никиты), лишившегося в Сибири добродетельнейшей жены, оставившей ему малолетнюю дочь слабого сложения, перевести их в Киевскую или Воронежскую губернию, если же нельзя — то в Западную Сибирь в Ялуторовск, «дабы не такое ужасное пространство разлучало меня с ними».

Царь, прочитав прошение, велел спросить, не желают ли Муравьева и Якушкина, чтобы их дети были «определены рядовыми в Отдельный Кавказский корпус» [ЦГВИА, ф. 1, оп. 1, № 1150].

Ни Якушкин, ни Муравьевы, однако, не пожелали такой милости.

Михаил Лунин, как уже говорилось, признавал объективную прогрессивность российских войн на Кавказе, но не связывал с этим вопрос об участии в них декабристов... Летом 1837 г., как раз тогда, когда семеро «прощенных» двигались на Кавказ, Лунин записывает резкие слова: «Мне стало известно, что некоторые наши политические ссыльные изъявили желание слу-

жить в Кавказской армии, чтобы вернуть себе милость правительства. Они правы. Однако было бы неосторожно решиться на такой шаг, не подвергнувшись прежде небольшому испытанию. В первый день получить пятьдесят палочных ударов, на второй сто, на третий двести, что вместе составит триста пятьдесят палочных ударов. После такого испытания можно будет сказать: достоин, достоин...» [Лупин, с. 40].

Эта ирония адресована многим, и, может быть, более всего Александру Ивановичу Одоевскому...

Мы не будем отстаивать правоту тех, кто не шел на Кавказ, и тех, кто просился: подавляющее большинство этих людей сумело отыскать благородные, честные пути и там, и тут...

Но вот Одоевскому — лучше б не ехать... Ох, уж это наше знание *ответа*, знание того, что с ним произойдет! Иногда оно гнетет историка, который мечтает каждый раз быть если не «создателем», то хоть первооткрывателем случившегося.

И все же не для кавказских пуль и лихорадки был рожден на свет Александр Одоевский (впрочем, и не для сибирской тоски).



Глава 8

Мой милый Саша

Как от любви ребенка безнадежной...

Лермонтов



етом 1837 г. семь декабристов движутся из сибирской Азии в кавказскую, а вслед за ними несутся вдогонку и опережают разнообразные секретные бумаги. Царь специально распоряжается — всех семерых поместить «в разные батальоны под строгий присмотр и с тем, чтобы они непременно несли строевую службу по их званию и без всяких облегчений»; меж тем «в инстанциях» решается важный казуистический вопрос: у двух пересылаемых, Нарышкина и Розена, есть жены, у Розена — еще и дети: как с ними быть? Ведь жены, отправившиеся за мужьями в Сибирь, «не имеют права оттуда возвратиться в Россию до смерти мужа. Прижитые же в Сибири дети принадлежат податному сословию». После долгих размышлений высшие власти пришли к глубокомысленному заключению: «Буде жене Розена разрешено будет выехать из Сибири, то нельзя, кажется, отлучить от нее малолетних ее детей».

В конце концов жепам и детям разрешили въезд «в Европу» — но под надзор и не в столицы; детей же велено «почитать военными кантонистами» [ЦГВИА, ф. 1, оп. 1, № 11500].

По пути на Кавказ над ними — клин журавлей.
Одоевский тут же сочинит — Розен запишет:

Куда песетесь вы, крылатые станицы?
В страну ль, где на горах шумит лавровый лес,
Где реют радостно могучие орлицы
И топят в синеве пылающих небес?

И мы на Юг! Туда, где яхонт неба рдеет
И где гнездо из роз себе природа вьет,—
И нас, и нас далекий путь влечет...
Но солнце там души не отогреет
И свежий мирт чела не обовьет.

Пора отдать себя и смерти и забвенью!
Но тем ли, после бурь, нам будет смерть красна,
Что нас ис севера угрюмая сосна,
А южный кипарис своей покроет тенью?
И что не мерзлый ров, не снеговой увал
Нас мирно подарят последним новосельем;
Но кровью жаркою обрызганный чакал
Гостей бездомных прах разбросит по ущельям.

Снова — «мы умрем», но уже не для славы, а для шакала, *чакала*:

Но кровью жаркою обрызганный чакал...

Не следовало ехать — но как же не поехать? Призрак воли — и шанс увидеться с отцом.

Те, кого в 1826-м везли в Сибирь с большим каторжным сроком, могли еще надеяться на будущие встречи с женами, детьми, братьями, сестрами — но не с родителями.

Больше 20 лет дожидалась сыновей Прасковья Михайловна Бестужева — и не дождалась.

Потеряв одного сына в Южном восстании, другого на эшафоте, не дожид до возвращения третьего сенатор Иван Муравьев-Апостол.

Екатерина Муравьева узнала о смерти в сибирской дали любимого сына Никиты и не сумела прибавить себе нескольких лет жизни, которых хватило бы для встречи с другим сыном, Александром.

Сошли в могилу, не взглянув хоть раз на опальных детей, старшие Пузины, Ивашевы, Беляевы.

Но тем летом 1837 г., с которого начался наш рассказ, едет навстречу сыну 69-летний отставной генерал-майор Иван Сергеевич Одоевский.

Трагические встречи на перекрестке старинных дорог с малой вероятностью — свидеться вновь.

Пушкин и Пуцин в Михайловском; на глухой почтовой станции — Пушкин и Кюхельбекер, которого гонят, «но куда же?».

Друзья провожали Лунина на смерть — и он шутил:

«Странно, в России все непременно при чем-либо или ком-либо состоят... Я всегда при жандарме».

Александр Одоевский едет навстречу отцу...

В Казани — несколько дней вместе; и еще разрешили отцу-генералу и сыну-солдату проехать несколько станций, несколько перегонов вместе, в сторону южную. Вот и вся встреча после двенадцати лет разлуки. Несколько месяцев назад отец писал: «Мой дорогой сын, я умираю от желания прижать его к моему сердцу, столь страдающему» (письмо В. Ф. Одоевскому от 30 декабря 1836 г., франц. яз.).

Теперь он радуется, шутит, что сын не похож на каторжанина — «розы на щеках».

Встреча, конечно, последняя.

Старый генерал полюбил и всех товарищей сына: через несколько недель напишет одному из них, Назимову: «Служите ли вы все... в одном батальоне? — и сообщите мне адрес ваш — словом, прошу одолжить сообщить мне все, что до вас касается, со дня расставания, столь убийственного для меня».

Простились со старым Одоевским, и уж не по Сибири, а через вереницу черноземных губерний — к югу, в кавказскую жару 1837 г.

1837-й: Пушкина полгода как убили, Дантеса уже прогнали за границу — он ищет русских собеседников и как раз в один из летних дней 1837-го на Баденском курорте оправдывается перед Андреем Карамзиным.

Александр Бестужев два месяца назад убит близ мыса Адлер.

А чуть севернее Адлера — Сочи: судьба Одоевского.

Убит Бестужев — и почти не осталось на Кавказе декабристов.

Есть «кровью жаркою обрызганный чакал...»

ДВА ПРИЗЫВА

В 1825—1826 гг. арестовали, допросили 589 человек. Из них десять были доносчиками, которые могли выполнять свои обязанности, только играя роль заговорщиков. Остается 579.

Половину (286 человек) отпустили, но все равно внесли в секретный *Алфавит*; с «преступниками» же обошлись так: 121 — под суд и большую часть приговорили к Сибири. Лишь немногих — в дальние гарнизоны и на Кавказ.

165 человек сочли виновными *не слишком* — и оттого суду не предавали, а распределили административно.

Разные категории «наказанных» заполняют Кавказ с весны 1826 г. Таковы сосланные туда «с лишением дворянства и без выслуги» (Коновницын, Цебриков, Кожевников и др.); М. И. Пущин был примером солдата, «лишенного дворянства, но с выслугой»; третьей категорией стали разжалованные в рядовые, с выслугой, но без лишения дворянства (Веденяпин второй, Фок); некоторых ссылали на поселение, но «по милосердию государя императора» заменяли это наказание солдатской службой — с лишением дворянства (Оржицкий, Петр Бестужев) или без лишения дворянства (Вишневский, Мусин-Пушкин и др.). Сверх того, немалое число было просто переведено из гвардии тем же чином в Отдельный Кавказский корпус: в списке, например, значатся: 27 марта 1826 г.: «из Кавалергардского полка в Нижегородский драгунский полк корнет Депрерадович» («он все знал, и даже о императорской фамилии, но про 14-е ничего не знал»). 28 марта 1826 г.: «из Преображенского полка в 43-й егерский поручик Шереметев («Цели о республике не знал. 14 числа декабря не знал»). В этот же день из лейб-гвардии Московского полка в Тенгинский полк переведены штабс-капитан Волков и поручик Брое.

С подобными же характеристиками («мало знал», «говорил не присягать», «всей цели не знал», «только знал, что не надо присягать, но потом присягнул и после нигде не был») в июле 1826 г. переведены из гвардии в кавказские армейские полки офицеры-декабристы Арцыбашев, Ринкевич, Малютин, Семичев, Гангелов, Гудима, Вадковский, Миклашевский, Корсаков [ЦГИА, ф. 1018, оп. 3, № 152].

Так оказались на Кавказе «рядовые» Берстель, Александр и Петр Бестужевы; полковники (позже генерал-майоры) Бурцов, Вольховский. Всего было сослано 65 офицеров, из них 38 разжалованы в рядовые. Сверх того, с конца 1826 г. на Кавказе действовал сводный гвардейский полк (38 офицеров, 1282 рядовых), где были сосредоточены многие провинившиеся и подозреваемые; в войсках, сражающихся с Персией и Турцией, 827 солдат мятежных полков, в основном Черниговского и Московского, а также около 700 рядовых других частей. Всего в конце 1826 — начале 1827 г. на Кавказе — около 2800 человек, прямо или косвенно

причастных к восстанию декабристов; к ним надо прибавить еще немало число *сочувствующих*: таковы сосланный за дисциплинарные нарушения и неоднократно переводившийся из офицеров в солдаты и обратно Р. И. Дорохов; пострадавшие еще за Семеновскую историю 1820 г., И. Д. Щербатов, Н. И. Кошкарлов и еще несколько офицеров; наконец, гражданские чиновники, чьи имена мелькают едва ли не в каждом повествовании о кавказских декабристах: таков приятель Пушкина и Грибоедова, создатель газеты «Тифлисская ведомость» П. С. Санковский, популярный врач Н. В. Майер (описанный Лермонтовым под именем доктора Вернера) и многие, многие другие.

Это целый слой российских примечательных людей, отправившихся на юго-восток не по своей воле; постоянные собеседники Грибоедова по пути в Персию, Пушкина — по дороге в Арзрум.

Многие из «замешанных» сыграли выдающуюся роль в кампаниях 1826—1829 гг., давая ценные советы или исправляя просчеты Паскевича (за что главнокомандующий их заново невзлюбил).

Что стало с кавказскими декабристами «первого призыва»? 15 погибло от ран или болезней, более 50 вернулось домой (многие под надзор).

Вот два типичных примера.

Согласно официальным бумагам, 27 декабря 1828 г. «по высочайшему указу» определен рядовым в Кавказский корпус и переведен из Сибири Захар Григорьевич Чернышев (брат А. Г. Муравьевой, вскоре умершей в Сибири). С 19 июня 1829 г. он значится в Нижегородском полку, 20 июня, 27 и 28 июля отличаетея в сражениях с турками. Начальник, генерал-майор Н. Н. Раевский-младший, представляет Чернышева к прощению, ибо он «отличным поведением, ревностной службой, кротостью, глубоким раскаянием и набожностью приобрел любовь и уважение нижних чинов»; Паскевич в представлении отказал, после чего Чернышев отличился еще в нескольких сражениях и получил отставку лишь после того, как был «ранен навывлет пулей в левый бок выше подвздошной кости» [ИРГ, арх. Вейденбаума. Картотека].

Поразительный документ, сохранившийся в Институте рукописей АН Грузинской ССР, как бы связывает воедино кавказские и сибирские судьбы декабристов: вдова известного полководца, героя войны 1812 г.,

Анна Коновницына 19 мая 1827 г. благодарит В. Д. Вольховского за известие о двух ее сыновьях, отправленных на Кавказ: «Ежели бог его [сына Петра] сохранит, то надеюсь его увидеть в первобытном состоянии [...] Сын Иван неопытен и доверчив. Это меня страшит — он, чтоб быть вместе с братом, на все пойдет — ради бога, поберегите его! Каково моему сердцу знать двух под пулями, а дочь 10 мая отправила в путь страдания и, по-видимому, не увижу — дай бог, что за все сие пожертвование [она] имела хоть отраду — быть полезной мужу и могла бы сколько-нибудь утешить в несчастьи.

С уверением, что Вы их помните, — не оставьте моих Петра и Ивана, сим Вы крайне обяжете меня» [ИРГ, арх. Вейденбаума, № 1770].

Из трех детей, о которых пишет Коновницына, ей удалось обнять только сына Ивана: Петр сложил голову на Кавказе, дочь, Елизавета Петровна Нарышкина, возвратилась 30 лет спустя, когда матери уже не было.

Так или иначе, к концу 1830-х годов декабристов «первого призыва» на Кавказе почти не осталось. За свою особую роль в событиях 14 декабря никак не удостоивался выслуги Александр Бестужев и тем приближался к другому финалу...

Еще дослуживали в разных кавказских полках и ведомствах давно доставленные Валериан Голицын, Сергей Кривцов, Владимир Толстой, Николай Цебриков, Михаил Малютин.

Меж тем времена переменились: прошли 1820-е, на исходе 30-е. Десять-пятнадцать лет — это очень много, особенно в медленные эпохи ссылок, мучений, напрасных ожиданий.

В 1826—1829 гг. николаевское правление только начиналось; Пушкин еще надеялся, сочиняя стихи о царе, который

...Россию оживил
Войной, надеждами, трудами.

Войны первых лет на Кавказе были популярны, даже у вчерашних декабристов — в защиту грузин, армян, греков от турок и персов...

Труды казались ненапрасными. *Надежды* на лучшее будущее, на близкие реформы, на скорую амнистию — и кавказских и сибирских товарищей еще не отцвели.

В конце же 1830-х надежд почти не оставалось. Стиль, курс николаевского, бенкендорфского правления выявился уже весьма отчетливо.

Тогда (в 1826—1829 г.), можно сказать, «вся Россия» шла на Кавказ: сосланные в одних рядах с вольными, Бестужев с Пушкиным, Михаил Пущин с Денисом Давыдовым. Те, кто провел несколько лет в Грузии и Армении, у Тебриза и Арзрума, не выпадали из главного русла российской жизни. Скорее наоборот: в ту пору на Кавказе был один из центров духовной жизни страны...

Теперь же, близ 1840-го, история неожиданно устраивает здесь жесткий эксперимент, удивительнейшее столкновение российских времен и поколений.

MORITURI

10 октября 1837 г. один из семерых декабристов, переведенных из Сибири, М. М. Нарышкин сообщал жене Е. П. Нарышкиной, с которой впервые за много лет расстался: «Пишу из Ставрополя, куда мы кое-как дотащились по весьма грязной и затруднительной дороге [...] Мы пазначены в полки, которые расположены по сю сторону Кавказа, и потому уж не поедем в Тифлис, на который нам очень хотелось взглянуть хоть мимоходом и познакомиться с совершенно новою для нас странюю. Михаил Александрович Назимов, Николай [Лорер] и Лихарев отправляются в полки, находящиеся теперь в Черномории, а я поступаю в отряд генерала Заса в Навагинский полк, которого штаб находится в 35 верстах от Ставрополя, а место моего пребывания, кажется, теперь будет в Прочном окопе в 60 верстах отсюда; климат здоровый, вода хорошая, — более еще ничего не знаю». На том же листе сбоку: «Михайло Александрович [Назимов] и Одоевский тебе дружно кланяются» [ЛБ, ф. 133, М. 5808. I].

Друзья, разумеется, не огорчали жену декабриста (и сестру двух декабристов) излишними певеселыми подробностями; не посвящали ее в некоторые ставропольские обстоятельства.

«Ave, imperator, morituri te salutant» — «Славься, император, идущие на смерть тебя приветствуют!» (см. [Сатин, с. 243], дополн. по [ЛБ, ф. 69, XI, 27]).

По другой версии, в Ставрополе прозвучало: «Reat» — «Да погибнет!» Это еще одно из полулегендар-

ных одоевских высказываний, вроде «Ах, как славно мы умрем!».

Осенью 1837-го, как раз когда несколько декабристов заканчивали свой многонедельный путь из Сибири, Кавказ был взбудоражен посещением царя.

Сначала все шло как будто хорошо: 28 сентября Николай на пароходе прибыл в Геленджик с наследником, а также А. Ф. Орловым и А. С. Меншиковым; первый же смотр не мог быть проведен по форме, так как сильный ветер уносил фуражки и забивал песком глотки, орущие «ура!»; царь разрешил «не соблюдать формы» и даже благодушно пошутил: «Я очень рад, что не взял с собою великого князя Михаила Павловича; он бы этого не вынес!» (Записки Г. Филипсона [РА, 1883, № 6, с. 243—254]). Внешне казалось, что Николай «соблюдает» определенные вольности, сложившиеся на Кавказе; благосклонно относится к старому ермоловцу генералу Вельяминову; сквозь пальцы смотрит на то, что генерал Н. Н. Раевский в своих искусных донесениях (составлявшихся Львом Пушкиным) нарочно преувеличивает трудности и заслуги отдельных полков; когда Филипсон заметил, что Раевский сообщает о походе в 80 верст вместо настоящих 35, тот рассмеялся: «Ладно, уступаю Вам 20 верст». Однако при всем при этом гайки завинчиваются; Раевского вскоре отставят.

Много лет проведя на юге, генерал Филипсон писал об этом времени: «Героический период Кавказа кончился; наступали новые времена, новые условия, новый взгляд на вещи при новой обстановке» [там же, с. 290].

Между прочим, той осенью 1837 г. царь в Тифлисе обнаружил (вернее, очень хотел обнаружить) злоупотребления: наместник Розен унижен; явно несправедливо обвинен его начальник штаба, генерал и старинный пушкинский приятель Вольховский; с одного флигель-адъютанта сорваны эполеты — все ждут худшего, а тут еще и новых государственных преступников везут почти что навстречу царскому кортежу.

Записки осведомленного очевидца Н. М. Сатина были составлены в 1865—1866 гг. и опубликованы в 1895-м с некоторыми сокращениями в сборнике «Почин».

«Как нарочно, в эту самую ночь в Ставрополь должен был приехать государь. Наступила темная осенняя почь, дождь лил ливня, хотя на улице были зажжены

плошки, заливаемые дождем, они трещали и гасли и доставляли более вони, чем света.

Наконец, около полуночи прискакал фельдъегерь, и послышалось отдаленное „ура!“. Мы вышли на балкон; вдали, окруженная горящими смоляными факелами, двигалась темная масса (в рукописи пояснение: „коляска государя“ [ЛБ, ф. 69, XI. 27, л. 3]).

Действительно, в этой картине было что-то мрачное.

— Господа! — закричал Одоевский. — Смотрите, ведь это похоже на похороны! Ах, если бы мы подоспели!.. — И, выпивая залпом бокал, прокричал по-латыни...

— Сумасшедший! — сказали мы все, увлекая его в комнату. — Что вы делаете?! Ведь вас могут услышать, и тогда беда!

— У нас в России полиция еще не училась полатыни, — отвечал он, добродушно смеясь» [Сатин, с. 244].

«Идущие на смерть тебя приветствуют!», «Да погибнет!»

Рифмованное эхо давнего «Ах, как славно...».

Громкий наезд Николая I на Кавказ совпадает по времени с пушкинскими поминками. Великого поэта оплакивает в стихах азербайджанец Мирза-Фатали Ахундов. Незадолго до гибели Александр Бестужев пишет брату из Тифлиса: «Я был глубоко потрясен трагической гибелью Пушкина. [...] Когда я прочел ваше письмо Мамуке Орбелианову, он разразился проклятиями: „Я убью этого Дантеса, если только когда-нибудь его увижу“, — сказал он».

В эту же пору (1837 г.) скитаются по Кавказу замечательные стихотворцы.

Лермонтов, только что сосланный сюда за стихи «Смерть поэта».

Александр Чавчавадзе, недавно вернувшийся на родной Кавказ из петербургской ссылки.

Из ссылки пензенской просится на воды и к друзьям *Николай Огарев*.

Николоз Бараташвили, доживающий свой двадцатый год из отпущенных судьбою 27-ми.

Александр Одоевский...

Их встречи неизбежны — но это только часть того исторического эксперимента, о котором ведем рассказ.

«Не раз Назимов, очень любивший поэта Лермонтова, приставал к нему, чтобы он объяснил ему, что такое современная молодежь и ее направления, а Лермонтов, глумясь и пародируя салонных героев, утверждал, что „у нас нет никакого направления, мы просто собираемся, кутим, делаем карьеру, увлекаем женщин“, он напускал на себя la fanfaronade du vice * и тем сердил Назимова. Глебову не раз приходилось успокаивать расходившегося декабриста, в то время как Лермонтов, схватив фуражку, с громким хохотом выбежал из комнаты и уходил на бульвар на уединенную прогулку, до которой он был охотник» (рассказ современника и свидетеля — князя А. И. Васильчикова [Лерм. Восп., с. 516—517]).

Много лет спустя Назимов, уже 80-летний, расскажет биографу Лермонтова П. А. Висковатому: «Лермонтов сначала часто заезживал к нам и охотно много говорил с нами о разных вопросах личного, социального и политического мировоззрения. Сознаюсь, мы плохо друг друга понимали. Передать теперь, через сорок лет, разговоры, которые вели мы, невозможно. Но нас поражала какая-то словно сбивчивость, неясность его воззрений. Он являлся подчас каким-то реалистом, прилепленным к земле, без полета, тогда как в поэзии он реял высоко на могучих своих крыльях. Над некоторыми распоряжениями правительства, коим мы от души сочувствовали и о коих мы мечтали в нашей несчастной молодости, он глумился. Статьи журналов, особенно критические, которые являлись будто наследием лучших умов Европы и заживо задевали нас и вызывали восторги, что в России можно так писать, не возбуждали в нем удивления. Он или молчал на прямой запрос, или отделялся шуткой и сарказмом. Чем чаще мы виделись, тем менее клеилась серьезная беседа. А в нем теплился огонек оригинальной мысли — да, впрочем, и молод же он был еще!» [Назимов, с. 185].

Декабрист Николай Лорер: «С первого шага нашего знакомства Лермонтов мне не понравился. Я был всегда счастлив нападать на людей симпатичных, теплых, умевших во всех фазисах жизни сохранить благодатный пламень сердца, живое сочувствие ко всему высокому, прекрасному, а говоря с Лермонтовым, он показался мне

* Бахвальство порока (франц.).

холодным, желчным, раздражительным и ненавистником человеческого рода вообще, и я должен был показаться ему мягким добряком, ежели он заметил мое душевное спокойствие и забвение всех зол, мною претерпленных от правительства. До сих пор не могу отдать себе отчета, почему мне с ним было как-то неловко, и мы расстались вежливо, но холодно» [Лорер, с. 251].

Мы вспомнили о двух эпизодах из ряда подобных; они случились, правда, не нашей осенью 1837-го, а чуть позже, но, полагаем, что это неважно: *социальная ситуация* и в 37-м, и в 40-м, и в 41-м в общем одна и та же; одни и те же действующие лица.

Вот они, те 40-летние рядовые Кавказского корпуса, которые полжизни назад были полковниками, майорами, гвардейскими поручиками, корнетами; и если б не 14 декабря, сейчас стали б, верно, генералами и начальствовали над нынешними своими начальниками.

Их кавказское время сравнительно недолгое — 1840-е годы. Несколько лет спустя, 23 декабря 1847 г., Назимов писал Пушкину: «На вопрос твой: кто из наших остался еще на Кавказе? — кажется, я ответил тебе, что никого. Я последний оставался там и возвратился оттуда» [ЛБ, ф. 243.2.40, № 9—10].

Для точности заметим, что на другой год, 1848-й, был переведен из Сибири на Кавказ «последний солдат», 47-летний А. Н. Сутгоф (в 1825-м лейб-гренадерский поручик); через семь лет он стал прапорщиком, еще два года спустя амнистирован.

Кавказские декабристы второго призыва.

Первый сошел за несколько лет до того. *Первые* были признаны, как уже говорилось, не очень виновными.

Вторые же — государственные преступники, некогда осужденные в каторгу, в сибирские снега.

Около 15 лет они пробыли в крепостях, а затем — «на дне мешка» (как называл Восточную Сибирь один из николаевских министров). Они прожили длинные годы в таких краях, куда почта от родных шла месяцы, куда быстрейший царский курьер попадал на 30—40-е сутки.

Они были так далеки от родных мест, от столиц, от привычного образа жизни, культурного общества, что на 15 лет... отстали?

Нет, не то!

В следующем столетии литераторы-фантасты не раз заставят дальнюю космическую экспедицию вернуться на Землю, где время текло по-другому, нежели на часах ракеты, и все так изменилось, что возвратившиеся никого и ничего не узнают...

Впрочем, в 1830-х подобное могло прийти в голову разве что кузену Александра Ивановича Одоевского, Владимиру Федоровичу...

Так или иначе, но нечто в этом роде происходит с декабристами второго призыва, которые после долголетнего перерыва встречаются на Кавказе милых соотечественников — и вроде бы *не узнают*.

«Приходилось успокаивать декабриста, в то время как Лермонтов с громким хохотом выбегал...»

«Наши восторги... не возбуждали в нем удивления».

«Ненавистник человеческого рода — и мягкие добряки».

Ах, как просто все это объяснить (и как часто объясняют!) тем, что прибывшие декабристы были полны иллюзий, а великий Лермонтов нет, что они верили, чему верить «не следовало», а Лермонтов «не верил и был прав».

Как просто...

Заметим, между прочим, что декабристы пишут и рассказывают о кавказских спорах 1837—1841 гг. много лет спустя, когда уже определилась посмертная судьба Лермонтова; «ведь это теперь так ценят Лермонтова, — вспоминал полвека спустя современник и свидетель Василий Эрастов. — А тогда, а тогда?» [ЛБ, ф. 196. VII. 9, л. 6]; и Лорер на «соседних страницах» своих мемуаров пишет о «славном поэте, который мог бы заменить нам отчасти покойного Пушкина».

Назимов же одновременно с рассказом о размолвке с Лермонтовым сообщает, что «в сарказмах его слышалась скорбь души, возмущенной пошлостью современной ему великосветской жизни и страхом неизбежного влияния этой пошлости на прочие слои общества» [Назимов, с. 177].

Как просто было бы старикам-декабристам сгладить, улучшить задним числом свои отношения с великим поэтом.

Они этого, однако, не делали — стоит ли это делать за них?

А коли не стоит — так выскажем наше убеждение, что в кавказских спорах сошлись не только *либерализм*

и отрицание (хотя и это, конечно, было, но не в этом суть!).

Сошлись поколения, исторически разные образы мыслей.

Сорокалетние юноши-декабристы сохранились в сибирских снегах почти что 25-летними, какими были разжалованы, осуждены. Ну, разумеется, не следует понимать «сохранились» слишком буквально: физически, к примеру, уж никак не помолодели, а иные до 1840-х и не дожили.

А все же общий дух остался из 1820-х. Это был своеобразный *ответ* на ссылку, изгнание. Пушкин, поэт их поколения, написал (конечно, не думая о возможном разнообразии будущих толкований):

Мы ж утратим юность нашу
Только с жизнью дорогой.

Они никак не утрачивали юность — в стареющее время.

И тут встречаются на пути Лермонтова — другого поэта опального, ссыльного, да еще и молодого; и как не принять «сынка» за своего, как не обнять, не утешить, утешиться?

Но натываются на неожиданную броню, на шипы...

По разным воспоминаниям — только что цитированным и нецитированным — создается впечатление, что первые встречи, разговоры с автором «Смерти Поэта» вызывали у многих «сибиряков» раздражение, обиду. Иные так и отступали, не пробившись сквозь броню и колючки.

Они, старшие, толкуют ему нечто в духе —

Товарищ, верь!..

Да здравствуют музы, да здравствует разум!..

Они выискивают в журналах свежие слова (и находят, между прочим, — его, лермонтовские). Они взволнованы слухами, смутными известиями, будто крестьян все-таки освобождают, хотят освободить — и ведь в самом деле заседали тайные комитеты, и даже освободили в 1838—1842 гг. государственных крестьян (по только не помещичьих, но только — не коренные реформы!).

А Лермонтов — им, можно вообразить, с какой саркастической улыбкою, с какими скептическими, *печоринскими* жестами... Буквальных реплик не слышим, но

знаем строки, которых не смог бы написать даже *и* Пушкин — не смог, ибо не подозревал о существовании такого времени, таких чувств:

Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее — иль пусто, иль темно,
Меж тем, под бременем познания и сомненья,
В бездействии состарится оно.

Далее — не менее страшные определения — «тощий плод до времени созрелый», «неверие осмеянных страстей».

Лермонтовская «Дума» — это будто диалог с невидимым собеседником; сравнение нынешних — и тех, прежних, у кого было *наоборот*:

Мечты поэзии, создания искусства
Восторгом сладостным наш ум не шевелят...

Меж тем рядом люди 1820-х, умевшие «сладостно восторгаться» поэзией, искусством.

И далее — почти каждая строка отбрасывает «светлую тень», напоминает по контрасту о людях совсем иных:

Мечты поэзии, создания искусства
Восторгом сладостным наш ум не шевелят;
Мы жадно бережем в груди остаток чувства —
Зарытый скупостью и бесполезный клад.
И ненавидим мы, и любим мы случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,
И царствует в душе какой-то холод тайный,
Когда огонь кипит в крови.

Вот настал миг прямого сопоставления младых старцев и стареющих юнцов, — но нет у Лермонтова умиления пред отцами:

И предков скупы вам роскошные забавы,
Их добросовестный, ребяческий разврат;
И к гробу мы спешим без счастья и без славы,
Глядя насмешливо назад.

«Глядя насмешливо назад» — вот что обижало, бесило тех, кто не склонен был насмехаться над прошедшим.

Но последнее восьмистишие, самое безнадежное, выдает и то, в чем одном могут сойтись 40-летние солдаты с 25-летним корнетом:

Толпой угрюмою и скоро позыбытой,
Над миром мы пройдем без шума и следа,
Не бросивши векам ни мысли плодовиной,
Ни гением начатого труда.
И прах наш, с строгостью судьбы и гражданина,
Потомок оскорбит презрительным стихом,
Насмешкой горькою обманутого сына
Над промотавшимся отцом.

«Мысль плодовиная», «шум и след», «начатый труд», «судья и гражданин» — это слова-знаки тех времен, когда молодые были в самом деле молоды, когда они били Наполеона и шли на Сенатскую, когда сочиняли Пушкин и Грибоедов, когда веселились Лунин и Денис Давыдов, погибали Багратион и Рылеев.

Однако, *глядя насмешливо назад*, Лермонтов оставляет без насмешки только будущее, того потомка, который непохож на отцов.

Может быть, он приближается (как это часто бывает) к *дедам*? Но те ведь — *роскошные, ребяческие...*

В рассказе Лермонтова «Фаталист» находим строки: «Мы равнодушно переходим от сомнения к сомнению, как наши предки бросались от одного заблуждения к другому».

Итак, люди 1820-х утратят юность «только с жизнью дорогой». Люди 1830—1840-х «в бездействии состарятся».

«Людям двадцатых годов досталась тяжелая смерть, потому что век умер раньше их» (*Тынянов*).

«Лермонтов не мог найти спасения в лиризме, как находил его Пушкин. Он влачил тяжелый груз скептицизма через все свои мечты и наслаждения. [...] О Лермонтове говорили как о балованном отпрыске аристократической семьи, как об одном из тех бездельников, которые погибают от скуки и пресыщения. Не хотели знать, сколько боролся этот человек, сколько выстрадал, прежде чем отважился выразить свои мысли. Люди гораздонисходительней относятся к брани и ненависти, пежели к известной зрелости мысли, нежели к отчуждению, которое, не желая разделять ни их надежды, ни их тревоги, смеет открыто говорить об этом разрыве» [Герцен, т. VII, с. 225].

Много лет спустя, рассуждая о разных поколениях и представляя Ставрогина, одного из новых героев-се-

мидесятников, Достоевский заметит: «В злобе, разумеется, выходил прогресс против Лунина, даже против Лермонтова». Лунин — это из декабристов, из «двадцатых»; что Лермонтов их *злее*, не обсуждается — это для автора «Бесов» аксиома...

И коли так, то на *лермонтовском Кавказе* конфликт двух благородных сторон был неизбежен; без него, скажем откровенно, русский мир близ 1840 г. представлялся бы несколько однотонным, даже скучным и, главное, ненастоящим.

Положительные герои, добрые люди... Между тем они довольно часто, и «по делу», злятся друг на друга; и тогда нелестно аттестуют великого поэта славные декабристы; и тогда от лермонтовского тона готов взяться за пистолет один из отцов, *Руфин* Дорохов (чей рассказ записал А. В. Дружинин).

«Лермонтов принадлежал к людям, которые не только не правятся с первого раза, но даже на первое свидание поселяют против себя довольно сильное предубеждение. Было много причин, по которым и мне он не полюбился с первого разу [...] Его холодное обращение казалось мне надменностью, а связи его с начальствующими лицами и со всеми, что терлись около штабов, чуть не заставили меня считать его за столичную выскочку. Да и физиономия его мне не была по вкусу,— впоследствии сам Лермонтов иногда смеялся над нею и говорил, что судьба, будто на смех, послала ему *общую армейскую наружность*. На каком-то увеселительном вечере мы чуть с ним не посчитались очень крупно...

Мало-помалу неприятное впечатление, им на меня произведенное, стало изглаживаться. [...] В одной из экспедиций, куда пошли мы с ним вместе, случай сблизил нас окончательно: обоих нас татары чуть не изрубили, и только неожиданная выручка спасла нас. В походе Лермонтов был совсем другим человеком против того, чем казался в крепости или на водах, при скуке и безделье» [Лерм. Восп., с. 382].

Кто умел все же пробить лермонтовскую броню, не испугаться шипов, тот обретал необыкновенного Лермонтова, попадая в мир общих с ними интересов, согласия (например, насчет власти, насчет Востока, Кавказа); попадал к человеку, томящемуся оттого, что «некому руку подать...».

Но чтобы суметь, чтобы найти общий язык с геппальным современником, декабристам — «посланцам из прошлого» — тоже был необходим особенный талант.

Особенный талант оказался у Александра Одоевского.

В октябре 1837 г. он выехал вместе с Лермонтовым из Ставрополя в Тифлис, где обоим назначено служить в Нижегородском драгунском полку.

Корнет Михаил Лермонтов, разжалованный из гвардии.

Рядовой, государственный преступник, разжалованный из гвардейских корнетов, Александр Одоевский.

В те дни, когда они отправились через хребет, Лермонтов уже был прощен: царю на обратном пути с Кавказа доказали, что несколько месяцев гауптвахты и ссылки вполне достаточно за «Смерть Поэта».

Однако известие о прощении не скоро движется сквозь строй писарей, чредою канцелярий — из Петербурга в Грузию.

Собственно говоря, вся дружба двух поэтов укладывается в бюрократический период обращения одной бумаги. Бумага придет — навсегда расстанутся.

Один месяц, может быть, полтора.

Александр Одоевский родился в ноябре 1802-го, Михаил Лермонтов — в октябре 1814-го. В те дни, когда князь-корнет «декламировал» на Сенатской, Лермонтов был примерно таким, как Одоевский в год его рождения: в Тарханах, под присмотром бабушки, «ходил в зеленой курточке» и делал в оттепель из снега «человеческие фигуры в колоссальном виде» (воспоминания кузена Шан-Гирея [Лерм. Восп., с. 32—33]).

У Лермонтова, однако, давно нет ни отца, ни матери: только бабушка; у Одоевского же отец, который в последнем из сохранившихся писем извещал Владимира Одоевского (23 апреля 1838 г., Москва): «Я вчера получил его письмо от 25 февраля из Тифлиса [...], откуда он со своими нижегородскими драгунами отправится в Ставрополь, а оттуда в отряд генерала Заса, в экспедицию на Кавказ. [...] Я боюсь за него и трепещу» [ПБ, ф. 539, оп. 2, № 827, франц. яз.].

Одоевский из того поколения, Лермонтов из этого.

«Ах, как славно мы умрем!» — фраза из *того* мира; лермонтовское время избегает карамзинского «Ах» и не склонно восторгаться даже собственной гибелью; если же подобные чувства нахлынут, то их чаще всего стараются утаить, замаскировать насмешкою.

Встреча двух поколений в двух таких лицах!
Мемуары об этой встрече написаны.

ПАМЯТИ А. И. О.

Проходит два года после тех кавказских месяцев. Двенадцатый номер за 1839 г. одного из главных русских журналов был разрешен цензурой (цензоры А. Никитенко и С. Куторга) *14 декабря*. «Бывают странные сближения», — сказал бы Пушкин. Перелистывая толстую книжку знаменитых «Отечественных записок», попадаем в далекий мир, которому невозможно не удивляться, даже если немало о нем слыхали.

За полтора прошедших века многое переменилось в журнальном деле: и герои и тиражи; но об одном различии скажем сейчас же. Если приглядеться к повестям, статьям, стихам обычным, *проходным*, так сказать, к нижнему и среднему уровню (неизбежному даже в лучших изданиях), то можно убедиться, что лучшие журналы XIX в. печатали немало так называемого *чтива*, особенно переводного. Читать это сегодня порою невозможно без улыбки: *нижний* уровень редакторской требовательности за несколько поколений, несомненно, вырос, в *среднем* теперь пишут лучше, профессиональнее...

В среднем — нет такого разительного расслоения между первыми и последними материалами, как бывало прежде (о высших не говорим, они вне арифметики).

Двенадцатый номер «Отечественных записок» рядом с посредственной повестью В. Ушакова «Густав Гацфельд», переводной прозой «Голубой цветок», стихами В. Красова, фельетоном С. Разпоткина публикует дельную, живую, интересную «Библиографическую хронику», воспоминания о Бородине; между статьей «Меры народного продовольствия в Китае» (где известный ученый Иакинф [Бичуриц], между прочим, сообщал о 360 миллионах жителей этой страны) и стихами П. А. Вяземского «Брайтон» *вдруг* обнаруживаются строки, которых русские читатели прежде никогда не знали (хотя нам нелегко в это поверить!);

Терек воет, дик и злобен,
Меж утесистых громад,
Буре плач его подобен,
Слезы брызгами летят.

Другое стихотворение, тоже подписанное *М. Лермонтов*, — «Памяти А. И. О-го».

Угадать, кто такой А. И. О., было нетрудно, и все, кому было интересно, угадали. Тут была смелость. Несколькими месяцами ранее управляющий Третьим отделением Мордвинов лишился своего места за то, что проглядел портрет писателя-декабриста Александра Бестужева (Марлинского) в сборнике «100 русских литераторов». Таких людей строжайше запрещено помнить, вспоминать.

И вот — «Памяти А. И. О<доевско>го».

Впрочем, той зимою, с 1839-го на 1840-й, Михаил Юрьевич Лермонтов вообще крепко играл с судьбою.

В день царских именин, 6 декабря, его произвели в поручики; но именно в эти дни и недели собирался «кружок шестнадцати» — молодые люди, среди которых Лермонтов был одним из первых: «Каждую ночь, возвращаясь из театра или бала, они собирались то у одного, то у другого. Там после скромного ужина, курия свои сигары, они рассказывали друг другу о событиях дня, болтали обо всем и все обсуждали с полнейшей непринужденностью и свободой, как будто бы III отделение собственной его императорского величества канцелярии вовсе не существовало: до того они были уверены в скромности всех членов общества» (из воспоминаний члена кружка К. Браницкого [Лерм. Восп., с. 248]).

Великий князь Михаил Павлович, один из главнейших начальников Лермонтова, тот самый, который бы «не вынес» кавказских строевых вольностей, брат царя, кое-что зная и о многом догадываясь, грозит, что «разорит это гнездо», укоротит гусарские дерзости.

А Лермонтов тогда же переписывает и посылает Александру Тургеневу (и, верно, не ему одному!) автокопию стихов «Смерть Поэта» (см. [Мапуйлов, с. 112—113]).

И сын французского посла Барант близ нового, 1840-го уж интересуется: «правда ли, что Лермонтов в известной строфе стихотворения „Смерть Поэта“ бранит французов вообще или только одного убийцу Пушкина?»

Дело идет к дуэли, за которую (формально) Лермонтова сошлют снова.

Формально. А фактически приблизительно в эту пору (как доказал И. Л. Андроников) поэт-поручик, подозрительный своими политическими воззрениями, умудряется еще сделаться *личным врагом* Николая I: «кружок шестнадцати», между прочим, спасает благородную девицу от царского вожделения; ее быстро выдают замуж, накануне пожалования во фрейлины-любовницы. Личная вражда царя (источник будущего известного царского восклицания: «Собаке собачья смерть!») — это куда страшнее преследования только за общественные взгляды! [Андроников. Напр. поиска, с. 153—170].

И вот среди всего этого — «Памяти А. И. О-го».

Мы медленно пройдем по 65 строкам чудных воспоминаний; по стихотворению слишком известному, чтобы не быть еще и таинственным:

Я знал его: мы странствовали с ним
В горах востока, и тоску изгнанья
Делили дружно; но к полям родным
Вернулся я, и время испытанья
Промчалось законной чередой;
А он не дождался минуты сладкой:
Под бедною походною палаткой
Болезнь его сразила...

Тоска изгнанья: Лермонтов, возвратившись, скажет — «из теплых и чужих сторон».

И двух лет не прожил Одоевский на Кавказе после расставания с Лермонтовым: сперва в Тифлисе, потом — в походе, в Ставрополе и на Водах, опять в походе. Летом 1839-го оказался на гиблом, жарком берегу в Субаши близ Сочи. Сохранилось несколько рассказов очевидцев (или тех, кто их расспросил), и эти рассказы быстро, как всякая дурная весть, разлетелись по Кавказу, по России, попали в столицу — к Лермонтову.

Рассказы — что Одоевский был постоянно весел, улыбался, что устал, что был потрясен известием о смерти отца и горечью воспоминаний о последнем их прощании на перегонах близ Казани.

Меж тем тогда же совсем неподалеку — вестники другой, прежней жизни, близкие, интересные люди, как будто не чувствующие огромной смертельной опасности, нависшей над грибоедовским, лермонтовским «милым Сашей».

За несколько недель до *конца* снова возникает давний спутник молодости, кузен Владимир Одоевский; тот, кому шли веселые и пророческие письма брата Александра в начале 1820-х; тот, с кем делился своей радостью старый генерал Иван Одоевский; тот, чьи письма к другим Одоевским, к сожалению, совсем не сохранились.

На этот раз, 25 мая 1839 г., В. Ф. Одоевскому сообщает новости (из Пятигорска) известная поэтесса, приятельница многих декабристов и Лермонтова Евдокия Петровна Ростопчина: «Зачем Вас здесь нет?.. Здесь так хорошо, тепло, светло, воздух так чист, так тих, дышится легко, живется так же, без забот, без мыслей, без занятий, словом, мне здесь так привольно, приятно, что часто приходит в голову: „Зачем же Вас здесь нет?“. Как Вы бы отдохнули от всех своих труженических обязанностей и хлопот! Как Вы бы помолодели и духом, и сердцем, и здоровьем; как мы с Вами наболтались бы до света!.. Но Вы между тем душиетесь за пером и бумагами, да еще из-за меня скучаете в опустелом Петербурге и убиваете свое бледное существо над тысячью неприятных и досадных трудов. [...] Сюда на днях должен прибыть Ваш двоюродный брат, находящийся в службе в здешнем корпусе, и я горю нетерпением с ним познакомиться. В детстве моем, в семействе Ренкевичевых, представляли мне его идеалом ума и души; если это точно правда, что он таков, то знакомство с ним будет мне и приятно, и *опасно*, и дружба одного из князей Одоевских вряд ли будет мне защитой против привлекательности другого. Но во всяком случае я обещаюсь не утаивать от Вас ни мнения моего о Вашем родственнике, ни подробностей нашей встречи. [...] Говорят, что он много написал в последние годы и что дарование его обещает заменить Пушкина, а говорят это люди умные и дельные, могущие судить о поэзии. Посмотрим, посмотрим!.. Он *Одоевский*, а это уже большое достоинство в моих глазах» [ПБ, ф. 539, оп. 2, № 953, л. 5—6].

Никакой встречи столичной путешественницы с солдатом-поэтом, кажется, не произошло. Слова о даровании, которое «обещает заменить Пушкина», становятся вдруг досрочным некрологом; заставляют вспомнить далекие, из другой эры, самооценки Александра Одоевского: «Я люблю побеждать себя, люблю покоряться, ибо знаю, что испытания ожидают меня в этой жизни»;

«я слаб... и потому кажусь твердым. Я перенес все от слабости!»

О последующих событиях совсем немного достоверных документов.

«При занятии десантом 7 июля 1839 года Псезуапе, когда 3-му батальону Тенгинского полка под командой подполковника Хлюпина было приказано занять гору, прежде всех взбежала пара стрелков, состоявшая из государственных преступников, рядовых Одоевского и Загорецкого. Они вдвоем бросились в кущу дерев, где засел десяток черкесов: сии последние, сделав по ним залп, убежали» (Военный журнал Раевского [ИРГ, арх. Вейденбаума]).

Полковник (будущий генерал) Филипсон узнает, что Одоевский стремится участвовать в очень опасном деле; генерал Раевский обещает декабриста не посылать, но по рассеянности не выполняет обещанного. Одоевский этому рад, но Филипсон горячо уговаривает «рядового»: «Вероятно, я говорил нехладнокровно. Это его тронуло, мы обнялись, и он мне дал слово беречь свою жизнь. Это глупое недоразумение еще более нас сблизило, и я с особенным удовольствием вспоминаю часы, проведенные с этой светлою, поэтической и крайне симпатическою личностью» [РА, 1883, № 6, с. 315].

Из воспоминаний и писем друзей видно, что летом 1839-го жить Александр Иванович больше не хотел — устал, но улыбался.

Поэтому, когда предложили желающим сесть на корабль и уехать на другой участок Кавказской линии, солдат Одоевский решительно воспротивился, впрочем заметив: «Мы остаемся на жертву горячке». И когда заболел, все шутил над неопытным лекарем Сольететом:

Сказал поэт: Во цвете лет
Адьюпктом станет Сольетет,
Тогда к нему я обращусь...

Одоевский, согласно воспоминаниям Филипсона, приписывал свою болезнь тому, что «накануне он читался Шиллера в подлиннике на сквозном ветру через поднятые полы палатки».

Под бедною походною палаткой — Лермонтов точно знает.

Смерть больного Одоевского была все же столь вне-

запíой, что товарищам некоторое время казалось (несмотря на все признаки), будто он все-таки жив и вот-вот очнется (Филипсон).

Тот же мемуарист поведал: «На могиле поставили большой деревянный крест. После одного нападения горцев крест пропал. Говорили, что они разорили и разбросали русские могилы. По легенде же, среди горцев был беглый русский офицер, который сумел объяснить, кто здесь покоится, и телу страдальца были отданы новые почести».

Одоевский — легенда, уж какая по счету (и все же не последняя!). Легенда, которой столь же сильно хочется верить, сколь мало в ней вероятия; ценная не по своему буквальному смыслу, но как взгляд, как память об этом человеке. Те, кто знал, любил поэта-солдата, пытались хоть посмертно улучшить его судьбу, сотворить воображением высшую справедливость...

Лермонтов же с ним за два года до того странствовал: «делили дружно» и говорили, говорили, а мы имеем право на некоторую реставрацию тех давно умолкнувших речей.

Как ни опасно вымышлять, домышлять, переводить стихи на мемуарный язык, но, думаем, с должной осторожностью *можно, нужно*:

Болезнь его сразила, и с собой
В могилу он унес летучий рой
Еще незрелых, темных вдохновений,
Обманутых надежд и горьких сожалений...

Говорили о душе, о стихах. Не забудем, что Лермонтов еще не написал своих главных сочинений, оба не знали (разве что смутно предчувствовали) свою судьбу — человеческую, литературную. Одоевский читал стихи (он это делал легко, охотно), Лермонтову же стихи как будто не очень нравились — «незрелые, темные вдохновения» (в сохранившемся черновике стихотворения мелькает: «волшебный рой», «смутный рой рассеянных, незрелых вдохновений»); впрочем, тогда же и о себе самом заметит: «мой недоцветший гений». Вообще на поэзию, ее общественную роль Лермонтов смотрел во многом иначе, более скептически. Да, он знает, что иногда стих «звучал как колокол на башне вечевой», но не «в наш век изнеженный...».

Разные поэты, люди разные, эпохи разные.

Но при всем при том Лермонтов очень чувствует в

Одоевском собрата. То, что выражалось рассказами, стихами, улыбкою Одоевского — *личность собеседника*, — все это Лермонтова трогало и удивляло.

«Обманутые надежды, горькие сожаления» — это о чем же? О неудавшейся жизни? О несбывшейся даже такой мечте — как *славно, полезно умереть?*

«Обманутые надежды» Одоевского — это ведь эхо «Смерти Поэта»:

С досадой тайною обманутых надежд...

Смерть поэта Пушкина, смерть поэта Одоевского...

Укор невежд, укор людей
Души высокой не печалит...

Лермонтов скажет, запишет, у Одоевского же это выйдет как-то само собой, с улыбкою, верою.

Лермонтов не хотел, не мог так верить в высшие силы, потустороннее, высшее начало, как его собеседник; но в поэме «Сашка» (писанной примерно тогда же, когда и «Памяти А. И. О<доевско>го») еще раз вызовет дух умершего, жалея его и себе пророча:

И мир твоим костям! Они сгниют,
Покрытые одеждою военной...
И сумрачен и тесен твой приют,
И ты забыт, как часовой бессменный.
Но что же делать? — Жди, авось придут,
Быть может, кто-нибудь из прежних братьев,
Как знать? — земля до молодых объятий
Охотница... Ответствуй мне, певец,
Куда умчался ты?.. Какой венец
На голове твоей? И все ль, как прежде,
Ты любишь нас и веруешь надежде?

Веруешь надежде: об этом вторая строфа «Памяти А. И. О-го»:

Он был рожден для них, для тех надежд,
Поэзии и счастья... Но, безумный —
Из детских рано вырвался одежд
И сердце бросил в море жизни шумной,
И свет не пощадил — и бог не спас!
Но до конца среди волшебий трудных,
В толпе людской и среди пустынь безлюдных,
В нем тихий пламень чувства не угас:
Он сохранил и блеск лазурных глаз,
И звонкий детский смех, и речь живую,
И веру гордую в людей и жизнь живую,

Если бы остановить на этом месте читателя, не знающего, кто и о ком пишет, и спросить: сколько лет автору и сколько адресату?

Ну, понятно, автор старше!

Дважды мелькнуло ключевое слово *детский*:

Из *детских* рано вырвался одежд..
И звонкий *детский* смех...

А в черновике —

Мушпыны *детский* смех и ум и чувства...

Для нашего разговора — мотив важнейший!

За каждой строчкой, эпитетом угадываем лермонтовское: «У меня не так, наоборот».

«Тихий пламень чувства» Одоевского — и лермонтовское «Из пламя и света рожденное слово».

Блеск лазурных глаз, вера гордая в людей и жизнь иную; но только что в «Думе»:

И ненавидим мы, и любим мы случайпо..

Недаром так много, неожиданно много в разных лермонтовских стихах — о детях, смехе ребенка. О прекрасном мире, откуда он ушел, но завидует тем, кто хоть часть его сохранил:

С святыней зло во мне боролось,
Я удержал святыни голос...

Лермонтов будто готов вслед за Грибоедовым повторять, что Саша Одоевский — это «каков я был прежде». Только Грибоедов был на семь лет старше, а Лермонтов — на 12 лет моложе Одоевского.

Любопытнейшая ошибка декабриста Лорера: «А. И. Одоевский скончался на 37-м годе своей жизни, Пушкину было 37, Грибоедову 37 и Лермонтову было 37 лет...»

Недавно опубликовавшая эту запись И. С. Чистова (см. [Лерм. Иссл., с. 195]) полагает, что здесь описка; но ведь декабрист удивляется тому, что четыре поэта погибли в одном возрасте! Грибоедова Лорер не встречал. Лермонтов же казался ему много старше своих лет...

«А вы думаете, — сказал Чаадаев, — что нынче еще есть молодые люди?» («Былое и думы»).

Сестра декабриста Лунина писала сосланному брату примерно в это время: «Болезнь нашей эпохи — что

нет более ни детства, ни юности — все проходит до времени, и я вижу у слишком многих молодых людей преждевременные моральные морщины» (письмо № 329, 16 августа 1835 г., фр. яз. [ПД, ф. 368. I, № 21]).

Лермонтов старше эпохой, а не возрастом. Но — невольно иль вольно — он увлечен призраком иной жизни, воплощенной в лысом, молодом солдате. Лермонтовская *броня* пробита; каждая строка о Саше кончается мыслью о себе, тоже рожденном «для них, для тех надежд, Поэзии и счастья...»

Мы не знаем, не узнаем, как сумел Одоевский завоевать Лермонтова, и можем только сослаться на другую, сходную сцену.

Белинский (посетивший Лермонтова на гауптвахте в апреле 1840 г.); «Я с ним спорил, и мне отраднo было видеть в его рассудочном охлажденном и озлобленном взгляде на жизнь и людей семена глубокой веры в достоинство того и другого. Я это сказал ему — он улыбнулся и сказал: „Дай бог!“» [Белинский, с. 509]. И. И. Панаеву Белинский рассказал: «Я в первый раз видел настоящего Лермонтова, каким я всегда желал его видеть... Сколько эстетического чутья в этом человеке! Какая нежная и тонкая поэтическая душа в нем!.. Недаром же меня так тянуло к нему. Мне наконец удалось-таки его видеть в настоящем свете. А ведь чудак. Он, я думаю, раскаивается, что допустил себя хоть на минуту быть самим собою, — я уверен в этом... [Панаев, с. 221].

Конечно, Белинский лишь на три года старше поэта — почти ровесник — и личность совсем не «одоевская» (о чем еще речь впереди); но общий дух двух «диалогов» весьма сходен...

Возвращаясь же к стихам «Памяти А. И. О<доевско>го», мы быстро отыскиваем там авторское пророчество самому себе, привычное для больших поэтов: *И свет не пощадит, и бог не спасет...*

Но он погиб далеко от друзей...
Мир сердцу твоему, мой милый Саша!
Покрытое землей чужих полей,
Пусть тихо спит оно, как дружба наша
В немом кладбище памяти моей!
Ты умер, как и многие, без шума,
Но с твердостью. Таинственная дума
Еще блуждала на челе твоём,
Когда глаза закрылись вечным сном;

И то, что ты сказал перед кончиной,
Из слушавших тебя не помял ни единый...

И было ль то привет стране родной,
Название ли оставленного друга,
Или тоска по жизни молодой,
Иль просто крик последнего педуга,
Кто скажет нам?.. Твоих последних слов
Глубокое и горькое значенье
Потеряно... Дела твои, и мненья,
И думы,— всё исчезло без следов,
Как легкий пар вечерних облаков:
Едва блеснут, их ветер вновь уносит —
Куда они? зачем? откуда? — кто их сирочит...

Нежно (будто и не Лермонтов): «мой милый Саша!»

Суровый критик обязан тут насторожиться: где же в стихах об Одоевском черты декабриста, революционера, каторжника, «безумного мятежника», автора крамольных стихов? Лермонтов ничего подобного как будто совершенно не замечает...

Покамест не будем торопиться, еще послушаем Лермонтова и других умных людей.

«Тихо спит... в пемом кладбище... умер... без шума» — вот «знаки», ключи их тайны: никто не расслышит; душа Саши — «таинственная». Дважды повторено:

И то, что ты сказал перед кончиной,
Из слушавших тебя не помял ни единый...

: ?
:
Глубокое и горькое значенье
Потеряно...

Последние слова реального Одоевского — о Шиллере, о неумелом лекаре, а также об отце.

Вот последнее из сохранившихся его писем другу-декабристу Назимову:

«Мой милый друг Михаил Александрович! Я потерял моего отца: ты его знал. Я не знаю, как я был в состоянии перенести этот удар — кажется, последний; другой, какой бы ни был, слишком будет слаб по сравнению. Все кончено для меня. Впрочем, я очень, очень спокоен. [...] Желаю тебе более счастья, гораздо более, нежели сколько меня ожидает в этом мире. Ты, впрочем [я уверен], будешь счастливее меня. Нарышкин и Лорер лечатся в Тамани. Загорецкий и Лихарев тебе кланяются. Мы все еще в Субаши. [...] Я спокоен; говорить говорю, как и другие; но когда я один перед собою или пишу к друзьям, способным разделить мою

горесть, то чувствую, что не принадлежу к этому миру. Прощай еще раз».

Вот что говорил и писал перед смертью Александр Одоевский. Лермонтов, вероятно, многое знал. Не случайно распространился слух, будто и он присутствовал при кончине Одоевского и даже писал стихи возле изголовья умершего декабриста. Между прочим, именно так понял «Памяти А. И. О.» генерал Филипсон, удивлявшийся: «Как мог Лермонтов в своих *воспоминаниях* написать, что он был при кончине Одоевского: его не было не только в отряде на Псезуане, но даже на всем восточном берегу Черного моря» [РА, 1883, № 6, с. 315].

Выходит, перед нами еще одно предание, связанное с этим декабристом; их количество уж не может удивлять. Прибавим напоследок распространяемую в Грузии версию, будто Одоевский похоронен не на берегу Черного моря, а в Кахетии.

Впрочем, хотя Лермонтов и не был рядом с умирающим, не ведал всех подробностей, все равно он угадывал, чувствовал, обобщал.

Последние строки стихотворения «Памяти А. И. О <Одоевско>го»:

...Дела твои, и мненья,
И думы,— всё исчезло без следов,
Как легкий пар вечерних облаков:
Едва блеснут, их ветер вновь уносит —
Куда они? зачем? откуда? — кто их спросит..
И после их на небе нет следа,
Как от любви ребенка безпадежной,
Как от мечты, которой никогда
Он не вверял заботам дружбы нежной..
Что за нужда? Пускай забудет свет
Столь чуждое ему существованье:
Зачем тебе венцы его вниманья
И терния пустых его клевет?
Ты не служил ему, ты с юных лет
Коварные его отвергнул цепи:
Любил ты моря шум, молчанье степей —

И мрачных гор зубчатые хребты..
И, вокруг твоей могилы неизвестной,
Все, чем при жизни радовался ты,
Судьба соединила так чудесно:
Немая степь синее, и венцом
Серебряным Кавказ ее объемлет;
Над морем он, нахмурясь, тихо дремлет,
Как великан, склонившись над щитом,
Рассказам волн кочующих внимаю,
А море Черное шумит не умолкая,

Мемуары, «замаскированные стихом», мемуары о том, что поведали друг другу и поняли друг в друге.

«Все, чем при жизни радовался ты» равно по смыслу «чем радовались мы» — больше всего свободной природе, степи, Кавказу, морю. В единственном письме, сохранившемся от первой ссылки (октябрь — ноябрь 1837 г.), Лермонтов делился с другом С. А. Раевским радостями бродячего «рода жизни», счастьем интересных встреч с «хорошими ребятами», наслаждением от «беспрерывных странствований», «снеговых гор», «бальзама горного воздуха», грузинских видов; «и если бы не бабушка, то, по совести сказать, я бы охотно остался здесь», где, «одетый по-черкесски, с ружьем за плечом... почевал в чистом поле, засыпал под крик шакала, ел чурек, пил кахетинское...» [Лермонтов, т. IV, с. 436—437].

Но на Кавказе два поэта встретились и со странной тоскою, которая их не покидала... Одоевский, точно знаем, об этом почти не говорил, избегая жаловаться или обличать, да Лермонтов и без того все понял, легко воспринял одоевскую горечь как свою.

И снова задумаемся: кто же старше? Снова — образы детства:

Как от любви ребенка безнадежной...

И опять реквием Одоевскому — и себе самому.

Предвидение, повторяем, столь обычное, что нечему и удивляться:

Немая степь синет, и венцом
Серебряным Кавказ ее объемлет...

Это ведь описание и лермонтовской могилы. Правда, там не будет моря, но перед самой гибелью Лермонтов успел попрощаться и с Черным, и с Каспийским.

«Приют певца убог и тесен» — о Пушкине. У них же — Одоевского, Лермонтова — вокруг могилы — «все, чем при жизни радовался ты».

ПОСЛЕДНЕЕ ПРОСТИ...

Вторая ссылка на Кавказ, начавшаяся очень скоро после прощания с А. И. О., еще не раз приведет Лермонтова на свидание с тенью «милого Саши», туда, где тремя годами ранее «мы страствовали с ним в горах Востока»; беседы с Лихаревым, свидетелем последних

недель Одоевского, с Назимовым, адресатом последнего письма... Владимир Лихарев, узнав, что любимая жена воспользовалась правом на «легкий развод», которое Николай I предоставил женам декабристов, и снова вышла замуж, так же, как Одоевский, искал смерти — и нашел на глазах Лермонтова в сражении с горцами у речки Валерик (в переводе — «река смерти»). Еще через четыре месяца, 25 октября 1840 г., выходит в Петербурге том лермонтовских стихов — и в нем перепечатывается прощание с Одоевским.

Расставаясь со столицей, Лермонтов сочинил:

Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники
С милого севера в сторону южную.

Тучки — это ведь тень, «двойники» тех *вечерних облаков* (из стихотворения «Памяти А. И. Одоевского»), которые,

Едва блеснут, их ветер вновь уносит...
Куда они? зачем? откуда? — кто их спросит...

Потом Лермонтова убили — через два года без одного месяца после гибели Одоевского: он играл со смертью, дразнил ее — в отчаянных набегах, опаснейших шутках.

Еще немного оставалось прожить — и вдруг вышла бы отставка, желанная статская жизнь, литературные труды.

Но не ценою смирения!

Смертник — «мартир». Подобно тому как был смертником *Одоевский*, когда не желал уезжать из гиблого места, хотя уж маячили в недалеком будущем чин и отставка.

Евдокия Ростопчина, столь беспечно и бездумно толковавшая об Одоевском накануне его гибели, все выскажет двумя стихотворными строчками:

Поэты русские свершают жребий свой,
Не кончив песни лебединой...

Так завершается история дружбы Михаила Лермонтова с Александром Одоевским. Месяц общих странствований. Четыре года воспоминаний. Так оканчивается сложный, печальный сюжет «Лермонтов и декабристы». Молодые старички сердились — бывалый Лермон-

тов саркастически сомневался в их опыте. И с Одоевским — он много старше. Но не смог разозлиться, не сумел рассориться... И кто же измерит, насколько помолодел колючий корнет от общения с тем солдатом? Кто знает, сколько знания (о Грибоедове, 1820-х годах, 14 декабря, Сибири), сколько мудрости было наградою великому поэту за то, что полюбил Одоевского, полюбил, споря с ним, удивляясь, как после стольких лет каторги и ссылки «чистый пламень чувства не угас», полюбил, не желая принимать религии в одоевском смысле.

Полюбил за

...звонкий детский смех, и речь живую,
И веру гордую в людей и жизнь иную.

Настала пора хоть немного порассуждать об отсутствии одоевского *декабризма* в лермонтовском ему надгробии. Скажем коротко: декабристы влияли на следующие поколения и общим своим делом, и неповторимостью личностей. Одни запомнятся своему народу более всего прямым подвигом, бунтом, жертвой; другие — достоинством, твердостью, бодростью в каторге и на поселении; третьи — улыбкою среди мук и горестей...

Одоевский вышел на площадь — и это осталось в истории.

Одоевский писал стихи — и это осталось в литературе.

Но, сверх того, ценою карьеры, здоровья, жизни, ценою тяжких спадов и новых взлетов, за долгие, тяжкие годы он выработал столь неповторимый тихий, светлый дух, такую необыкновенную личность («Я перенес все от слабости»), что именно этим более всего другого поразил Грибоедова, Лермонтова и, таким образом, незримо соучаствовал в их трудах.

Если важно изучать поэтическое взаимодействие разных мастеров, схожие образы, эпитеты (дело филологическое!), то не менее интересны взаимодействия человеческие. Эхо бесед с «милым Сашей» мы найдем в «Герое нашего времени» и в «Мцыри». Вчитываясь в знаменитое стихотворение, написанное вслед за «Памяти А. И. О<доевско>го», не пропустим строк:

И если как-нибудь на миг удастся мне
Забыться, — памятью к недавней старине
Лечу я вольной, вольной птицей;
И вижу я себя ребенком...

И странная тоска теснит уж грудь мою:
Я думаю об ней, я плачу и люблю,
Люблю мечты моей создание
С глазами, полными лазурного огня...

(Курсив, конечно, наш)

Притом Лермонтов угрюмо бросил об Одоевском:

Дела твои, и мненья,
И думы,— все исчезло без следов...

Ну чего, кажется, проще — заняться опровержением. Нет, не исчезло дело Одоевского, оставило след... Но ведь Лермонтов хорошо знает, о чем говорит. И в конце концов сами стихи «Памяти А. И. О-го» — весомое самоопровержение; они одни не дали бы *исчезнуть без следов*.

Думаем, что мысль Лермонтова проста: даже если и *останется след*, все равно *ничего радоваться*.

Какое дело нам, страдал ты или нет?
На что нам знать твои волнения?

И вот что получается: Одоевский-декабрист, Одоевский-поэт — об этом Лермонтов почти не думает, тут слово за следующими поколениями. Зато важнейший лермонтовский мстив немало поблек, утратился в позднейших ученых трудах. Если перевести дорогую нам лермонтовскую мысль на более сухой, научный язык, то надо сказать, что крупнейшим вкладом в отечественную культуру была не только (и, может быть, не столько) общественная, литературная деятельность Александра Ивановича Одоевского, сколько его человеческая личность, тихая, благородная, веселая, погибающая...

До Лермонтова это фактически уже произнесли Грибоедов, некоторые декабристы. Но Лермонтов, не зная грибоедовского завета, исполнил его: сказал о *Саше* лучше всех и громче всех.

Так память Одоевского странным светом, «легким паром вечерних облаков» засветилась над Россией. Частицей «тихого пламени» попала в примечательнейшие умы и сердца, которые стали оттого умнее, добрее.



Глава 9

Эфирная почта

Что грустного в душе вы сохранили?

Огарев



Николай Огарев, ровесник Лермонтова (на несколько месяцев старше), в возрасте 13 или 14 лет вместе с ближайшим другом Александром Герценом «присягнул» на Воробьевых горах.

Затем — университет; в 21 год — арест и ссылка.

Герцена — в Вятку, Огарева — в Пензу, нескольких товарищей — по другим краям.

В ту пору, когда Лермонтов благодаря стихам о Пушкине стал мгновенно знаменит; в ту пору, когда Одоевский перемещался из Восточной Сибири в Западную, а оттуда на Кавказ, — из Пензы к сосланным и пересланным друзьям шли (очень часто с оказией) регулярные письма Огарева, по которым легко составить представление о духе, мировоззрении молодого человека — революционера, поэта.

27 декабря 1835 г. Николаю Кетчеру в Москву: «Я и мизантроп и филантроп, не люблю людей, но люблю человечество. [...] Ему каждая минута моего существования, ему каждое бпение сердца, ему каждая мысль ума, твердость воли. [...] Веры моей не поколеблят никакие Мефистофели». Огарев уже имеет план журнала «для тех, которые хотят думать и чувствовать, и для тех, которые хотят существовать»: в журнале много места должно уделяться образованию, рецензиям; в нем должны быть карикатуры, цена должна быть самая дешевая. Кроме русских авторов (например, Чаадаева) предполагается приглашение зарубежных: «Я сосредоточиваюсь, молчу и собираю полки в голове моей» [ЛБ, М. 5185, № 17, п. 1].

Разумеется, в России с журналом ничего не выйдет, и Огарев, сам того не подозревая, уже готовится к тому журналу, тем изданиям, которые четверть века спустя он станет без цензуры выпускать вместе с Герценом.

В мае 1836 г. Огарев женится, и друзья начинают «подозревать» его, что он изменяет общественным идеалам. «Обвиненный» защищается, в письмах обличает провинциальное дворянство, вздыхает по социалистическим идеалам: «Это равнодушие к благу общему, эта бессовестность в поступках наводит не на слишком высокое заключение о характере нации, и чем более вглядываюсь в лица моих почтенных сограждан (всех сословий), тем резче выставляется эта ужасная черта: бессовестность [...], и я ношу на себе отпечатки духа народного!» [там же, п. 5, 1837].

В стихах, посвященных погибшему Пушкину:

Из лавр и терния венец
Поэту дан в удел судьбою,
И пал он жертвой наконец
Неумолимую толпою
Ему расставленных сетей.

И если в форме неземной
Перерожденный дух поэта
Еще витает над страной
Уж им покинутого света —
Мою слезу увидит он
И незаметными перстами
Мне здешней жизни краткий сон
Благословит с его скорбями
И благодидными мечтами.

Перекличка огаревских стихов с лермонтовскими несомненна (Огарев, впрочем, свое сочинение не распространял, и оно было напечатано лишь в 1931 г.).

Совпадение тем сильнее оттеняет немалые различия.

Мы не станем толковать о том, что стихи Лермонтова талантливее, — поговорим о человеческом типе, образе мыслей лермонтовского ровесника.

Тональность совсем другая; почти нет насмешливости, преобладает страдальческий оптимизм, «благородные мечты», восторженность... «Круг этот, — вспоминал позже П. В. Анненков, — походил на рыцарское братство, на воюющий орден, который не имел никакого письменного устава, но знал всех своих членов, рассеянных по лицу пространной земли нашей, и который все-таки стоял [...] поперек всего течения современной ему жизни, мешая ей вполне разгуляться, пенави-

димый одними и страстно любимый другими» [Аннепков, с. 270].

Огарев о том же писал Кетчеру в начале 1839 г.: «Мне кажется, что мы все один цветок, прекрасный цветок с несколькими ветками, но который вырос из одного зерна» [ЛБ, М. 5185. 18, п. 1].

Итак, стремящийся к деятельности, благородный, восторженный оптимист Огарев весной 1838 г. отправляется с женой на северный Кавказ. Ссылному получить подобное разрешение было непросто, и много позже Огарев вспомнит: «...наконец губернатор занял у меня пять тысяч рублей ассигн. (без отдачи, разумеется), выхлопотал мне разрешение ехать на Кавказ... лечиться. Я сам хорошенько не знаю, был ли я действительно болен или нет. Мне кажется, болезнь моя была только смутная тоска. [...] Тоска темного сознания, что я свою жизнь пускаю по ошибочной колее» [ПЗ, VI, с. 338].

Огарев поясняет, что хотел встретиться с некоторыми друзьями, особенно с лечившимся на Кавказе Сатиным: «Мне так хотелось обнять его со всей горячностью юношеской дружбы и почувствовать на деле то, в чем я и не сомневался — что ссылка нас ни на волос не изменила и что мы встречаемся с прежней неизменной готовностью жертвовать собой на общее дело» [там же, с. 339]. При этом, однако, молодого человека одолевали сложные философские сомнения о степени доверия уму и чувству, о сен-симонизме и христианстве: «Все вместе вызывало настроение смутной тоски, которую я принимал за болезнь, грусти мечтательной, мечтательных ожиданий, мечтательных раскаяний, что, может быть, не лишено своего поэтического оттенка, но слишком расслабленно и неспособно надолго владеть человеком, потому что несостоятельно ни перед мыслью, ни перед жизнью» [там же, с. 340].

Позднейшие воспоминания Огарева (о них еще особый разговор впереди) очень интересно сопоставить с письмом Огарева к Кетчеру, которое не имеет даты, но, без сомнения, отправлено перед кавказской поездкой: «Одпообразны дни ведет Якутска житель одичалый. [...] Скоро собираюсь в путь и рад чрезвычайно; там я, кажется, уже совсем оживу. [...] Где она, прежняя воля, которая не знала препятствий, не боялась мнения, ничем не ограничивала себя? Все это исчезло. Осторожность заменила удальство, желание покоя заменило желание действия. Сколько я при-

обрел насчет идей, столько потерял в силе характера. Грустно и справедливо. Неужели терпение есть также добродетель? Не робость ли это? Не гнусное ли потворство несправедливостям других? [...] К черту ламентации. Гадко! Эта минута пройдет. Еще есть там что-то, что говорит — выход: ты еще не погиб, есть какая-то искра под пеплом; есть также поцелуй, который снимет слезу, и душа опять пойдет вперед быстрым шагом. [...] Простите, друзья, что я мог согнуться под этой пошею, простите, выпрямлюсь, какая бы тяжесть ни лежала на плечах» [ЛБ, М. 5185. 18, п. 2].

КАВКАЗ, 1838

Год спустя после первого явления сюда нескольких «сибирских декабристов», год спустя после первой ссылки Лермонтова.

Огарев с женою провели там несколько месяцев, с мая по сентябрь: известие о смертельной болезни отца потребовало скорого возвращения.

После того из Пензы, а год спустя уже из Москвы Огарев пишет письма, сильно отличающиеся от тех, что писались до Кавказа.

С ним что-то произошло.

Герцену (конец января — начало февраля 1839 г.): «Какая-то сильная вера в провидение овладела моей душою. Что бы ни случилось со мною, я не впаду в тоску и отчаяние. Спокойно встречу я всякие несчастия, уверенный, что это так надо, что развитие высшего начала, начало мира не может быть дурно и что ерго, что бы со мной ни случилось, все это в законном развитии провидения изящно. И к чему же мне именно суждена какая-то особенная радость, чем я лучшее? Смирение и вера — вот девиз. [...] Страдания посылаются избранным; они очищают душу» [ЛБ, ф. 69, VIII, 15].

Сатипу: «Бог тебе дал величайшее из благ во вселенной — способность любить. Ты грустишь, ибо у тебя мало веры в *совершенство провидения*»; Огарев советует другу встать на колени и восклицать: «Боже! Прости тех, кто не ведает, что творят! О, спасибо, спасибо за страдания, которые ты посылаешь, ибо они очищают мою душу» (выделенные слова и вторая часть цитаты — франц. яз.).

Другое письмо Огарева Сатипу (конец 1838 или начало 1839 г.): «С тех пор как моя душа живет в этом

теле, она искала любить любовь. [...] На что же ты ропщешь, на то ли, что не пришло время осуществления?

Если человек любит бога, то есть абсолютную любовь, то он волю свою сообразует с волею провидения, всегда верен идее любви, верит в будущность мира и без ропота переносит страдания своего настоящего пребывания, с твердостью несет крест свой. [...] Людям таким, как мы, людям, которые посят в себе предчувствие любви абсолютной, не нужно искать счастья личного, если оно не вплелось в обстоятельства их жизни. [...] Обнимемся и пойдем. Будем отринуты, не поколеблемся, будем осмеяны — простим, не будем любимы, станем ожидать любви в будущем» [ЛБ, ф. 69. VIII. 333].

Накопец, процитируем письмо к Кетчеру (начало 1839 г.): «Я как удивительно стал спокоен. Знаешь ли, отчего? Оттого, что я верю в провидение, верю больше, чем когда-нибудь [...] оттого, что я стараюсь забывать себя и все отношу к высшему началу и говорю: да будет воля твоя!» [ЛБ, М. 5185, п. 1].

Что-то произошло на Кавказе: Огарев ждал и, как видно, дождался важнейших встреч, главных слов; он признается Кетчеру: «Я отшатнулся от идеи социалистов, что человек есть функция общества. Общество есть сборище людей, где главная цель индивидуум, счастье каждого, усовершенствование каждого» [ЛБ, М. 5185.17, п. 9].

Современный исследователь констатирует: «В конце 30-х годов в подходе Огарева к проблеме социализма все большее звучание получали морально-этические мотивы. Подчеркивая конечную цель социализма — счастье человека, гармоническое сочетание интересов личного и общественного во имя человека, Огарев отрывал решение этой исторической задачи от проблемы коренного экономического переустройства общества, которое создает условия для ее решения. Ярво выраженный идеалистический подход, с элементами христианского социализма...» Далее справедливо отмечается, что в тех исторических условиях подобный взгляд был отнюдь не «потерей»: «Сосредоточенность на проблеме личности не была ему одному [Огареву] присущей особенностью. [...] В стране, где личность человека была исключительно объектом принуждения, где задачи антикрепостнической борьбы были первоочередными, наиболее актуальным при решении социальной проблемы, естественно,

был вопрос о правах человека, о его раскрепощении» [Рудницкая, с. 43—44].

В сохранившихся письмах Огарева не найти ни слова о том, кто подтолкнул его к новым идеям, к моральным, христианским размышлениям.

Письма — путь неверный и опасный; более откровенными были стихи, писавшиеся в основном для себя, для дружеского круга. Будто подхватывая замаскированную цитату из рылеевского «Войнаровского» («Однообразны дни ведет Якутска житель одичалый»), Огарев обращается к тем, кто совсем недавно близ Якутска, Читы, Иркутска прожил тысячи «однообразных дней»:

Я видел вас, пришельцы дальних стран,
Где жили вы под пошею страданья,
Где севера свирепый ураган
На вас кидал холодное дыханье,
Где сердце знало много тяжких ран,
А слух внимал печальному рыданью.
Скажите мне, как прожили вы там,
Что грустного в душе вы сохранили
И как тепло зывали к небесам?
Скажите: сколько горьких слез пролили,
Как прах жены вы предали снегам,
А ангела на небо возвратили?

Вопрос «как прожили вы там?», конечно, риторический. Поэт уже расспросил «пришельцев дальних стран» и многое знает; строки о «прахе жены», «ангеле» — первый поэтический отклик на смерть Александрины Муравьевой, жены декабриста Никиты Муравьева, окончившей дни в Чите шестью годами раньше.

Я видел вас! Прекрасная семья
Страдальцев, полных чудного смиренья,
Вы собрались смотреть на запад дня,
Природы тихое успокоенье,
Во взоре ясном радостно храпя
Всепреданность святому провиденью.

Нам, с детства привыкшим к преемственности русских революционных поколений, поначалу странным кажутся строки Огарева, восхищающегося «чудным смиреньем»: понятно, тут речь идет не о капитуляции пред «властью роковой», а о том внутреннем смирении, которое стоит многих внешних побед; и все же, зная, кем были декабристы и кем станет Огарев, — мы признаемся, что с подобным мотивом встречались не часто.

Длинное, 54-строчное стихотворение Огарева кончается шестистишием, обращенным к другому поэту:

И ты, поэт с прекрасною душой,
С душою светлою, как луч денницы,
Был тут,— и я на ваш союз святой,
Далеко от людей докучливой станицы,
Смотрел, не звал, что делалось со мной,—
И вот слеза пробилась на ресницы.

Поэт Николай Огарев — поэту Александру Одоевскому. Более десяти лет назад Саше Одоевскому посвятил трагические стихи Грибоедов («Я дружбу пел...»); год спустя явится на свет лермонтовское «Памяти А. И. О-го».

Огарев и эти стихи не напечатает при жизни (увидят свет лишь в 1902 г.); но не раз еще захочет помянуть поэта-декабриста.

Многое, однако, должно было случиться прежде, чем ему удастся это сделать...

ЕЩЕ 20 ЛЕТ

В то лето, когда Одоевский погиб на черноморском берегу, в ту зиму, когда Лермонтов сочинил и напечатал свое стихотворное воспоминание, — в 1839-м Огарев после длительного перерыва снова оказывается в Москве, видится с Герценом, Кетчером, Сатиным, Грановским...

Сложнейшие разговоры, споры — о социализме, христианстве, Гегеле, европейском влиянии; затем мучительные поиски истины, «выстрадывание» ее диспутами, статьями, стихами, социальными экспериментами. Сложно, противоречиво, но неуклонно Огарев все теснее связывает себя с идеями демократии, социализма, материализма; он как будто довольно быстро удаляется от того странного состояния, от того восторженного религиозно-нравственного отречения, что явилось на Кавказе летом 1838 г.

В начале 1847-го навсегда покидает Россию Герцен; среди увезенных с родины бумаг — листок, на котором рукою жепы Герцена, Натальи Александровны, переписано лермонтовское «Памяти А. И. Одоевского» (ныне [ЛБ, ф. 69. IX. 278]).

Огарев же попадает в новую ссылку и только после тяжелых испытаний, весной 1856 г., соединяется с Герценом в Лондоне.

Отпыне два друга, писателя, деятеля — во главе Вольной русской типографии.

Осень 1860-го, 22-й год, как затерялась могила Одоевского; скоро 20 лет, как нет Лермонтова. Явились уже те самые сыновья, от которых Лермонтов ожидал «строгости судьи и гражданина». И верно угадал, что его *дети* (или декабристско-пушкинские *внуки*) будут снова молоды.

Осень 1860-го. Всего несколько месяцев осталось до освобождения крестьян; каждые две недели, а порою и через неделю выходит восьмистраничный «Колокол», а также сборники «Голоса из России» и «Под суд!», быстро отзывающиеся на актуальнейшие общественные, политические явления. Однако давно уже было замечено, что, чем напряженнее, острее была повседневность, чем активнее откликались на нее Герцен и Огарев, тем больше они старались издать материалов и о прошлом. Разбор последних крестьянских проектов, секретные документы из царских и губернских канцелярий Александра II постоянно соседствовали с воспоминаниями и документами о декабристах, Радищеве, Фонвизине, общественной борьбе 1830—1840-х годов.

Герцен и Огарев не скрывали, зачем им нужно это непрерывное соединение сегодняшнего и вчерашнего: традиция, опыт предшественников помогают возвысить, «облагородить» сегодняшнее и завтрашнее движение...

Два человека, Герцен и Огарев, с помощью минимального количества технических сотрудников издавали одновременно множество печатной продукции, выполняя труд, доступный в обычной обстановке десяткам, а может быть, сотням литераторов. В таких условиях времени почти не было, и отдых осенью 1860-го Герцена у моря, на острове Уайт, был явлением совершенно исключительным. Огарев остался за «главного», но между Лондоном и Уайтом не прекращается деловая переписка.

В начале октября 1860 г. Огарев спрашивает Герцена: «У тебя статья Цебрикова? Или нет?»; 9 октября: «Статью об Овене жду» [ЛН, т. 39—40, с. 386, 388].

За этими двумя фразами скрыто очень многое. Речь идет о VI книге знаменитого альмапаха «Полярная звезда», который выйдет через несколько месяцев.

Достаточно взглянуть на оглавление этого тома, чтобы многое понять и в строках Огарева, и в общей ситуации:

Воспоминания о К. Рылеев, Н. Бестужеве
Анна Федоровна Рылеева
Письма К. Рылеева к А. Пушкину
Письма М. Лунина к сестре
Кронверкская куртина (из записок декабриста)
Подробности о казни пяти мучеников (со слов очевидца)
Письма А. Пушкина к К. Рылееву, Бестужеву и другим

Материалы для биографии А. Пушкина
Письмо П. Я. Чаадаева (из «Телескопа»)
Николаевская цензура
Проповедь соловецкого старца Нестора при Николае
Стихотворение В. Печерина
Славянские девы (стихотворение А. Одоевского)
Прервем перечень и напомним, что в этой книге «Полярной звезды» впервые публикуется «ермоловский отрывок» из «Путешествия в Арзрум» («Материалы для биографии Пушкина»).

Одоевский... После дерзкого лермонтовского прорыва, после той неосмотрительной цензурной подписи 14 декабря 1839 г. на 12-м номере «Отечественных записок», о декабристе-поэте за десятилетия — ни одного нового слова.

Лишь в 1857 г. Герцен и Огарев впервые (в сборнике «Голоса из России») напечатали «Ответ декабристов Пушкину»; неведомый корреспондент, приславший текст, сообщал, что, «кажется, он принадлежит князю Одоевскому» [Гол. Росс., кн. IV, с. 40]. И вот теперь в VI книге «Полярной звезды» — сочиненное Одоевским стихотворное аллегорическое изображение славянства: польская, сербская, чешская девы; и наконец, русская:

В тереме дни проводит как ночи,
Бледно чело, заплаканы очи
И заунывные песни поет...

Вслед за «Славянскими девами» в оглавлении «Полярной звезды» следует ряд других сочинений:

Стихотворения разных авторов в том числе переводы из Гейне и Беранже.

110 страниц занимают (как обычно в каждой книге «Полярной звезды»!) «*Былое и думы Искандера*». В том числе знаменитая глава «Роберт Оуэн», о которой сам Герцен писал как о лучшем своем сочинении «в последние три года» [Герцен, т. XXVII, с. 226].

Именно этот том осенью 1860 г. собирал и отправлял в типографию Огарев. Когда он спрашивал о статье Цебрикова, это означало, что на очереди пятый от начала текст. Издатели «Полярной звезды» не сообщали, из чьих записок они публиковали страшный рассказ о казни 13 июля 1826 г. («Воспоминания о Кронверкской куртине»). Дело в том, что автор текста, декабрист Николай Цебриков, был еще жив, а Герцен и Огарев тайного корреспондента оберегали (в это же время они напечатали и другой фрагмент его записок, о котором мы уже говорили в начале книги: рассказ о Ермолове, где Цебриков сетует, что генерал не примкнул к восстанию декабристов).

Понятно также, что, если 9 октября 1860 г. Огарев ждет «статью об Овене», т. е. Оуэне, значит, набор приближается к последним листам VI книги.

В оглавлении книги после фрагментов «Былого и дум» значатся всего два материала:

Стихотворения Н. Огарева

Кавказские воды (отрывок) его же

Возможно, о последнем отрывке Огарев сообщал Герцену в том же письме от 9 октября: «Свою [статью] пишу; но вот что. Чем дальше в лес, тем больше дров. Может, я ее к 1 ноября не кончу. Я только знаю, что она необходима в возможно скором времени, и потому усердствую; но опять испортить спехом не хочу» [ЛН, т. 39—40, с. 388].

Несколько лет назад Герцен на день рождения подарил Огареву записную книжку с пожеланием, чтобы друг вернул ее, наполненную стихами. Огарев же отвечал: «Ты подарил мне эту книжку для вписывания стихов, а я пишу в ней прозу, хотя ты моей прозы и не любишь [...] Это моя исповедь, мои записки» [там же, с. 357].

Воспоминания Огарева дошли до нас, к сожалению, лишь в отрывках: «Исповедь», сохранившаяся в записной книжке, напечатана 80 лет спустя; рассказ же о кавказских встречах, очевидно также сначала запесенный в эту книжку, в рукописи неизвестен — только печатные страницы, вероятно вставленные в последний момент в уже готовую VI книгу «Полярной звезды».

Она вышла в марте 1861 г. (о чем извещал «Колокол», № 93, от 15 марта) — почти одновременно с объявлением крестьянской реформы в России.

«Полярная звезда» вышла в Лондоне и сразу же де-

сятками путей двинулась в Россию. Никакого цензурного разрешения на пей не стояло, потому что цензуры не было.

Вольная русская типография, печатавшая за границей о многом, чего на родине публиковать, обсуждать *нельзя...*

VI книга вела читателей в запрещенные, неизвестные, высокие сферы декабристского, пушкинского, чадаевского духа; знакомила с множеством вольных стихов, с глубочайшими исповедными страницами герценовских воспоминаний. А в финале — с рассказом Огарева и его прекрасными героями.

«Превосходная вся эта книга, — писал Герцену Лев Толстой, — это не одно мое мнение, но всех, кого я только видел. [...] Огарева Воспоминания я читал с наслаждением» [Толстой, т. 60, с. 373].

ЛОНДОН, 1861-й — КАВКАЗ, 1838-й

«Кавказские воды (отрывки из моей исповеди)».

Эпиграф из Лермонтова: «И свет не пощадил, и рок не спас».

Начавшему читать может показаться, что это какой-то особый вариант «Героя нашего времени»: конец 1830-х годов (точнее — 1838 г.), Кавказские Минеральные воды, опальные офицеры, доктор Мейер (Майер — лермонтовский Вернер).

То, что в огаревских письмах и стихах 1838—1839 гг. мелькнуло безымянным намеком — «и ты поэт с прекрасною душою», — здесь высказано свободно, откровенно:

«В ясное утро был виден и двуглавый Эльбрус, с далекой цепью гор, подобных белым облакам, а к полдню белая облака толпились вдали точно снеговые горы. Вот уже я еду нагорным берегом Подкумка, серебрящегося и шумящего глубоко, там — внизу, а за ним опять степь зеленая. Вот на повороте у подошвы Машука забелелись домики Пятигорска. [...]

Мы наняли квартиру на бульваре. Н. привел нам доктора. Мейер был медиком, помнится, при штабе. Необходимость жить трудом заставила его служить, а склад ума заставил служить на Кавказе. [...] Он и Одоевский бывали у нас почти ежедневно. Они были глубоко привязаны друг к другу. Их все соединяло — от

живой шутки до глубокого религиозного убеждения или лучше религиозного раздумья. [...]

Это был тот самый князь Александр Иванович Одоевский, корнет конногвардейского полка, которому было 19 лет, когда он пошел на площадь 14 декабря, и которого Блудов в донесении Следственной комиссии попытался осмеять так же удачно, как Воронцов излагал свое мнение о Пушкине. Блудов не догадался, что Одоевский мог говорить: „Мы умрем! Ах, как мы славно умрем!“ (если это только было так говорено), потому что, несмотря на ранний возраст, он принадлежал к числу тех из членов общества, которые шли на гибель сознательно, видя в этом первый вслух заявленный протест России против чуждого ей правительства и управления, первое вслух сказанное сознание, первое слово гражданской свободы; они шли на гибель, зная, что это слово именно потому и не умрет, что они вслух погибнут» [ПЗ, VI, с. 344—348].

Далее следует едва ли не стихотворение в прозе — мемуарный портрет декабриста, того Одоевского, каким он был через год после прибытия на Кавказ и ровно за год до гибели:

«Одоевский был, без сомнения, самый замечательный из декабристов, бывших в то время на Кавказе. Лермонтов списал его с натуры. Да! этот „блеск лазурных глаз,

И детский звонкий смех и речь живую“ не забудет никто из знавших его. В этих глазах выражалось спокойствие духа, скорбь не о своих страданиях, а о страданиях человека, в них выражалось милосердие. Может быть, эта сторона, самая поэтическая сторона христианства, всего более увлекла Одоевского. Он весь принадлежал к числу личностей христоподобных. Он носил свою солдатскую шинель с тем же спокойствием, с каким выносил каторгу и Сибирь, с той же любовью к товарищам, с той же преданностью своей истине, с тем же равнодушием к своему страданию. Может быть, он даже любил свое страдание; это совершенно в христианском духе... да не только в христианском духе, это в духе всякой преданности общему делу, делу убеждения, в духе всякого страдания, которое не вертится около своей личности, около неудач какого-нибудь мелкого самолюбия. Отрицание самолюбия Одоевский развил в себе до крайности. [...]

У меня в памяти осталась музыка его голоса — и

только. Мне кажется, я сделал преступление, ничего не записывая, хотя бы тайком. В недогадливой беспечности, я даже не записал ни его, ни других рассказов про Сибирь. И еще я сделал преступление; в моих беспутных страстностях я где-то оставил его портрет, сделанный карандашом еще в Сибири и литографированный. [...]

Встреча с Одоевским и декабристами возбудила все мои симпатии до состояния какой-то восторженности. Я стоял лицом к лицу с нашими мучениками, я — идущий по их дороге, я — обрекающий себя на ту же участь... это чувство меня не покидало. Я написал в этом смысле стихи, которые, вероятно, были плохи по форме, потому что я тогда писал много и чересчур плохо, но которые по содержанию, наверно, были искренни до святости, потому что иначе не могло быть. Эти стихи я послал Одоевскому, после долгих колебаний истинного чувства любви к ним и самолюбивой застенчивости. Часа через два я сам пошел к нему. Он стоял середь комнаты; мои стихи лежали перед ним на стуле. Он посмотрел на меня с глубоким, добрым участием и раскрыл объятия; я бросился к нему на шею и заплакал как ребенок. Нет! и теперь не стыжусь я этих слез; в самом деле это не были слезы пустого самолюбия. В эту минуту я слишком любил его и их всех, слишком чисто был предан общему делу, чтоб какое-нибудь маленькое чувство могло пнуть доступ до сердца. Они были чисты, эти минуты, как редко бывает в жизни. Дело было не в моих стихах, а в отношении к начавшему, к распятому поколению — поколения, принявшего завет и продолжающего задачу.

С этой минуты мы стали близко друг к другу. Он — как учитель, я — как ученик. Между нами было с лишком десять лет разницы; моя мысль была еще не устоявшаяся; он выработал себе целостность убеждений, с которыми я могу теперь быть не согласен, но в которых все было искренно и величаво» [там же, с. 348—350].

Как не похожа огаревская исповедь на лермонтовскую.

И как, в сущности, похоже!

Лермонтов *по соседству*, едва ли не присутствует: в 1838-м на Кавказе его, правда, не было — первая ссылка (странствия с Одоевским) позади, новая ссылка впереди. Но Огарев и не скрывает, что, вспоминая почти через четверть века, не может, да и не желает из-

бавиться от влияния «Героя нашего времени», от стихов к А. И. О. (в 1838-м еще не написанных!).

Сходства много — различия интересны.

Дело в том, что тогдашний, молодой, восторженный Огарев — человек не «лермонтовского склада», он не был *старше* Одоевского!

Московские мальчики Герцен и Огарев, университет, потом ссылка — все, как у Лермонтова; и гений своего ровесника они чувствуют, уважают.

Но Герцен вспомнит позже:

«Ничто не может с большей наглядностью свидетельствовать о перемене, произошедшей в умах с 1825 года, чем сравнение Пушкина с Лермонтовым. Пушкин, часто недовольный и печальный, оскорбленный и полный негодования, все же готов заключить мир. Он желает его, он не теряет на него надежды; в его сердце не переставала звучать струна воспоминаний о временах императора Александра. Лермонтов же так свыкся с отчаянием и враждебностью, что не только не искал выхода, но и не видел возможности борьбы или соглашения. Лермонтов никогда не знал этого самопожертвования. Он не шел, гордо неся голову, навстречу палачу, как Пестель и Рылеев, потому что не мог верить в действительность жертвы; он метнулся в сторону и погиб ни за что» [Герцен, т. VII, с. 224].

Не станем сейчас разбирать, критиковать герценовское сравнение: *он так думал* (через несколько лет после гибели Лермонтова) — его оценка имеет значение мемуаров, она совпадает с впечатлениями примечательной группы ровесников Лермонтова.

Пушкину порою крепко доставалось от «московских юнцов» из компании Герцена, Огарева — за «одобрение» Николая I, за камер-юнкерство; он вроде бы далекий, много старший, великий, но — *не свой*. С Лермонтовым юные москвичи как бы на *ты*, с Пушкиным — на неизмеримой дистанции.

Но Лермонтов, по их понятиям, *отрицатель всего* — и борьбы и соглашения. Он знает, что плохо; но что же хорошо? (Еще раз не станем обсуждать, насколько они правы, — им так казалось, такая у Лермонтова репутация!)

«Любовь, — позже запишет Герцен, — много догадливей, чем ненависть», и Пушкин «юной Москве» все-таки тем важнее, интереснее, что постоянно ищет вы-

ход (хотя, по их твердому убеждению, не всегда ищет там, где надо).

Огарев же, восхищаясь стихами Лермонтова («И скучно, и грустно»), все же замечает: «Впрочем, это не совсем мой взгляд на жизнь. Мой взгляд глубоко грустен, но не так отчаянно сух».

«Сух» — т. е. безнадежен, бесплоден...

Сам Огарев не успел познакомиться с Лермонтовым. Зато друг-единомышленник Сатин в юности с Лермонтовым учился, в 1837-м успел повстречаться с великим поэтом на Кавказе и сохранил впечатления, очень похожие на те не слишком лестные характеристики, что оставили декабристы Лорер, Назимов...

Когда Белинский (в 1837-м тоже побывавший на Кавказе) положительно говорил о Вольтере в присутствии Лермонтова и Сатина, естественно надеясь на сочувствие двух сосланных молодых людей, то в ответ услышал от Лермонтова: «Да я вот что скажу вам о вашем Вольтере: если бы он явился теперь к нам в Чембар, то его ни в одном порядочном доме не взяли бы в гувернеры».

Сатин рассказывает, что Белинский, «едва кивнув головой, вышел из комнаты» и после просил Сатина не приглашать к себе «таких пошляков»; Лермонтов же хохотал и называл Белинского «недоучившимся фанфароном».

Только три года спустя, во время встречи на гауптвахте, Лермонтов и Белинский, как уже говорилось, нашли общий язык, но разница психологии, характеров преодолевалась с огромным трудом. Сатин неодобрительно замечал, что Лермонтов вместо серьезных разговоров «сыпал разными шутками» (в рукописи было: «сыпал своими глухими шутками», ср. [Сатин, с. 240] и [ЛБ, ф. 69. XI. 27]).

Итак, Лермонтов для круга Огарева, Сатина, Белинского — характер как будто достаточно возвышенный, восторженный; не ищет выхода.

Выход же должен быть!

Разумеется, Лермонтов эту мысль, столь же важную, сколь простую, знал, отлично чувствовал — иначе не умиллся бы душою о Саше Одоевском.

Но прежде чем явилось на свет лермонтовское «Памяти Одоевского», Огарев успел расспросить самого декабриста, которому в ту пору оставалось 10—11 месяцев жизни.

Вера Одоевского была не простой, не официальной. В одном разговоре он оспаривал значение и пользу монахов за их «недобродетельность», очевидно, предпочитая внешнему ритуалу внутренний смысл...

Какие разные пути «одоевского гипноза»!

Но самое примечательное не в том, что в объятиях мученика-христианина Одоевского бросается религиозно-экзальтированный юноша Огарев: интересно, что за человек много лет спустя с чувством вспоминает старинную встречу?

Очень часто в современных научных трудах авторы забываются (это так понятно!) и толкуют о позднейших мемуарах Огарева, как будто это современный дневник 1838 г. Так, известный исследователь С. А. Переселенков в статье («Н. П. Огарев и декабристы» писал: «Как ни блестяща [огаревская] характеристика Одоевского, в ней нельзя не заметить некоторой односторонности». Огарев получает упрек, что он находит в Одоевском только те черты, «какие соответствовали его собственному тогдашнему настроению». Переселенков возражает, что декабрист «умел не только горячо любить, но и пылко ненавидеть», что «Сибирь и каторга, без сомнения, наложили на душу Одоевского свой отпечаток, но вытравить окончательно протест из нее они не могли» [Декабристы, с. 289—290].

Меж тем Огарев, автор «Кавказских вод», уже не раз публиковал статьи и материалы о декабристах, где точно оцеливал и их умение испавидеть, и значение революционного протеста. Снова и снова приходится напомнить, что воспоминания о Кавказе 1838 г. написаны через 20 с лишним лет Огаревым, уже революционным демократом, материалистом, социалистом, давно оставившим незрелые мечтания с примесью религиозного восторга, давно выбравшим свой путь. Написаны человеком, который давно следует путями декабристов и клянется вместе с Герценом именами «пяти мучеников».

И тем не менее как благодарен Огарев Одоевскому, «хриstopодобной личности», какое в нем редкостное умение — не отрицать «прежних заблуждений», а понять их место в собственной, очень изменчивой жизни. Дело в том, что поэзии, прозе, публицистике Огарева особую, неповторимую тональность придают его личные качества, то обстоятельство, что Николай Платонович был очень хорошим человеком.

Без этого он не стал, не посмел бы стать революционером, не был бы тем душевным, совестливым судьей, которому в тонких нравственных вопросах великий Герцен доверял более, чем себе.

«Я помню в особенности одну ночь,— продолжает Огарев,— Н., Одоевский и я, мы пошли в лес, по дорожке к источнику. Деревья по всей дорожке дико сплетаются в крытую аллею. Месяц просвечивал сквозь темную зелень. Ночь была чудесна. Мы сели на скамью, и Одоевский говорил свои стихи. Я слушал, склоня голову. Это рассказ о видении какого-то светлого жепского образа, который перед ним явился в прозрачной мгле и медленно скрылся.

Долго следил я эфирную поступь...

Он копчил, а этот стих и его голос все звучал у меня в ушах. Стих остался в памяти; самый образ Одоевского, с его звучным голосом, в поздней тишине леса, мне теперь кажется каким-то видением, возникшим и исчезнувшим в лунном сиянии кавказской ночи» [ПЗ, VI, с. 357].

Мы так и пазвали эту главу — «Эфирная поступь», потому что это подходит к Александру Иваницу.

Эфирная поступь Одоевского замечена и друзьями декабристами, и Огаревым, и Лермонтовым.

Как легкий пар вечерних облаков...

Эфир, струящийся в рассказах и стихах об Одоевском, обволакивает и тех, кто не успел его повидать.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ

«Огарева Воспоминания я читал с наслаждением и очень был горд тем, что, не зная ни одного декабриста, чутьем угадал свойственный этим людям христианский мистицизм».

33-летний Лев Николаевич Толстой читал Лермонтова, Огарева, знал многих современников Грибоедова (например, С. И. Мазаровича, первого начальника писателя-дипломата по его персидской службе (см. [Маковицкий, кн. 2, с. 276]); наконец, Толстой встречался с вернувшимися декабристами, с теми, кто расстался с Сашей Одоевским в далеких 1830-х годах, больше его не видел, и лишь на поселении оплакал своего поэта, как и многих товарищей.

Автор «Севастопольских рассказов» встречался с Полконским и другими, кто 30 лет спустя вернулся в родные места...

Как это ни парадоксально, поколение Толстого проще находило общий язык с посланцами прошлого, чем Лермонтов — со *своими*, кавказскими декабристами.

1860-е, оказывается, куда более похожи на 1820-е, чем 1840-е. История сделала виток — упадка, усталости, николаевской тишины нет и в помине. Опять подъем, снова надежды — и молодежи 1860-х очень понятны молодые старики, возвращающиеся из Сибири.

Как пришелся бы им по душе Одоевский, если бы всего лишь 54-летним возвратился из ссылки.

Но не судьба!

Его — навсегда молодого — теперь представляют новой, молодой России Лермонтов, Огарев.

Наконец, Лев Толстой. Впрочем, не сразу: пока что *А. И. О.* неразличим в первых планах романа «Декабристы», из которых через несколько лет получится «Война и мир».

Кроме московских встреч с амнистированными людьми 1825-го, Толстой всю жизнь хранил кавказские воспоминания (май 1851 — январь 1854 г.), использовал их в «Казаках», «Кавказском пленнике», «Хаджи-Мурате» и многих других сочинениях: «Кавказ припес мне огромную пользу».

«Край... в котором так странно соединяются две самые противоположные вещи: война и свобода».

На Кавказе, участвуя в последних актах бескопечной войны, которая шла почти со дня его рождения, которая некогда съела Одоевского, Лермонтова (да разве их одних?), Толстой услышал о диком удалстве уже упоминавшегося лермонтовского приятеля Руфина Дорохова (и от него многое «останется» Долохову в «Войне и мире»), там познакомился с «кавказскими пленниками»; узнал о кавказских декабристах. К его времени они либо в отставке, либо в могиле...

Писатель же, побывав «в Азии», в «одоевских» местах, впервые, по слухам, по лермонтовским стихам, мог вообразить *эфирную поступь*...

Позже, под впечатлением рассказа Огарева, VI книги «Полярной звезды», туманные образы обретают ясные очертания — Толстой радуется, что его чутье, догадки подтвердились. В Одоевском писателю интереснее всего то, что он назовет «христианским мистициз-

мом». Но все пока что ограничивается одной фразой, напоминающей об идеалах самого Толстого...

Первые страницы повести «Декабристы» в начале 1860-х годов, как известно, предшествовали первым главам «Войны и мира»; между ними — малая дистанция, более или менее плавный переход. Но вот после эпилога романа (1869) — длительный и труднообъяснимый перерыв. Да и сюжет «Декабристов» после перерыва далеко уходит от первоначального замысла; возникают совсем другие персонажи, уже никакого отношения к написанному роману не имеющие.

«В мрачное лето 1869-го года,— пишет о Толстом Б. М. Эйхенбаум,— он доходил почти до сумасшествия, до признаков психического расстройства.

Осенью 1871-го С. А. Толстая пишет своей сестре: „Левочка постоянно говорит, что все кончено для него, скоро умирать, ничто не радует, нечего больше ждать от жизни“.

Прошло десять лет со времени первого отречения Толстого от литературы. Тогда он совершил сложный обходный путь — через школу, семью и хозяйство, после чего уже полузабытый автор „Детства“ и военных рассказов явился перед читателем с „Войной и миром“. Новое отречение приводит его на старый обходной путь...» (см. [Эйхенбаум, с. 32—33]).

Действие романа «Война и мир» остановлено на 1820-м годе — за пять лет до восстания.

В свое время автор данной книги высказал предположение, что роман не был продолжен, в частности потому, что сам Толстой еще не выбрал ясного пути (Звезда. 1978, № 8, с. 100—101).

До 14 декабря в романе пять лет; до толстовского отхода и ухода — поболее. Спор с самим собой еще не решен, только начат во второй раз. Поэтому отправить Пьера Безухова на площадь и каторгу новыми главами «Войны и мира» значило бы обогнать самого себя.

Еще рано Льву Николаевичу отходить и уходить. Нельзя и продолжать «Войну и мир».

В конце же 1870-х годов час настал. Толстой свой путь *выбрал*. И опять берется за «Декабристов».

Только герои, идеи — совсем другие, чем 10—20 лет назад...

Тут-то вновь является образ «милого Сашки».

Лев Толстой историку, издателю «Русского архива» П. И. Бартеневу (около 1 мая 1878 г.):

«Любезнейший Петр Иванович, как зовут и как адрес детей и наследников Ивана Сергеевича князя Одоевского? Я буду дома до 2-х часов, но ответ напишите мне, пожалуйста» [Толстой, т. 62, с. 416].

О том же спрошена и тетка Александра Андреевна Толстая, фрейлина, знакомая со многими важными и осведомленными лицами.

Зачем вдруг узнавать «о потомках Ивана Сергеевича», отца *нашего* Одоевского?

Для того, чтобы узнать как можно больше о декабристе.

У Одоевского-отца от второго брака было трое дочерей; Софья Ивановна, по мужу Маслова, дожила до 1909 г.! Толстой надеялся на фамильные документы, предания, но получил только родословные справки: сестры никогда не видели старшего брата!

Кое-что вспомнила только троюродная сестра декабриста Анастасия Перфильева, сообщившая Толстому (через свою дочь), что Саша Одоевский был «высокого росту, худощав, с прекрасными большими голубыми глазами и каштановыми волосами. Больше таман ничего не помнит, потому что ей было 12 лет, когда она его видела» [Толстой, т. 17, с. 493—494].

Тетка писателя подступалась с вопросами и к важным придворным персонам — министру Адлербергу, бывшему столичному генерал-губернатору Суворову, которые знали Одоевского в юности, вместе с ним служили: «Старик Адлерберг, к сожалению, жестко острожен, сын его точно так же. Остается Суворов, который, конечно, не обладает этой неприятной добродетелью, но, помимо того, что в те времена он был мальчишкой, он так глух, что я не могу расспрашивать его о таком щекотливом вопросе на вечерах у государя, где мы с ним встречаемся» [там же, с. 484].

Бедный Александр Одоевский: почти уж 40 лет прошло, как он сгорел от болезни, а министр Адлерберг (и сын, тоже министр) опасаются *вспоминать*; и пеловко «при государе» громко называть *бултовица*...

Толстой недоволен, по все же кое-что узнает о декабристе: есть лермонтовское «Памяти Одоевского»; огаревские «Кавказские воды»; крохи воспоминаний старых товарищей по Кавказу и других современников «милого Саши» — он очень пужен Льву Николаевичу для нового романа...

В планах, черновых набросках конца 1870-х годов

является Одоевский, не настоящий, а толстовский — перед восстанием 14 декабря: барственный негод, смутное понятие о жизни народа, о собственных мужиках, которых меж тем управляющий гонит в Сибирь по ложному, подлому обвинению. Затем — Сенатская площадь, каторга. В Сибири — встреча бывшего барина со своими крестьянами, отбывающими тяжкую ссылку: происходит нравственное перерождение героя, в нем просыпается интерес к религии («христианский мистицизм») — к «царству божьему внутри нас».

С историческим Одоевским и его крестьянами ничего похожего как будто не было (а впрочем, можно ли полностью ручаться? У Толстого были все же информаторы, которые могли сообщить немало правдивых историй, похожих на самую невероятную выдумку, историй, не попавших ни в какие документы). Было или не было что-либо подобное с реальным Сашей Одоевским, не так уж важно — могло быть! Схватчен общими духом этого доброго, мягкого человека, заплатившего здоровьем и жизнью за нравственное перерождение.

Толстой не окончил и второй редакции романа «Декабристы», романа «про Одоевского». Причины были многосложны, одна из них — недостаток живого материала, закрытые архивы, куда писателя не допускали. Однако об этом сейчас говорить не будем... Запомним только, что и Толстого, отделенного двумя эпохами от «своего героя», не миновало Сашино обаяние; уж очень хорош, как видно, был «солдат из государственных преступников» Александр Одоевский.

И кто измерит, сколько осталось в переплетенной черепице Льва Николаевича *одоевского эфира?*

я вспомнил вас...

Незадолго до того, как Лев Толстой в Ясной Поляне думал о своем *Одоевском*, старый Огарев близ Лопдона еще раз обратился к *своему*.

Нет уже на свете Герцепа, жизнь прожита, хорошо ли, худо — потомство рассудит.

Истинное слово
В мире повторится,
Истинное дело
В мире совершится —
Но не встретившись
На глухом погосте
Наши вековечно
Сложенные кости,

Позади у Огарева — детство, Воробьевы горы, ссылка, Кавказ и Одоевский, неудачная жепитьба, московские салоны, путешествия, эмиграция, Вольная печать — повый спад общественного возбуждения в России — годы бедности и болезней.

Но вдруг в одном из последних стихотворных прощаний является давняя, как видно незабываемая тень — снова тот же Одоевский, что 40 лет назад, на Водах.

Откуда? Зачем?

Слушая Героическую симфонию Бетховена, Огарев по внешне странной, по внутренне понятной логике вспоминает истинного, *своего* героя — столь непохожего на принятые образцы:

Я вспомнил вас, торжественные звуки,
Но применил не к витязю войны,
А к людям доблестным, погибшим среди муки
За дело вольное народа и страны;

Я вспомнил петлей пять голов казненных
И их спокойное умершее чело,
И их друзей, на каторге сраженных,
Умерших твердо и светло.

Мне слышатся торжественные звуки
Копца, который грозно трепетал,
И жалко мне, что я умру без муки
За дело вольное, которого некал.

Под заглавием стихотворения «Героическая симфония» делается надпись: *Памяти Ал. Одоевского.*

Люди разных миров: Огарев из приближающихся 1880-х, Одоевский, не доживший до 1840-го. Стихи «Героическая симфония» похожи на ту клятву, что произнеслась некогда с Герценом на Воробьевых горах.

Клятва в чем? Бороться, не сдаваться?

Да, да — по притом не ожесточиться, не зачерстветь в борьбе; остаться хорошим, свободным человеком.

Иначе — не стоит, да и нельзя бороться!

Последняя благодарность революционера, матерьялиста — странному, мягкому, религиозному, усталому Одоевскому.

Сходят в могилу последние люди, помпывшие «много Сашу», испытывшие непосредственное, незабвенное его обаяние.

Меж тем начинается время публичных признаний. В 1883 г. престарелый Розен успевает выполнить свой полувековой долг перед милым другом — выпустить в России первое собрание его стихов.

1900-й — «одоевский» эпитафия «Из искры возгорится пламя» в «Искре».

В 1910-м «Наш ответ» Пушкину впервые напечатан в России без всяких купюр:

Она нагрянет на царей,
И радостно вздохнут народы...

В 1934-м — первое (и, разумеется, отнюдь не последнее) советское полное издание сочинений Александра Ивановича.

Посмертная слава, признания, издания, переиздания, рассказы, стихи, записки о нем лучших людей. Посмертная слава — революционная и литературная...

Но жаль, если при том затухнет, забудется одоевская *эфирная поступь*.

Если она исчезнет

...без следов

Как легкий пар вечерних облаков...



ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Грибоедов отправился на Кавказ и в Персию, где ему открылись огромные, поэтические и политические видения — «Горе от ума» и проекты «явиться пророком», преобразовать Восток, Россию, может быть, весь мир.

Пушкин, путешествуя в Арзрум через несколько месяцев после гибели Грибоедова, вступает в сложнейшие беседы с Ермоловым, с тенью поэта-дипломата. При этом сквозь «магический кристалл» Пушкин рассматривает, разгадывает будущее своей страны и свою судьбу.

Декабристы, присланные из Сибири на Кавказ в год смерти Пушкина, сохраняют многие черты исчезнувшего поколения 1812—1825 гг.: их отношения с молодежью (Огаревым, Лермонтовым и другими) — уникальная, фантастическая ситуация одновременного существования разных российских миров и эпох.

В книге «Быть может за хребтом Кавказа...» читатель встретился с рядом исторических фигур, и можно сказать, что все или почти все эти люди несчастливы. Третью века бездействует ярчайший Ермолов; посмертно растворяется в бумагах, в российской инертности проект Закавказской компании Грибоедова; печалью последних лет жизни окрасил Пушкин свои старинные кавказские путевые записки; Одоевский гибнет, ибо не хочет жить, Лермонтов же пишет о «милом Саше» за полтора года до собственной гибели...

Биографии этих людей нас притягивают, занимают. Порою раздаются даже напрасные обвинения (и изви-

пение), что житейские подробности, «апекдоты» о Пушкине, Грибоедове, Лермонтове известны публике поменьше, часто даже больше, чем сочинения этих мастеров.

Никак не привыкнем, что и апекдоты, и несчастья, и несбыточные планы, и даже неправдоподобные легенды об этих людях имеют культурную, общественно-историческую ценность, неотделимую от стихов и прозы.

Эти люди творили свою жизнь столь же талантливо, как и свои книги — и в их полных собраниях всегда «томом больше»: есть еще биография, родственная написанному. И тогда «художественными» становятся реальные биографические факты: и тифлисский колорит 1828—1829 гг., и малограмотные доносы, сопровождающие Ермолова и Пушкина, и разнообразные «одоевские легенды»; и снова — Кавказ, названия гор, речек, племен.

Мы говорим о Кавказе грибоедовском, пушкинском, лермонтовском, декабристском как о сложном, интереснейшем, культурном феномене. Он неисчерпаем — и позволяет потомкам задавать новые важнейшие вопросы и надеяться, что важнейшие ответы имеются, «быть может за хребтом Кавказа...».



СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

- ААН — Архив Академии наук СССР (Ленинград). Ф. 100—
И. Ф. Дубровина.
- ГЛИО — Государственный архив Иркутской области. Ф. 24—
Главное управление Восточной Сибири.
- ИРГ — Институт рукописей Академии наук Грузинской ССР
им. К. С. Кекелидзе. Арх. Е. Г. Вейденбаума.
- ЛБ — Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР
им. В. И. Ленина. Ф. 69—Герцепа и Огарева; Ф. 133—
Нарышкиных и Коновницыных; Ф. 196—Е. С. Некрасо-
вой; Ф. 243—И. И. Пущина; М. 5185 (ф. 476) — П. Х. Кет-
чера.
- ПБ — Отдел рукописей Государственной Публичной библиоте-
ки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. Ф. 539—
В. Ф. Одоевского.
- ПД — Отдел рукописей Института русской литературы Акаде-
мии наук СССР (Пушкинский дом). Ф. 368 — М. С. Лу-
пина; Ф. 513 — М. С. Жуковского.
- ЦГАДА — Центральный государственный архив древних актов.
Ф. 1289 — Щербатовых.
- ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и
искусства. Ф. 248 — В. А. Жуковского.
- ЦГВИА — Центральный государственный военно-исторический
архив. Ф. 1 — канцелярия военного министра; Ф. 482 —
Кавказская коллекция.
- ЦГИА — Центральный государственный исторический архив
СССР. Ф. 958 — П. Д. Киселева; Ф. 1018 — И. Ф. Паске-
вича; Ф. 1101 — собрание рукописей.
- ЦГИАГ — Центральный государственный исторический архив
Грузинской ССР. Ф. 2 — канцелярия главноуправляюще-
го Грузии в Закавказском крае; ф. 11 — дипломатиче-
ская канцелярия заместителя на Кавказе; ф. 16 — кан-
целярия Тифлисского гражданского губернатора; ф. 26—
тифлиское губернское правление.

Литература

- Маркс — *Маркс К.* Ост-Индская компания, ее история и резуль-
таты ее деятельности; Британское владычество в Индии. —
К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, 2-е изд. Т. 9.

- Ленин — Ленин В. И. Развитие капитализма в России. — Полное собрание сочинений. Т. 3.
- ЛК — Акты, собранные Кавказской археографической комиссией. Т. I—XII. Тифлис, 1866—1904.
- Андроновиков — Андроновиков П. Л. Избранные произведения. Т. 2. М., 1975.
- Андроновиков. Напр. поиска — Андроновиков П. Л. Направление поиска — М. Ю. Лермонтов. Исследования и материалы. Л., 1979.
- Анненков — Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1960.
- Афиани — Афиани В. Ю. Публикация исторических документов в отечественных журналах первой трети XIX в. (опыт историографического изучения). Автореф. канд. дис. М., 1982.
- Барсуков — Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. 1—22. СПб., 1888—1910.
- Басаргин — Басаргин П. В. Записки. Пг., 1917.
- Белинков — Белинков А. В. Юрий Тынянов. 2-е изд. М., 1965.
- Беливский — Беливский В. Г. Полное собрание сочинений. Т. XI. М., 1956.
- Белкин I — Белкин Д. П. Тема зарубежного Востока в творчестве А. С. Пушкина. — Народы Азии и Африки. 1965, № 4.
- Белкин II — Белкин Д. П. Встреча Пушкина с персидским стихотворцем Фазыл-ханом. — Литературные связи и традиции. Вып. 4. Горький, 1974.
- Белкин III — Белкин Д. П. О комментариях к стихам «Стамбул гяуры пыпче славят...». — Болдинские чтения 1982. Горький, 1983.
- Берже — Берже А. П. Алексей Петрович Ермолов и его кебинные жезлы на Кавказе. 1816—1827 годы. — РС. 1884, № 11.
- БЗ — Библиографические записки (журн.).
- Благой — Благой Д. Д. Творческий путь Пушкина (1826—1830). М., 1967.
- Блок — Блок А. А. Собрание сочинений в 8-ми томах. М.—Л., 1960—1963.
- Булгарин — Булгарин Ф. В. Полное собрание сочинений. Т. I—VII. СПб., 1839—1844.
- ВД — Восстание декабристов. Издание продолжается.
- Вейденбаум — Вейденбаум Е. Г. Кавказские этюды. Тифлис, 1901.
- В сердцах Отечества... — В сердцах Отечества сынов. Иркутск, 1975.
- Вулф — Вулф Томас. Домой возврата нет. М., 1977.
- Вяземский — Вяземский П. А. Записные книжки (1813—1848). М., 1963.
- Герцен — Герцен А. И. Собрание сочинений в 30-ти томах. М., 1954—1965.
- Гол. Росс. — Голоса из России. Кн. I—IX. Лондон, 1856—1860.
- Граббе — Записки графа Павла Христофоровича Граббе. М., 1873.
- Гр. — Грибоедов А. С. Полное собрание сочинений. Т. I—III. СПб.—Пг., 1911—1917.

- Гр. Восп.— А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников, М., 1980.
- Гр. Творч.— Грибоедов. Творчество, биография, традиции. Л., 1977.
- Давыдов — *Давыдов Денис*. Сочинения. М., 1962.
- Давыдов. Соч.— Сочинения Дениса Давыдова. Т. I—III. СПб., 1893.
- Декабристы — Декабристы. Сборник материалов. Л., 1925.
- Дела и дни — Дела и дни. Исторический журнал. Пг., 1921.
- Долгополов, Лавров — *Долгополов Л. К., Лавров А. В.* Грибоедов в литературе и литературной критике конца XIX и начала XX века.— Грибоедов. Творчество, биография, традиции. Л., 1977.
- Дубровин — *Дубровин Н. Ф.* История войн и владычества русских на Кавказе. Т. I—VI. СПб., 1871—1888.
- Епиколопов — *Епиколопов И. К.* Грибоедов в Грузии. Тб., 1954.
- Ермолов Алдр.— *Ермолов Александр*. Алексей Петрович Ермолов. Биографический очерк. СПб., 1912.
- Ермолов — Записки Алексея Петровича Ермолова с приложениями. Ч. I—II. М., 1865—1868.
- Ермолов. Материалы — Алексей Петрович Ермолов. Материалы для его биографии, собранные М. Погодиным. М., 1864.
- Ермолов. Письма — *Ермолов А. П.* Письма. Махачкала, 1926.
- Ибрагимбейли — *Хаджи Мурат Ибрагимбейли*. Россия и Азербайджан в первой трети XIX века. М., 1969.
- Известия ОЛЯ — Известия Академии наук. Отделение литературы и языка.
- ИС — Исторический сборник Вольной русской типографии. Кн. 1—2. Лондон. 1859—1861. Кн. 3. Комментарий к факсимильному изданию. М., 1971.
- Кавказ — Кавказ (газ.).
- Кавтарадзе — *Кавтарадзе А. Г.* Генерал Ермолов. Тула, 1977.
- Карамзин — *Карамзин Н. М.* История государства Российского. Т. I—XII. СПб., 1818—1829.
- Катенин — Письма П. А. Катенина к Н. И. Бахтину. СПб., 1911.
- Керцелли — *Керцелли Л. Ф.* Мир Пушкина в его рисунках. М., 1983.
- Кодап — *Кодап С. В.* Сибирская ссылка декабристов. Иркутск, 1983.
- Кол. политика — Колониальная политика русского царизма в Азербайджане в 20—60-х годах XIX века. М.—Л., 1936.
- Крачковский — *Крачковский И. Ю.* Избранные сочинения. Т. 1—6. М.—Л., 1955—1960.
- КС — Кавказский сборник. Т. 1—32. Тифлис, 1876—1912.
- Кюхельбекер — *Кюхельбекер В. К.* Избранные произведения. Т. 1—2. М.—Л., 1967.
- Лебедев — *Лебедев А. А.* Грибоедов. Факты и гипотезы. М., 1980.
- Лебедев. Чаадаев — *Лебедев А. А.* Чаадаев. М., 1965.
- Левкович — *Левкович Я. Л.* Кавказский дневник Пушкина.— Пушкин. Исследования и материалы. Т. XI. Л., 1983.
- Лермонтов — *Лермонтов М. Ю.* Собрание сочинений в 4-х томах. М., 1975.

- Лерм. Восп.— М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М., 1964.
- Лерм. Иссл.— М. Ю. Лермонтов. Исследования и материалы. Л., 1979.
- ЛН — Литературное наследство. Издание продолжается.
- Лорер — *Лорер Н. И.* Записки декабриста. Иркутск. 1984.
- Лотман. Пушкин — *Лотман Ю. М.* Александр Сергеевич Пушкин. Л., 1982.
- Лукин — *Лукин М. С.* Письма из Сибири. М., 1987.
- Макаров — *Макаров В. Б.* Декабрист Иван Григорьевич Бурцов. Саратов, 1981.
- Маковицкий — *Маковицкий Д. П.* Дневники.— ЛН. Т. 90, кн. 1—4.
- Мануйлов — *Мануйлов В.* Летопись жизни и творчества М. Ю. Лермонтова. М.—Л., 1964.
- Маркова — *Маркова О. П.* Новые материалы о проекте Российской Закавказской компании А. С. Грибоедова.— Исторический архив. Т. VI, 1951.
- Мещеряков I — *Мещеряков В. П.* А. С. Грибоедов. Литературное окружение и восприятие (XIX — начало XX в.). Л., 1983.
- Мещеряков II — *Мещеряков В. П.* Загадка Грибоедова.— Новый мир. 1984, № 12.
- Назимов — *Назимов М. А.* Письма, статьи. Иркутск, 1985.
- Нечкина — *Нечкина М. В.* А. С. Грибоедов и декабристы. М., 1947.
- ОА — Остафьевский архив князей Вяземских. Т. I—VI. М., 1899—1913.
- Огарев — *Огарев Н. П.* Избранные произведения. Т. I—II. М., 1956.
- Одоевский. Кубасов — *Одоевский А. И.* Полное собрание стихотворений и писем. Подгот. текста, биогр. очерк и коммент. Н. А. Кубасова. М.—Л., 1934.
- ОЗ — Отечественные записки, изд. Павлом Свиньпиным (журн.).
- Оксман. Декабристы — *Декабристы.* Отрывки из источников. Сост. Ю. Г. Оксман при участии Н. Ф. Лаврова и Б. Л. Модзалевского. М.—Л., 1926.
- Орлов — *Орлов Вл.* Грибоедов. Краткий очерк жизни и творчества М., 1952.
- Панаев — *Панаев Н. П.* Литературные воспоминания. Л., 1928.
- ПЗ — Полярная звезда. Кн. I—VIII. Лондон — Женева, 1855—1869.
- Пиксанов — Из неопубликованного наследия Пиксанова.— Грибоедов. Творчество, биография, традиции. Л., 1977.
- Пиксанов. Гришупин — *Пиксанов Н. К.* Творческая история «Горя от ума». Подгот. текста и коммент. А. Л. Гришупина. М., 1971.
- Попова — *Попова О. И.* Грибоедов-дипломат. М., 1964.
- Пушк. Восп.— А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. I—II. М., 1974.
- Пушкин. Путеводитель — Путеводитель по Пушкину. М.—Л., 1931.
- Пушкин — *Пушкин И. И.* Записки о Пушкине. Письма. М., 1956.
- РА — Русский архив (журн.).
- РВ — Русский вестник (журн.).

- Рожкова — *Рожкова М. К.* Экономическая политика царского правительства на Среднем Востоке во второй четверти XIX в. и русская буржуазия. М., 1949.
- А. Розеп — *Розеп А. Е.* Записки декабриста. Иркутск, 1984.
- Д. Розеп — *Розеп Д. Г.* История Турции от победы реформ в 1826 году до Парижского трактата в 1856 году. Ч. I. СПб., 1872.
- Рудницкая — *Рудницкая Е. Л. Н. П.* Огарев в русском революционном движении. М., 1963.
- РС — Русская старина (журн.).
- Сатип — *Сатип Н. М.* Воспоминания. — Почин. М., 1895.
- Свердлина — *Свердлина С. В.* Грибоедов и ссыльные поляки. — Грибоедов. Творчество, биография, традиции. Л., 1977.
- Сев. пчела — Северная пчела (газ.).
- Сидяков — *Сидяков А. С.* Художественная проза А. С. Пушкина. Рига, 1973.
- СП — Старина и новизна. Кн. I—XXII, 1897—1917.
- Тартаковский — *Тартаковский А. Г.* 1812 год и русская мемуаристика. М., 1980.
- Тифл. вед. — Тифлисские ведомости (газ., 1828—1831).
- Толстой — *Толстой Л. Н.* Полное собрание сочинений. Т. 1—90. М.—Л., 1928—1958.
- Тыняпов I — *Тыняпов Ю. Н.* Смерть Вазир-Мухтара. Л., 1975.
- Тыняпов II — *Тыняпов Ю. Н.* Пушкин и его современники. М., 1969.
- Тып. Восп. — Юрий Тыняпов. Писатель и ученый. Воспоминания, размышления, встречи. М., 1966.
- Фадеев — *Фадеев А. В.* Россия и Кавказ первой трети XIX в. М., 1960.
- Фейнберг — *Фейнберг И. Л.* Незавершенные работы Пушкина. 5-е изд. М., 1969.
- Фесенко — *Фесенко Ю.* Пушкин и Грибоедов. Два эпизода творческих взаимоотношений. — Временник Пушкинской комиссии. 1980. Л., 1983.
- Фомичев — *Фомичев С. А.* Автор «Горя от ума» и читатели комедии. — Грибоедов. Творчество, биография, традиции. Л., 1977.
- Чудакова — *Чудакова М. О.* Социальная практика, филологическая реформа и литература в научной биографии Эйхенбаума и Тынянова. — Тыняповский сборник. Вторые тыняповские чтения. Рига, 1986.
- Шадури I — *Шадури Ваню.* Декабристская литература в грузинская общественность. 1958.
- Шадури II — *Шадури Ваню.* Там, где вьется Алазань. Тб., 1977.
- Шильдер — *Шильдер Н. К.* Император Николай I. Т. I. СПб., 1903.
- Шкловский — *Шкловский В. В.* Заметки о прозе русских классиков. М., 1955.
- Шостакович — *Шостакович С. В.* Дипломатическая деятельность Грибоедова. М., 1960.
- Шторм — *Шторм Г. П.* Новое о Пушкине и Карамзине. — Известия АН СССР. Отд. языка и литературы, 1960, т. XIX, вып. 2.

- Шубин — Шубин В. Ф. Неосуществленный замысел Ю. Н. Тютчева «Евдор». — Русская литература. 1984, № 3.
- Щеголев — Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. М.—Л., 1928.
- Щепкин — Щепкин М. С. Жизнь в творчество. Т. I—II. М., 1984.
- Щук. сб. — Щукинский сборник. Вып. 1—10. М., 1902—1912.
- Эйдельман — Эйдельман Н. Я. Пушкин и декабристы. М., 1979.
- Эйхенбаум — Эйхенбаум Б. Лев Толстой. Семидесятые годы. Л., 1974.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Аббас-Мирза 44, 45, 68, 72, 73,
 76, 79, 86, 89, 102, 134
 Абеляр П. 169
 Абовян Х. 86
 Аделунг К. Ф. 146
 Адлерберг В. Ф. 91, 298
 Азадовский М. К. 226
 Александр I 7, 42, 59, 61, 65,
 69, 70, 79, 95, 189, 191, 206,
 220
 Александр II 91, 254, 286
 Александр III 109
 Алексей Петрович (царевич)
 136
 Али Мухаммед-хан 13, 186
 Амбургер А. К. 88, 100, 112
 Амирэджибн Ч. И. 23
 Амирэджибн 28
 Анастасевич С. С. 185
 Андроников П. Л. 28, 153,
 171, 228, 266
 Аппецков П. В. 280, 281
 Аракчсев А. А. 42, 52, 54, 77,
 225
 Аристофан 222
 Арсеньева Е. А. 263
 Арслан 39, 46
 Арцыбашев Д. А. 250
 Афиани В. Ю. 187
 Ахвердова П. П. 101
 Ахундов М.-Ф. 255

 Багратион П. И. 152, 261
 Багратионы 152
 Байрон Д. Г. 59
 Барант Э. 265
 Бараташвили П. 255
 Баратынский Е. А. 121, 129
 Барклай-де-Толли М. Б. 209
 Бартенев П. И. 182, 191, 212,
 215, 297
 Басаргин Н. В. 138, 139, 297,
 298
 Батый 41
 Батюшков К. П. 227
 Бахтурадзе (священник) 26
 Бегичев Д. Н. 84
 Бегичев С. Н. 43, 47, 57, 61,
 62, 73, 78, 79, 82, 84, 104, 219
 Белицкий А. В. 130
 Белицкий В. Г. 36, 228, 271,
 293
 Белкин Д. И. 195, 200
 Бёльль Г. 97
 Беляев А. П. 230
 Беляев П. П. 230
 Бенкендорф А. Х. 97—99, 174,
 206, 234—238, 241—243
 Беранже П. 287
 Берже А. П. 25, 27, 31, 39
 Берикашвили Ш. 26
 Берстель А. К. 127, 128, 250
 Бестужев А. А. 29, 37, 60, 66,
 68, 90, 150, 224—226, 249,
 250, 252, 253, 255
 Бестужев М. А. 230
 Бестужев Н. А. 287
 Бестужев Павел А. 90

- Бестужев Петр А. 47, 90, 250, 255, 265
 Бестужева П. М. 248
 Бестужев-Рюмин М. П. 53
 Бетховен Л. 300
 Бехмен-Мирза 23
 Бичурин Н. Я. 264
 Благой Д. Д. 200
 Блок А. А. 10, 27
 Блудов Д. Н. 290
 Борис Годунов 221
 Бороздна В. П. 170
 Браницкий К. 265
 Брокс А. А. 250
 Броневский С. Б. 53, 238, 239
 Булгаков А. Я. 44, 98
 Булгаков К. Я. 44
 Булгаков М. А. 49
 Булгарин Ф. В. 57—59, 90, 91, 97—99, 102, 122—126, 128, 129, 171, 172, 194, 206, 207, 209
 Булгарина Е. И. 125, 213
 Бунин И. А. 15
 Буркова М. И. 91
 Бурцов И. Г. 16, 116, 118, 129—135, 137—142, 151, 193, 205, 206, 250
 Бутурлин Н. А. 196

 Вадковский А. Ф. 250
 Вазолл Л. 23
 Валлепштейн А. 53
 Васильчиков А. П. 256
 Вачвадзе 28
 Веделяпин А. В. 250
 Вейденбаум Е. Г. 25, 27, 79, 86, 118, 133, 138, 154, 170, 196, 216, 251, 252, 268
 Вельяминов А. А. 61, 72—74, 178, 254
 Викпский 70
 Висковатый П. А. 256
 Вишневский Ф. Г. 250
 Воейков Н. П. 65, 66, 83, 222
 Волков В. Ф. 250
 Волконская М. Н. 244
 Волконский П. М. 42, 52
 Волконский С. Г. 244, 296
 Вольтер 227, 293
 Вольф Ф. Б. 236
 Вольховский В. Д. 16, 192, 216, 250, 252, 254
 Воронцов М. С. 244, 290
 Всеволожский Н. В. 83, 204
 Вулф Т. 60
 Вульф А. Н. 189
 Вяземский П. А. 23, 54, 85, 95, 97, 173, 174, 176, 182, 212, 240—242, 264

 Гавриил (архиерей) 187, 188
 Гангеблов А. С. 250
 Гапнибал А. П. 162, 173
 Гардзони М. 11
 Гегель Г. 212, 285
 Гейне Г. 287
 Герцен А. И. 58, 59, 81, 91, 150, 162, 166, 183, 206, 228, 261, 271, 279, 280, 282, 285, 286—289, 292, 294, 295, 299, 300
 Герцен Н. А. 285
 Гёте В. 14, 142, 145, 207
 Глебов М. П. 90, 256
 Гнедич П. Н. 222, 226
 Гоголь П. В. 57
 Голлицын В. М. 252
 Головин В. М. 37
 Гомер (Омир) 82
 Гопчаров Н. А. 228
 Горожанский А. С. 229
 Горький А. М. 15, 119, 126, 128
 Граббе П. X. 83, 181
 Граповский Т. Н. 285
 Греч П. П. 125
 Грибоедов А. С. 9, 14—16, 19, 21, 22, 26, 27, 29—38, 42—51, 53—68, 71—73, 78, 79, 82—

- 85, 87—149, 151—155, 158, 161—172, 175, 182, 184, 186, 191, 192, 194—198, 202—204, 206—214, 216, 218, 219, 224, 226, 231—233, 243, 251, 261, 271, 277, 278, 285, 295, 302, 303
- Грибоедова (Чавчавад-зе) Н. А. 32, 105, 113, 148, 150, 152
- Грибоедова Н. Ф. 67
- Грин А. С. 146
- Гришунин А. Л. 131
- Гудима И. П. 250
- Давыдов В. Н. 212
- Давыдов Д. В. 37, 42, 46, 52, 54, 71, 72, 75, 77, 78, 81, 83, 84, 94, 134, 182, 189—191, 205, 212, 214, 253, 261
- Даль В. И. 60
- Дантес Ж. 249, 255
- Декарт Р. 208, 209
- Дельвинг А. А. 229
- Депрерадович Н. Н. 250
- Державин Г. Р. 10, 56, 83, 90, 94, 95, 101, 210, 215, 227
- Джапаридзе 28
- Дибич И. И. 53, 55, 69—71, 73, 75—77, 79, 80, 170, 177, 178, 233
- Дидро Д. 227
- Диоген 19
- Дмитриев И. И. 94
- Дмитриев (фельдъегерь) 65, 66
- Добринский А. А. 90
- Добролюбов Н. А. 136, 137
- Долгополов Л. К. 164
- Долгоруков И. А. 204
- Дорохов Р. И. 251, 262, 296
- Досифей 86
- Достоевский Ф. М. 15, 17, 167, 228, 262
- Доу (Дов) Д. 180
- Дружинин А. В. 262
- Дубровин Н. Ф. 64, 69, 71, 74, 170
- Дубельт Л. В. 97—99
- Ежова Е. И. 204
- Екатерина II 90, 94, 97
- Елизавета (Английская) 110
- Епиколопов И. К. 61, 139, 216
- Ермолов А. С. 61, 180, 181, 191, 205
- Ермолов А. П. 15, 16, 19, 31—34, 36—47, 51—57, 60—85, 89, 90, 96—98, 101, 104, 105, 112, 114, 134, 136, 146, 164, 166, 170, 176—184, 186—197, 202, 204—206, 210—216, 288, 302, 303
- Ермолов В. А. 39
- Ермолов К. А. 39
- Ермолов Н. П. 190
- Ермолов П. Н. 73
- Ермолов П. А. 180, 181, 187, 188
- Ермолов С. А. 39
- Жандр А. А. 47, 62, 63
- Жуковский В. А. 17, 38, 39, 94, 95, 101, 222, 226, 227
- Жуковский М. С. 35, 114, 115, 132—135, 137—139, 141—143, 151, 152, 156, 161
- Заблоцкий-Десятовский А. П. 69
- Завадовский А. П. 42, 204
- Завалишин Д. И. 55
- Завилейский В. 153
- Завлейский П. Д. 105, 106, 108—116, 118, 132, 138—142, 146, 148—155, 158, 159, 161, 162, 171, 211
- Загорецкий Н. А. 268, 273
- Закревский А. А. 52
- Засс (Зас) Г. Х. 253

- Ибрагимбейли Х. М. 68, 72, 80
 Иван I Калита 40
 Иван IV Грозный 5, 189, 190
 Ивапова П. Ф. 171
 Ивашев В. П. 242
 Игорь (князь) 189
 Игорь Святославич (князь)
 233
 Иоселиани А. 139
 Истомина А. И. 204

 Каверин В. А. 170
 Кавтарадзе А. Г. 79
 Калининский И. 161
 Канкрин Е. Ф. 109, 120, 148,
 149, 152, 153
 Канкрин Е. З. 243
 Капит И. 218
 Каптемир А. 95, 227
 Карамзин А. П. 249
 Карамзин Н. М. 41, 94, 95, 101,
 137, 184, 189, 190, 207, 221,
 225, 228
 Карамзины 174
 Каратыгин П. А. 84
 Каргапов А. О. 84
 Катенин П. И. 171
 Катенин П. А. 33, 48, 49, 59,
 82, 96, 97, 124, 128, 171, 172,
 228
 Керцелли Л. Ф. 195
 Кетчер Н. Х. 279, 281, 283, 285
 Киселев П. Д. 205
 Киселев 88
 Клей (Клэ) 238, 239
 Клюев Н. А. 119
 Кодав С. В. 238
 Кожевников Н. П. 127, 250,
 252
 Коновницын И. П. 252
 Коновницын П. П. 250, 252
 Коповницына А. И. 252
 Копстантин Павлович (вели-
 кий князь) 65, 67, 68, 205
 Корсаков М. С. 57, 250
 Костер Ш. де 102
 Котляревский Н. А. 218
 Котляревский 176, 204
 Кочубей В. П. 230
 Кошкарев 152
 Кошкарев П. И. 251
 Красов В. И. 264
 Крачковский П. Ю. 48—50,
 123, 124, 172
 Кривцов С. И. 252
 Крылов Н. А. 39, 54, 179, 180,
 227
 Кубасов П. А. 220, 235, 238,
 240—242
 Кукольник П. В. 160
 Курбский А. М. 184, 189—191
 Куркутов Г. 237
 Курорга С. С. 264
 Кюхельбекер В. К. 43, 53, 63,
 68, 222, 226, 228, 248

 Лавинский А. С. 234, 235
 Лавров А. В. 164
 Лауской С. С. 235
 Лебедев А. А. 83, 92—94, 131,
 135, 137, 166—168
 Левкович Я. Л. 175, 191, 195,
 205, 212
 Лепин В. И. 119, 163
 Леонов Л. М. 59, 172
 Лермонтов М. Ю. 9, 15, 19, 21,
 23, 37, 39, 58, 90, 97, 106,
 171, 172, 191, 192, 209, 218,
 247, 251, 255, 256, 258—263,
 265—280, 282, 285, 286, 289,
 290—293, 295, 296, 302, 303
 Ливради П. П. 63—66, 74,
 170
 Лихарев В. И. 217, 218, 243,
 253, 273, 275, 276
 Лихарев Е. А. 243
 Лихарева П. И. 243
 Ломоносов М. В. 227
 Лорер П. И. 217, 218, 237, 253,
 256—258, 271, 273, 293

- Лотман Ю. М. 228
 Лохвицкий М. Ю. 23
 Лужив И. Д. 230
 Лупин М. С. 67, 144, 145, 211,
 226, 227, 237, 245, 246, 248,
 261, 262, 271, 287
 Мааррв А. 49
 Магомет (Мухаммед) 48, 49,
 51, 96, 107, 209
 Мадатов В. Г. 72
 Мазарович С. И. 31, 34, 61, 79,
 235, 295
 Майборода А. И. 127
 Майер П. В. 251, 289
 Макаров В. Б. 139
 Макаров М. П. 104
 Маковичский Д. П. 295
 Макогоненко Г. П. 193, 206
 Мальцов И. С. 110
 Мальшинский А. П. 108, 109,
 113, 115, 117, 118, 129, 132,
 133, 136, 171
 Малютин М. П. 250, 252
 Мамай 40, 41
 Мавдельштам О. Э. 22, 119
 Мапуйлов В. А. 265
 Маркова О. П. 132, 135, 136,
 138, 143, 161, 171
 Марке К. 111, 143, 144
 Мартяпов П. К. 90
 Мартынов Н. С. 192
 Маслов С. А. 180
 Махмуд II 199, 200
 Мегвипетухуцеси 28
 Меликовы 28
 Мешников А. С. 254
 Мещеряков В. П. 26, 58, 204
 Мякляшевч В. С. 62, 63
 Мякляшевский А. М. 250
 Мирабо О. 27
 Михаил Павлович (великий
 князь) 78, 170, 254, 265
 Мозалевский А. Е. 244, 245
 Мордвинов П. С. 204, 265
 Муравьев А. З. 243
 Муравьев А. М. 245, 248
 Муравьев Н. М. 204, 245, 248,
 284
 Муравьев П. Н. (Амурский)
 57
 Муравьев П. Н. (Карский) 82,
 83, 108, 149, 178, 179, 216
 Муравьев-Апостол И. М. 248
 Муравьев-Апостол С. И. 244
 Муравьева А. Г. 251, 284
 Муравьева Е. Ф. 245, 248, 284
 Мусин-Пушкин Е. С. 250
 Мустафа 25
 Мутанаббия 49—51, 122, 123,
 128, 172
 Мухрапели И. 23
 Назимов М. А. 217, 249, 253,
 256—258, 273, 276, 293
 Наполеон I 177, 188, 208, 209,
 227, 261
 Нарышкин М. М. 217, 230, 247,
 253, 273
 Нарышкина Е. П. 217, 247,
 252, 253
 Некрасов Н. А. 107, 136, 228
 Немпрович-Данченко В. И. 15
 Нессельроде К. В. 16, 30, 31,
 33, 87, 102, 111, 120
 Пестор 287
 Печкина М. В. 54, 63, 131, 132,
 136, 142, 143
 Пикитенко А. В. 264
 Пиколай I 7, 33, 53, 55, 65—74,
 76—81, 90—92, 95, 97—100,
 111, 112, 136, 147—153, 156,
 157, 160, 164, 170, 174, 177—
 179, 183, 184, 189, 191, 205,
 230, 241, 243—245, 254, 255,
 266, 276, 287, 292
 Пьютов 107
 Обресков А. М. 87—90, 171
 Огарев Н. П. 9, 19, 21, 53, 96,

- 183, 255, 279—296, 299, 300, 302
- Огарева М. Л. 282
- Одоевская С. И. 298
- Одоевский А. И. 9, 16, 19, 59, 62, 63, 66, 68, 90, 217—224, 226, 228—243, 246—249, 253—255, 258, 262, 265—279, 285, 287, 289—301
- Одоевский В. Ф. 219—224, 237, 240—242, 249, 258, 263, 267
- Одоевский И. С. 236, 238, 239, 241, 242, 248, 249, 263, 267, 273, 298
- Оже И. 226
- Окуджава Б. Ш. 228
- Олеарий А. 48, 170
- Опперман К. И. 75
- Орбелиани М. 255
- Орбелиани 152
- Ореус И. М. 161
- Оржицкий Н. Н. 90, 250
- Орлов А. Ф. 254
- Орлов В. Н. 32, 96, 131
- Орлов М. Ф. 190
- Островский А. П. 117, 162
- Оуэн Р. 286, 288
- Павел I 52, 161
- Палавапов Н. О. 26, 152, 154
- Панаев И. И. 26, 272
- Папченко О. 120
- Паррот И. 86
- Паскевич Е. А. 34, 68, 218, 240
- Паскевич И. Ф. 10, 29—34, 68—79, 81—85, 87—90, 92, 98—101, 105, 106, 109, 111—118, 129, 130, 132—135, 138, 139, 144—149, 151, 152, 155—159, 161, 164, 170, 174, 177, 178, 180, 183, 184, 192—194, 206, 210, 212, 216, 218, 232, 233, 240, 242, 251
- Паскевич Ф. И. 232, 294
- Пахомов В. И. 171
- Пекарский П. П. 137
- Переселенков С. А. 294
- Перфильева А. 298
- Пестель П. И. 54, 127, 137, 138, 224, 229, 292
- Петр I 7, 62, 94, 97, 136, 138, 189, 200
- Печерип В. С. 287
- Пиксанов Н. К. 27, 32, 33, 59, 107, 116, 118, 131, 170
- Писарев Д. И. 228
- Погодин М. П. 97, 177, 219
- Попова О. И. 28, 79, 131, 137, 139
- Потто В. А. 25
- Похвиснев П. И. 77
- Протопопов (директор сукопной фабрики) 239
- Путята Н. В. 174
- Пушкин А. С. 9—15, 19, 21, 36, 40, 45, 52, 54, 55, 58, 63, 64, 81, 83, 85, 86, 91, 92, 94—98, 100, 101, 103, 104, 106, 136, 139, 158, 162, 166, 167, 169, 171—177, 180—218, 225—228, 233, 242, 248, 249, 253—255, 259—261, 264, 265, 267, 270, 271, 275, 279, 280, 287, 290, 292, 301—303
- Пушкин Л. С. 40, 86, 174, 177, 217, 254
- Пушкина Н. Н. 182
- Пуцци И. И. 180, 231, 248, 257
- Пуцци М. И. 16, 174, 250, 253
- Пыпин А. Н. 218
- Рабле Ф. 102
- Радищев А. Н. 15, 95, 228, 286
- Раевский В. Ф. 225
- Раевский Н. Н. (ст.) 244
- Раевский Н. Н. (мл.) 97, 98, 174, 192, 244, 251, 254, 268
- Раевский С. А. 275
- Разноткин С. 264
- Рассадин С. Б. 129

- Редд Н. А. 69
 Рейпекс В. Ф. 50
 Репнин-Волкопский П. Г. 244
 Ринкевич (Репкевич) (офи-
 цер-декабрист) 250, 267
 Родофишкин К. К. 100, 120
 Рожкова М. К. 149
 Розанов В. В. 163, 164
 Розеп А. В. 217, 247
 Розеп А. Е. 217, 237, 247, 301
 Розеп Г. В. 132, 133, 161, 254
 Розен Д. 200, 201
 Ростамбей 170
 Ростовчина Е. П. 267, 276
 Рудзевич А. Я. 69
 Рудницкая Е. Л. 284
 Румяшцев П. А. 133
 Руссо Ж.-Ж. 11, 220, 227
 Рылев К. Ф. 39, 66, 68, 97,
 130, 224, 225, 226, 228, 229,
 261, 284, 287, 292
 Рылеева А. Ф. 287
- Саади 121
 Сакулин П. П. 218
 Салтыков-Щедрин М. Е. 95,
 228
 Самарин И. В. 212
 Сапковский П. С. 150, 201,
 204, 211, 251
 Сатип Н. М. 253—255, 281,
 282, 285, 293
 Свишын П. П. 185—188
 Святослав Игоревич (князь)
 189
 Сегор Л.-Ф. 185
 Сейф ад-Дуля 50
 Семичев Н. П. 16, 250
 Сенковский О. Н. 122
 Сервантес М. 102
 Сидяков А. С. 174, 184
 Симонович Н. О. 166
 Спягин П. М. 28, 99—101,
 127, 148
- Скотт В. 38
 Смилга В. П. 162
 Смирдин А. Ф. 122
 Соболевский С. А. 136
 Сольетет (лекарь) 268
 Сперанский М. М. 15
 Стурдза А. С. 228
 Суворов А. А. 82, 298
 Суворов А. В. 82, 90, 94, 133,
 177
 Сумароков А. П. 227
 Сунгуров Н. П. 81
 Сутгоф А. Н. 257
- Тартаковский А. Г. 64, 185
 Тацит К. 38, 53
 Тихонов Н. С. 119
 Тоддес Е. А. 172
 Толстая А. А. 298
 Толстая С. А. 297
 Толстой В. С. 252
 Толстой Л. Н. 15, 19, 21, 36, 37,
 161, 162, 228, 289, 295—299
 Толстой П. А. 157, 216
 Толстой Ф. И. 176, 183, 192,
 216
 Толстой Я. П. 193
 Треднаковский В. К. 227
 Трубецкой С. П. 204
 Тургенев А. И. 176, 265
 Тургенев П. С. 228
 Тургенев Н. И. 227
 Туркуль (Туркул) Н. Л. 69
 Тынянов Ю. Н. 17, 19, 23, 26,
 32, 37, 77, 78, 84, 85, 93, 94,
 102, 103, 116, 119—124, 126—
 133, 135, 136, 141, 165—167,
 170, 172, 184, 192—194, 197,
 261
 Тютчев Ф. И. 14, 167
- Уваров С. С. 179
 Уварова Е. С. 271, 287
 Уиллок Г. 111
 Уклопский (фельдшер) 63,
 66, 67

- Устрялов Н. Г. 136, 173, 179
Ушаков В. А. 264
- Фадеев А. В. 68
Фазил-хал 195
Федоров А. М. 49
Фейнберг И. Л. 204
Феодосий 41
Феофилакт 42
Фесенко Ю. П. 207, 209, 211,
213
Фет А. А. 167
Фетх (Фет) Али-хал 44, 45,
186
Фигнер А. В. 191
Филлипсон Г. П. 178, 254, 268,
269, 274
Фок А. А. 250
Фок М. Я. 106
Фомичев С. А. 83, 92, 131, 137
Фопвизин Д. И. 228
Фопвизин М. А. 180, 236, 244,
286
Фопвизина П. Д. 236
- Хаджи-Мурат 23
Хлюпин С. И. 268
Ховен Р. П. 177, 181, 192
Храновицкий 185
Хрущев С. М. 204
Хуциевы 28
- Цебриков П. Р. 53, 67, 77, 250,
252, 286, 288
Цейдлер И. В. 237—239
Циципанов П. Д. 204
Цявловский М. А. 23, 173
- Чаадаев П. Я. 119, 120, 168,
228, 271, 279, 287
Чавчавадзе А. Г. 145, 152, 255
Черкасов А. И. 217
Чернышев А. И. 233, 238, 244
Чернышев З. Г. 251
Чернышевский П. Г. 15, 136,
228
Черчилль У. 23
- Чехов А. П. 15
Чилиев Б. Г. 101
Чингисхал (Чингиз-хал) 46,
51, 187
Чистова И. С. 271
Чудакова М. О. 130
- Шадурн В. С. 28, 29, 54, 131,
145, 153, 216
Шав-Гипрей А. П. 263
Шаумбург 87
Шаховской А. А. 204, 222
Швейцер (часовой мастер) 86
Шеллинг Ф. 222
Шереметев В. В. 42
Шереметев П. Б. 82
Шереметев П. В. 90, 250
Шиллер Ф. 268, 273
Шильдер П. К. 53
Шимановский П. В. 75, 83
Шкловский В. Б. 37, 116, 120,
170
Шлякин И. А. 108, 118
Шостакович С. В. 28, 31, 80,
83, 89, 110, 111, 171
Шторм Г. П. 177, 190
Шубин В. Ф. 124
- Щенкин М. С. 212
Щербатов А. П. 116, 117
Щербатов П. Д. 251
- Эйдельман П. Я. 9, 10, 16, 17,
63, 174
Эйхенбаум Б. М. 27, 128, 297
Эрастов В. 258
Эристовы 152
Эсадзе Б. С. 25
Эсадзе С. С. 25
- Южаков Ф. (урядник) 240
Юлий Цезарь 38, 53
- Языков П. М. 225, 226
Якушкин Е. И. 183
Якушкин И. Д. 245
Якушкина А. В. 245
Яц В. Г. 40

СОДЕРЖАНИЕ

М. С. Лазарев. «Да, азиаты — мы...» (вместо предисловия)	8
Введение	19
Часть I. Грибоедов	
Глава 1. «Явиться пророком»	22
Глава 2. Могучие обстоятельства	86
Глава 3. В присутствии Тынянова	119
Глава 4. «Если мука — ключ отрады...»	142
Часть II. Пупкин	
Глава 5. В Арзрум	173
Глава 6. К Грибоедову	198
Часть III. Одоевский	
Глава 7. Где он, где друг?	217
Глава 8. Мой милый Саша	247
Глава 9. Эфирная поступь	279
Заключение	302
Список использованных материалов и принятых сокращений	304
Именной указатель	310

Э30 **Эйдельман Н. Я.** «Быть может за хребтом Кавказа...» (Русская литература и общественная мысль первой половины XIX в. Кавказский контекст).— М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1990.— 319 с.
ISBN 5-02-016705-3

Книга известного историка, писателя Н. Я. Эйдельмана состоит из трех частей, названных именами главных героев: Грибоедов, Пушкин, Александр Одоевский. В книге действуют также Ермолов, Огарев, Лермонтов, Лев Толстой, их друзья и враги. Повествование сосредоточено в основном на 1820—1840-х годах.

Э 4603000000-002
013(02)-90 Без объявления

ББК 83.3Р1

Литературно-художественное издание

Эйдельман Натан Яковлевич

«БЫТЬ МОЖЕТ
ЗА ХРЕБТОМ КАВКАЗА...»

*(Русская литература
и общественная мысль
первой половины XIX в.
Кавказский контекст)*

Редактор *Н. Я. Северина*
Младший редактор *М. И. Повицкая*
Художник *Е. Я. Яковлев*
Художественный редактор *Э. Л. Эрман*
Технический редактор *Л. Е. Ситенко*
Корректор *В. И. Мартынюк*

ИБ № 16024

Сдано в набор 13.12.88. Подписано к печати 16.06.89. Формат 84×108¹/₃₂. Бум. типографская № 2. Вкл. отпечатана на офсетной бумаге. Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая. Усл. п. л. 16,8+0,42 вкл. Усл. кр.-отт. 18,06. Уч.-изд. л. 18,1. Тираж 100 000 экз. Изд. № 6681. Заказ № 4342. Цена 2 р.

Ордена Трудового Красного Знамени
издательство «Наука»
Главная редакция восточной литературы
103051, Москва К-51, Цветной буль-
вар, 21

Ордена Ленина типография «Красный
пролетарий». 103473, Москва И-473,
Краснопротарская, 16



Тема книги — Россия и Кавказ XIX столетия, русская общественная мысль, литература в кавказском контексте.

На основе многочисленных документов, как опубликованных, так и обнаруженных в архивах Москвы, Ленинграда, Тбилиси, Иркутска, представлены кавказские дела, планы Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, Огарева, Льва Толстого, декабристов.

Книга показывает, что кавказские встречи, впечатления лучших людей России оказали заметное влияние на их биографию и творчество.

